

Норд

СЛУШАЯ МУЗЫКУ

В тот самый час,
Когда кают-компанию
Перепополняет сумрак
Невесом,
И старый штурман,
Встав по расписанию,
Над картой
Забывает обо всем, —
Встает и он,
Светя во тьме улыбкою, —
Скрипач
И корабельный вестовой.
И музыка,
Разбуженная скрипкою,
Как ласточка,
Скользит над головой.
И час, и два,

И до рассвета вторя ей
Глухим органом
Баренцовых вод,
Ночная даль
Шумит консерваторией,
Где слушателем —
Темный небосвод.
И кажется,
Что волны —
Продолжение,
Не знающее
Отдыха и сна,
Той
Необъятной
Музыки движения,
В которую
Земля вовлечена.

СЛУЖБА ПОГОДЫ

Возникнув в сумраке седом
У горла узкого фиорда,
Скрипит и вздрагивает дом
От нестихающего норда.
Осаду долгую ведя,
Косматый дождь стучит по жести.
Синоптики под шум дождя,
Волнуясь, ждут ночных известий.
И до рассвета шторм и тьма
Такую грусть порой наводят,

Что проще нет — сойти с ума.
А вот синоптики не сходят.
Они — передовой отряд,
А пионеров вечно гонит
На край земли, где, говорят,
Сам леший в колокол трезвонит.
Так вот он, камбуз, где сама,
Не зная лишней канители,
Ее величество Зима
Во тьме варит свои метели!

МЕТЕЛЬ

Ну и котел. В дымящемся наваре
Ни зги, как говорится, впереди.
И все-таки... покуда жив,
товарищ, —
Еще не все потеряно. Иди.
Коль повезет, во тьме нашаришь
провод —
И, не бывает худа без добра,

В такую ночь всегда отыщешь
повод,
Чтоб завернуть к ребятам до утра.
Не спрашивая, водкой голубою
Они тебя согреют, — и к утру
Землянку ту всю заметет.
С трубою,
С дымком, что ниткой рвется на
ветру!

Горячие ключи

Р о м а н *

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Стояла сушь.

Обнажая илистые берега, высыхало у полевого стана озерко, огибая деревню, желтела песчаными отмелями река; в сером, вылинявшем от жары небе за целый день нельзя было отыскать ни одного белого пятнышка.

Скотина на выгонах пряталась в кусты орешника, не в силах отбиться хвостами от наседавших слепней. Крикливые подпаски, обжигая босые ноги о раскалившуюся дорожную пыль, гнали очумелое стадо к реке, и первыми лезли в теплую, еще не замутненную воду.

Уже третью неделю колхозники ждали дождя. Останавливаясь среди поля, они подолгу смотрели в пустынное небо, коловшее сухим блеском глаза, и молча качали головами. Они чувствовали, как томился в окаменевшей почве неокрепший стебель, как жадно дышала горячими трещинами земля, прося богатого ливня.

Иногда лишь, в мутный полдень, принимались кружить по полям вихревые воронки, выползали из-за дальнего леса лохматые облака и пестрили бегучими тенями всходы озимых. Ветер гнал по дорогам желтую пыль, березы у озера шелестели жестью листьев, низкогнулись к траве ушастые лопухи.

Быстро темнело. Воздух накалялся предгрозовой духотой, и люди, расстегнув ворота рубах, обнажив головы, ждали в томительной тишине шороха первой капли. Но не успе-

вала брызнуть в лицо первая дождинка, как ветер разметывал сгустившиеся над полями тучи, сваливал их за лес. Снова наплывал на землю тяжелый зной, и солнце нещадно палило спины.

Вечером закатный пожар охватывал своим пламенем полнеба, и чем глубже тонуло за кромкой леса солнце, тем сильнее разгорались в неведомой прорве багряные костры. Так тревогу неделю подряд каждый раз предвещался новый, ненавистный всем, погожий день.

Утром, обходя участок своей бригады, стуча сапогами по комковатой земле, Никита тревожно вглядывался в белесое небо, думал: «К общему горю еще — какой беды не прибавилось бы...»

Он присел у края поля, выдернул блеклый стебелек пшеницы, в задумчивости раскусил его и пожевал сладковатую сердцевину. Он замечал все: как никли сзимые, как показывались яровые, а там, где недели две тому назад посеяли овес, попрежнему серела расчесанная зубастыми боронами земля.

«Сколь с ним ни бились, настоял-таки на своем, — хмурился Никита. — А теперь, поди, сам мучается. Не послушал старых людей, показал упрямство, а на деле выйдет так — ни себе, ни бедной скотине... Сгорят семена, сгорят...»

Мрачней, он поднялся и, сунув кулаки в карманы, направился дальше. Ему уже становилось невмоготу одиночество. На границе распаханного парового клина он встретил Андрона. Бригадир вышагивал, пыля сапожищами, загорелый до черноты, без фуражки. Щелкая себя по

* См. «Октябрь» № 8. Роман печатается с небольшими сокращениями.

голенищам ременной плеткой, он еще издали закричал:

— Решаешь глазную стратегию, Никита Алексеевич?

Никита промолчал. Андрон подошел ближе, шумно отдуваясь, вытирая рукавом потное лицо.

— Ну и печет! — тяжело вздохнул он. — Обиделся, видно, господь бог на нашу несознательность...

Опустившись на пыльную траву, он стянул большие с широкими отворотами охотничьи сапоги, разложил на просушку мокрые портянки и, вытянув ноги, шевелил белыми размякшими пальцами.

— Бабы мои не бунтуют там у тебя? — спросил он. — Ведь я для них все равно, что партийный руководитель был. У меня на всякий умный вопрос идейный ответ полагается... А тебе я самых подкованных выделил.

«Нечего сказать, удружил! — усмехнулся про себя Никита. — На ладан бабочки дышат».

— Ида-а... Жа-ри-ща! — протянул Андрон, трепля пыльные лохмы волос. — Булатова не видал сегодня?

— Который день на мельнице сидит. Вчера заскочил, говорит, полный завал там, по неделе которые ждут. Сегодня опять туда поскакал.

— Да-а... Высыхает водица, — сказал Андрон.

Он немного помедлил и, щуря зеленые глаза, добавил:

— Суровый мужик наш председатель. Да боюсь я за него, как бы не зарвался. Уж больно смело закручивает, так может любая пружина лопнуть!

— Это ты насчет Сеньки?

— Хотя бы. Чуть под суд парня не подвел! Если бы не сделали ребята складчины — имел бы горбун казенный дом с пиковыми интересами.

Пошарив в карманах, Андрон вынул темновинную, замысловатой резьбы трубку и сунул ее в угол рта. Лицо его от этого приняло злое и брезгливое выражение.

— А что сам на ветер больше сотни пудов выбросил, — махнул Андрон в сторону серых невзошедших по-

лос, — так этого с него никто не спросит!

— Конь о четырех ногах и то спотыкается, — сказал Никита.

— Оступка оступке рознь.

— Чего ж ты тогда на собрании молчал?

— А я с огромным интересом наблюдал, как он из старой пеньки веревки вяет да узлы вяжет!

— Мели да знай меру, — сурово сдвинул брови Никита. — Потом каждый горазд...

Разговор оборвался. Заслонясь рукой от солнца, Никита смотрел вдаль. На изволок степной дороги росло облачко пыли. Оно рыжим войлоком скатывалось вниз к пашням. Внезапно оно пропало, точно провалилось во встречный овражек, и вместо него быстрой рысью шла по дороге воронья лошадь, запряженная в легкую бричку.

— Из высокого начальства кто-то катит, — сказал, приподнимаясь на траве, Андрон. — Намылит холку нашему хозяину... Нет, обознался. Мытеесовский директор едет свою бабу разыскивать. Ишь, как жжет иноходца, — в мыло вогнал! И чего беспокоится человек, не понимаю. Да разве Булатов допустит, чтоб такая баба на корню погибала?

— Замолчи, балабон! — прикрикнул Никита. — Совсем, бригадир, ты распоясался!

Рессоры брички пружинили. Держа на коленях пухлый желтой кожи портфель, Чубатый слегка покачивался. Подъезжая, он натянул вожжи; грызя удила, жеребец замедлил бег и стал в нескольких шагах от Андрона. Кожа его, темная от пота, лоснилась, как гладкий камень.

Директор, прямя спину, небрежно кивнул колхозникам, словно тугой воротник гимнастерки, врезавшийся в красную шею, мешал ему согнуться. Никита и Андрон подошли к бричке, пожали директору руку.

— Пары начали? — еле слышно засипел директор, и сморщился. — Сорвал голос.

— Митинги, поди, у себя часто проводите? — с ухмылкой начал Андрон. — Все, дескать, для фронта,

для скорой победы над трижды проклятым извергом! Так, что ли?

— В агитаторы бы тебя ко мне, — присипел директор. — Только ты любишь чрез меру научными словами щеголять. А я их терпеть не могу. Сособенно, когда их неправильно произносят.

— Затирают мой талант здесь, — это верно, — мотнул головой Андрон. — Как чуть где вспорхнешь над массой, так тебе норовят крылышки обрезать, как курице, чтоб не летала в чужой огород! Рядом с вашей замечательной натурой я бы живо развернулся!

— Брось из себя клоуна корчить, — не люблю! — нахмурился Чубатый. — С немцами шутки плохие. Снова зашевелились, затрубили...

— Да што вы? И откуда у них воодушевление такое? — с еще большим притворством удивился Андрон. — Заявите официально, Михайла Григорыч!

— Через Донбасс к Ростову идут...

У Никиты сразу стало сухо во рту, он придвинулся к плетеному кузову брички и, глядя исподлобья на распаренное лицо Чубатого, тихо выдавил:

— А наши, что ж?

— Выходит, — отступают...

Долгое время все молчали. Парил над степью коршун, лениво зачерпывая крылом воздух. Потом его распятая тень на миг застлала солнце, и Никите показалось, что все на земле померкло. Но коршун сделал глубокий крен в сторону и медленно заскользил вниз, к березовой роще. Степь попрежнему стеклянула под солнцем.

— Да... дела, — вздохнул Андрон и стал собираться. — Не довезешь меня, начальник, до деревни?

— Садись.

Никита проводил бричку глазами, пока она не пропала за косогором, вздохнул и, прислушиваясь к стрекотанию кузнечиков, устало зашагал к полевому стану.

Он шел и думал о сыновьях. Когда на войне наступало затишье, Никите казалось, что и сыновьям не грозит никакая опасность, и был спо-

коен. Но стоило ему услышать по радио или прочитать в газете о каком-нибудь большом сражении, как он начинал думать, что Степан и Василий непременно принимали в нем участие, и в тревожном предчувствии ждал от них писем. Иного положения он даже не представлял себе, и в такие тоскливые дни хотел только одного, — чтобы судьба свела братьев вместе. Плечом к плечу им было бы легче переносить все лишения и невзгоды, сподручнее выручать друг друга в тяжелом бою.

За долгую жизнь Никита приучил себя спокойно встречать плохие вести, но сейчас у него почему-то особенно смутно и тревожно было на душе. Он знал, что люди устали и ждут конца войны, хотя она длится только без малого год, ждут большого, решающего наступления и не допускают даже мысли, что снова могут повториться черные дни прошлой осени.

«Чем поддержишь и укрепишь тех, кто слаб и немощен духом, — думал Никита, — такие люди всегда будто на болотных кочках сидят: чуть пошатни их — падают... Все может пережить человек — мор скотины, погорелье, голод, даже смерть родных людей, если душа его сохранилась в целости. Главное — уберечь душу, чтоб не разъедала ее никакая подлая ржа. А если душа, испытав горе, уцелела и только плуце закалилась оттого, тогда человеку ничто не страшно...»

Он шел, устало горбясь и почти не заметил, как поравнялся у озера с дедом Филатом и Дикаревым. Разморенные жарой старики еле двигали пыльными обутками, стуча по дороге суковатыми батошками. Никите стало немного легче, когда он увидел самых старых людей деревни. Почтительно относясь к убеляющим человека сединам, старый человек в беду идет к ветхим, дремучим старикам, надеясь услышать от них верное слово.

— Никите Алексеичу! — приподнял с лысины мятый картузишко дед Филат. — Чем, служилый, обрадуешь?

— Мало радости, Филат Никанорыч, хлеба могут погореть...

— Бог захочет — наградит, не за-

хочет — с сумой пойдем, — буркнул Илья Дикарев.

— Ты сумой нас не пугай, Илья. Чего там! — недовольно зашамкал дед Филат. — На своем веку мы знали всякое лихо, лишь бы на миру все ладно было...

— На миру скоро беспокойно будет, — сказал Никита. — Германец спяты зубы кажет...

Словно сговорившись, старики несколько минут шли молча. Дойдя до корявой березы возле светлой горной речки, они присели и стянули потные картузишки.

Взору открывались заливные луга и озера. Чуть проступали в синеве белые вершины далеких Алтайских гор. Давно когда-то, в каменистом овражке, — что сейчас же за кустом направо, — была ключом горячая вода. Обитатели деревни ахали тогда и не могли нарадоваться на такую благодать. Ходили к горячим ключам до поздней осени стирать белье, купать ребятишек. Правда, радость их не была продолжительной. На пятый год вода пропала, ушла под землю, но прозвище деревни — Горячие ключи с тех пор так и осталось.

— На такую благодать германец покуситься хочет, — прошептал Филат, обводя кругом рукою. — Мало, по всему видать, набили им морду, — еще просят!.. Истинно старые люди примечали: беда — она одна не ходит... Да-да... Она в одночасье с другой норовит. Был однажды тут в Сухом логу — мышей ноне расплодилось — пропасть... Так они там, в логу-то, нор понаделали — не счесть, как решето земля-то...

— Не приведи бог, — дурная какая примета! — покачал головой Дикарев.

— Вы уж при бабах-то молчите, — сказал Никита. — Человека сейчас мягчить надо, а не лишнее зло в нем сеять...

— Человек, — он теперь ершистый пошел, — заметил Филат. К нему сейчас с какой стороны ни подойди, он везде колется.

Помолчали. Потом, опираясь на ба тожки, старики поднялись и стали прощаться.

— Куда бредете?

— Хозяин нам бюлетню пропи-

сал, — ответил Филатов. — Мед велел качать. Близко случисься — забегай... Он сейчас, мед-то, больно хорош да скусен. Душистой травкой отдаст, те-ку-уч, как слеза... Забегай. А народ обожди баламутить, он сам до всего дойдет, так-то. Покуда, Лексеич!

Старики, не спеша, постукивая ба тожками, зашагали полевой тропкой к деревне, а Никита свернул к стану. Тревога уже рассасывалась в нем. Его даже не расстроил царивший на стане ералаш: свезенный с полей инвентарь в беспорядке был свален под открытым небом: лучились лемехи плугов, торчали кверху зубьями бороны.

— Пообедаю да, пожалуй, стаскаю все это богатство под навес, — решил Никита.

В тени крыльца, часто дыша, лежала собака, дергая свесившимся через клыкастые зубы розовым языком. Она вильнула хвостом, не поднялась навстречу, а только посмотрела мутными глазами на Никиту, как бы говоря: «Ты уж меня прости, хозяин, сам знаешь, — жара».

В избе свекра встретила Поля.

— Здравствуй, батенька. Ну что мой Петюнька там? Бабы жаловались...

— Никакого с ним сладу нет, — сказал Никита. — И в кого растет, сорванец! Чуть не всем ребятишкам в детском саду носы порасквасил, — нашел забаву!

Он говорил, сурово сдвинув брови, но Поля не верила, что свекор по-настоящему сердит на внука. И не ошиблась. Никита замолчал, пряча в пушистых усах легкую ухмылку. Усаживаясь за стол, он спросил:

— Настя где?

— Спит. В ночную ей заступать.

После обеда Никита принялся наводить порядок на стане и работал до вечера, пока не приехал Булатов. Тот быстро слез с лошади, кинул ей охапку сена и опустился на ступеньки крыльца. За несколько дней он заметно похудел, лицо его было задумчиво, сумрачно.

— Как овсы? — спросил он подошедшего Никиту.

— Пока не видать...

— Ничего, взойдут, — убежденно

сказал Булатов, помолчал, свернул цыгарку. — Дня на два муки у соседей занял, — тихо продолжал он, — а там, глядишь, и на мельнице очередь подойдет.

— Погляди на завтрашний денек, хозяин, — коснулся его плеча Никита.

За рощей буйно, кумачово занимался закат. Красный свет упал далеко в глубь степи, где замыкала землю черная чапа неба. Неожиданно на фоне заката выросли корявые силуэты телег. Телеги растянулись, почти заняв полукружье горизонта. Они двигались тяжело, груженные узлами, чемоданами, разным домашним скарбом... На узлах, не шевелясь, сидели дети, зачарованные алым небесным разливом. За телегами в раскачку шли возчики, мотавшие в лад шагам длинными руками. Казалось, с насиженного места снялась целая разоренная дотла деревня, и бежала от бедствия на поиски нового пристанища. Уже слышно было, как тягуче скрипели колеса, плакали дети...

Прижав руки к груди, испуганная, стояла на пороге Поля.

— Что это, батенька?

— Гости к нам едут, из Ленинграда, — сказал, поднимаясь, Булатов. — Пойдем встречать, Никита Алексеевич... Да, постой, чуть не забыл...

Он вынул из кармана гимнастерки письмо и подал Никите. Тот разорвал конверт, быстро пробежал глазами размашистые строки, и губы его дрогнули.

— Со Степой что, батенька? — крикнула, сбегая с крыльца, Поля.

— Не кричи! — Никита до боли сдвинул ее локоть. — Василия ранили, из госпиталя пишет... Настю-то, слышь, не тревожь до завтра...

Он нагнулся, словно чего-то шаря глазами на земле, потом шагнул вслед за Булатовым.

На смуглую полину щеку выкатилась крупная слеза, доползла до скулы, и точно задумалась, наливаясь красным соком заката. Поля вздрогнула, когда, неслышно подойдя сзади, Настя обняла ее за плечи.

— Ты чего плачешь, а?

— Да так...

— Степу вспомнила?

— Ага, — шепнула Прля, радуясь в душе тому, что так легко соединяется в ответе и правда и ложь.

— Тебе легче, — вздохнула Настя. — Поплачешь, и отойдет душа, а я вот так не могу. У меня схватит сердце и сосет, и сосет, аж кричать хочется! Сегодня вот с утра мутит...

— Пойдем, я покормлю тебя, — заторопилась Поля, а то ведь тебе заступать скоро!

Они, как подружки, обнялись и пошли в избу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Застегнув капот машины, Настя села за руль и, усиливая газ, клавишно включила скорость. Зарываясь в гущину сумерек, машина вскарабкалась на крутой уклон, и лицо Насти внезапно овеяло ветерком. Она жадно вдохнула его и через минуту снова ощутила щеками плывущую навстречу душную ночь.

Работа в ночной смене нравилась Насте. В эти часы она как-то особенно чувствовала безропотное подчинение машины. Ведя ее сквозь непроглядные дебри ночи, почти всегда испытывала Настя какую-то особую гордость: малейшим нажатием педали, рычага или кнопки можно управлять дыханием железного организма. От ее желания зависело, какой мощности силу волеет она в его мускулы, как глубоко пустит в землю прожорливые лемеха и будет кромсать ими черные, хрипящие пласты. Однажды ей попался тяжелый бугристый участок. Плуги то уходили в землю по самую раму, то брали недостаточную глубину; прицепщик сзади дремал; часто глох мотор...

Настя нервничала: накричала на Костю, с досады чуть не прогнала его совсем. После нового захода пахота пошла ровнее. Настя немного успокоилась и стала смотреть вперед.

Из темноты, скупо освещаемая одной фарой, лезла под колеса, щетинясь серой стерней земля. Потом в полосу света ворвался толстый стебель прошлогоднего подсолнуха, и не успела Настя разглядеть его, как он исчез под машиной.

«Так, наверное, и с немчурой», — думала она, и эта мысль придала ее

работе какую-то иную значимость. Настигнув и раздавив первый ступень, она поймала себя на том, что с нетерпением ожидает, когда появится другой, и чем дальше, тем все сильнее овладевал ей какой-то мальчишеский азарт. Тычки подсолнухов вырастали на пути, как солдаты, и, точно взмахнув руками, падали навзничь перед машиной.

Даже обиженный до этого Костя и тот заинтересовался ходом сражения. Когда Настя начала прочищать засорившийся жиклер, он лениво сплюнул сквозь зубы и заметил:

— Храбро воюешь! Когда мне зуб выбили в драке, я после того несколько дней скучал. Делать было нечего — пошел и взял у Фильки книжку. Так там один дылда с мельницами воевал... Очень у него здорово получалось. Почитай — может, пригодится..

Настя промолчала. К рассвету, увлеченная работой, она незаметно отмахала две с лишним нормы. А на огромном распаханном участке, чудом уцелев в крохотной плешинке огреха, стоял один-единственный подсолнечник, одиноко, как крест над общей могилой.

Но сегодня Настя была не одна на участке. На соседнем загоне обшаривали землю фары ксюшиного трактора. Вторую смену они работали вместе. И, хотя Ксюша давно шла почти по всем показателям наравне с Настей, сердце ее не прощало прежней обиды. Она отказалась записать за собой тот злосчастный клин и на уговоры Насти отвечала: «Спасибо! Я и без подачки обойдусь; у меня сможешь занять, когда план кончим!»

«Боже мой! Да будь ты хоть во всем районе первой, — думала Настя. — Слова не скажу, завидовать не стану, лишь бы только перестала на меня злиться!» Бригадир, сколько ни пытался, не мог помирить их.

Вчера прибежал, запыхавшись, ксюшин прицепщик и заорал, стараясь перекрыть рокот машины:

— Коть-ка-ка! На коря-жи-ну напоро-лись! Прицеп увяз! Подсоби!

Настя приглушила мотор.

— Может, машиной лучше вытасшим?

— Я уж ей предлагал, — ответил прицепщик, — да она говорит: без тягача обойдемся.

«Не хочет, чтоб на буксир ее брали, — усмехнулась Настя. — До чего ж злопамятная, ничем не думает поступиться!»

— Ну, ваше счастье, что я в одной смене с вами работаю, — сказал Костя. — Анастасья Николаевна, дозвольте оказать пострадавшим стахановскую помощь!

— Иди.

Сегодня машины двигались ровень, не перегоняя и не отставая друг от друга. Тревожное предчувствие, которое с утра вынашивала в себе Настя, мешало ей внимательно следить за работой своей соперницы. Тревога была глухой и тягучей. Иногда Насте казалось, что она забыла сделать что-то очень важное, и — оттого, вспомнит ли она об этом, или нет — будет зависеть многое в ее жизни. Ругая себя, за неведомую оплошность, она крепко сжимала руки на руле, да боли в глазах глядящаясь в мельтешившую тень.

Степь отступала перед зыбким светом фар, убегала от машины косматая тьма, волоча за собой длинные колдовские хвосты.

«Почему она сегодня неровно газ держит, — прислушиваясь к рычанию мотора, думал Костя. — Небожь, размечталась... Заедет еще в какую-нибудь канавину, — не выберешься. Эх, не понимаю я этих баб!»

— О чем задумалась, детина? — закричал он, вскакивая поближе к тарелке сиденья.

— А что, скучно стало?

— Да нет, — за тебя боюсь. Дед Филат сказывал, в его время один знакомый все задумывался, задумывался, а потом взял да и повесился.

— Отчего?

— Не знаю. После себя бумажку оставил, а на ней только одно слово нацарапано: «Мичтал». О чем — неизвестно. Спросить некого. От бабы его еле толку добились; она говорит: собирался он, кажись, в Китай. Зачем — спрашиваю? А он мне на это всегда отвечал: «Умру, говорит, а китайцев так и не увижу, жалко... Интерес у меня к ним...»

«Напрасно Костя смеется над этим

мужиком, — думала Настя, забывшая на время о мучившей ее тревоге. — Может, за всю свою жизнь он, кроме как в деревне да на станции, нигде и не был, а тянуло встать побывать, в любой уголок заглянуть... Зачем на свет родиться, если даже половину нашей земли не объехать?»

— Настенька, ей-богу, тебе вредно за рулем сидеть, — горячо задышал ей в ухо Костя. — Пусти меня на твое место, а сама полезай на прицеп, поразмысли там немного, отдохни.

— Брось, Коська, машину угробить хочешь?

— Да что ты, Настенька, — затараторил прицепщик, — ты же мне ее всю до последнего винтика объяснила, а позавчера даже за руль пустила!

— Так то днем было, а теперь легко на бригадира нарваться. И тогда нас обоих с машины прогонят.

— Дрыхнет он сейчас. Давай на спор — в обе норки насвистывает, — не сдавался Костя. — Ну хоть до поворота позволю порулить — слышишь? Честное слово даю, больше не буду просить.

— Ты уж давал один раз, хватит..

— Не веришь? Эх, ты, задавала! Думаешь, одна только ты у нас и трактористка. Уламываешь ее, как маленький, ладно, у Журавушки, вон, попрошу, — он не такой трус, у него перед бригадиром руки-ноги не трясутся.

«Ну, теперь прилип, не отвяжется, — решила Настя. — Будет до утра бурчать, пока не разругаешься с ним совсем».

— Полезай, мучитель мой! — крикнула она. — Да смотри в оба, это тебе не в бабаки играть.

— Да я, эх, да я — знаешь что? Головой ручаюсь, — чуть не захлебываясь от счастья прицепщик. — Отпускай руки-то! Вот так... Я ведь знаю, что ты только для виду куражишься, а на самом деле ты добрая...

Лицо его с закушенной нижней губой восторженно сияло в свете контрольной лампочки. Чуть накренившись к рулю, он быстро говорил, казалось, делаясь с Настей своими сокровенными тайнами.

— Ты пойми, если я это дело очу-

хаю, так у всех этих мазуриков и у Фильки глаза на лоб от зависти полезут. Тоже, воображают, что они со мной соревнуются. Допустим, месяца через два, как начнем зябку поднимать, ты мне говоришь за столом в вагончике: «Константин Георгиевич, будьте настолько любезны, отведите трактор на заправку, а то у меня что-то аппетит на щи разыгрался!» «Пожалуйста, говорю я, мне это ничего не стоит». Встаю я как ни в чем не бывало из-за стола, мою руки и захожу на улицу. Все соревнователи, ясно, хохочут и за мной: опять, мол, Костька новую блажь придумал! Да не тут-то было! Без всякого фасона, завожу я машину, седлаю ее и, между прочим, мимо всей оравы ребят с разинутыми ртами на третьей скорости — р-р-р!..

Костя расхохотался. Воображение его рисовало одну картину заманчивей другой, и, нежно поглаживая баранку руля, он пообещал:

— Вот когда твой Василий с фронта придет и у вас с ним разная ребятня заведется, я тебе полную избу игрушек понаделаю. Я, какие хочешь, могу. Ладно?

«И чего мелет, сам не знает», — подумала Настя, чувствуя, как щеки заливают румянец и радуясь, что в темноте Костя ничего не заметит.

Однако недолго пришлось прицепщику с высоты сидения обозреть жидкие пятна света, падавшие впереди машины, и чувствовать себя наверху блаженства. На мгlistом гребне увала мелькнула темная фигура, и Костя, чертыхаясь, должен был покинуть с таким трудом выпрошенное место.

— Тащит кого-то нелегкая! — прохрипел он. — И через минуту уже раздосадованно кричал с прицепа: — Эх, зря сорвался! Пашка это, ваш полуношник бродит. Чей-то след ищет...

«Зачем он так поздно? — тревожно подумала Настя. Не случилось ли чего?» — Но она тотчас же успокоилась, заметив, что Павел нерешительно остановился на развороте дороги, глядя в сторону кюшиного трактора: «Две души в нем борются — не знает, к кому вперед подойти. Да иди к ней, дурень, к ней иди!

Мне ты уж и так надсел со своим нитьем!»

Каждый раз Насте было тягостно выслушивать упреки своего незадачливого шурина, хотя она и чувствовала себя немного виноватой перед ним. А он почти во всем винил только одну ее, думая, что никчемная эта ссора с Ксюшей возникла как раз в тот момент, когда в его отношениях с девушкой назревало что-то очень хорошее. Он заметил, что за столом Ксюша часто садится наискосок от него и, смеясь над чужими шутками, незаметно и серьезно поглядывает на него. Павел всегда терялся, встречаясь с ее взглядом, ему было совершенно непонятно, и он недоумевал, как она может смеяться, когда глаза ее думают о чем-то другом? Не случись в тот день несуразной золовкиной выходки, он спросил бы Ксюшу об этом, а может быть, и сам решил бы сказать все.

Сейчас он стоял босиком на сухой и теплой земле и думал совсем об ином. После ужина Поля отозвала его в сторонку и сказала, что ранили Василия. «Братку?» — спросил он, чувствуя, как судорога сводит в кулаки его пальцы, и на горло его, славливая, будто ложится чья-то большая ладонь. Поля молчала, и он больше ни о чем не спрашивал.

Он лег спать в телегу под навесом, набросав туда свежей травы, долго ворочался, насильно закрывая глаза, но ничего не получалось. Тьма нашептывала ему разную нелепицу. Он закрывал тужуркой голову, чтобы не слушать, но все было напрасно. Он уже ехал в прокуренном вагоне, брел по болотной, кочковатой местности, пил с неизвестными солдатами в землянке водку, кто-то хлопал его по плечу и спрашивал: «Этой чей, братцы, парень?» — «Василия Родионова, отчаянного разведчика родной брат», — отвечали солдаты. «Да ну? В гости, значит, к нам!» — «Нет, зачем, — смущенно отвечал Павел, — воевать. Вот братка выздоровеет, вместе будем; а пока я за двоих». Потом он полз ночью к немецким траншеям, бросался на часового, часа два боролся с ним и, связав, тащил на спине в свою часть. «Упарился? — спрашивал седоусый

генерал, — и как ты такую тушу донес? Родионовская хватка, ничего не скажешь». Перед строем генерал вешает ему на грудь сверкающий кружок медали, и Павел слышит, как восхищенно переговариваются между собой солдаты: «Вот это парень! Не успел на фронте появиться — уже медаль заработал! Видать, не уступит брату!»

Тьма продолжала бы нашептывать ему и дальше, если бы он не встал и не пошел в поле. Пыль на дороге еще хранила дневное тепло и мягко, как вата, оседала под босыми ногами. Он и сам не знал, почему ему вдруг захотелось проведать Настю, поговорить с ней, узнать, как она сегодня работает.

«Мы все бежим от чужого горя, нет, чтоб помочь человеку, облегчить тяжелую весть», — думал он, и своя недавняя обида на невестку казалась ему ненужной и мелкой.

У края поля он задержался, глядя на копошившиеся в ночи машины, и стараясь по шуму определить, какую из них ведет Настя. Уловив справа густой, ровный гул мотора, он зашагал по вспаханному полю и, различив в темноте раму прицепа, молча забрался в машину.

— Как у тебя тут? — дотронулся он до настиных плеч.

— Чего это ты сегодня разнежилась? — спросила она. — Убери руки-то!

— Ишь, недотрога, — к ней с лаской, а она, — сказал Павел и внимательно взглянул в лицо невестки «Как каменная, будто ничего и не случилось, ну и характером бог наградила». Что Вася-то пишет?

— Сам чуть не все письма читаешь, а спрашиваешь...

— Да последние-то два не смотрел!

— Какие два? — насторожилась Настя.

— Ну, хотя бы самые поздние... Чего на себя строгость напустила — не понимаю!

Она чуть не каждому встречному на деревне, рассказывала о том, как Василий отбилась в разведке от своих товарищей, два дня плутал по лесу, несколько раз нарывался на

немцев, уходил и как в конце концов друзья выручили его. Она думала, что Павел давно знает все подробности и нарочно выспрашивает ее, чтобы посмеяться над ее болтливостью.

— Отвяжись, Пашка, — сказала она. — Батя тебе, наверное, давно все рассказал.

— Да я его в глаза несколько дней не видел! А Поля сказала два слова и разревелась...

— Ребеночка жалко ей, — вздохнула Настя, — боится, как бы со Степой чего не случилось.

Навострив ухо, Костя подслушивал чужой разговор. При последних настигах словах он растерянно приподнялся на прицепе. Его осенила смутная догадка. Чувствуя, что скоро Павел и Настя поймут друг друга, если им не помешать, он стал карабкаться на машину и в темноте нашарил босую павлову ногу.

— Если одного могли, то и другого, — начал Павел, и вдруг заорал, увидев перед собой Костю: — Ты что, дурак, щиплешься? Я вот тебе как сейчас двину по сопатке! Нашел шутки. Никогда б не стал работать с таким прицепщиком!

— Ты мешаешь нам производительность повышать, — спокойно заметил Костя, теперь уже окончательно убедившись в правильности своего предположения. — Строгим выговором пахнет, — бригадир вон сюда идет...

Павла словно ветром сдуло с машины. Он побежал напрямик через пашню и сразу пропал в темноте.

Костя в самом деле не ошибся. Навстречу рассеянному свету фар устало, вразвалку, шел Яков. У разворота он подождал, пока трактор доползет до него, несколько минут шагал сзади, увязая в шуршащих пластах, потом, неловко цепляясь одной рукой, поднялся на машину.

— Кто это от тебя побежал? Пашка? Вот чудак... — В сипловатом голосе бригадира сочилась еле приметная грусть.

— Не спится, Яша?

— Душно очень.

Пушистой веточкой вербы вился над радиатором белый парок, зоркие

глаза Якова были пристально устремлены на него.

— Не устала, Настенька?

— Откуда? Недавно в смену заступила.

— А то пойди отдохни, я за тебя повожу.

— Брось, что ты!

«Тоскует, — решила она. — По глазам вижу. Тоска к нему, как к другим запой, приходит... Эх, Фенька, Фенька...»

— Ты знаешь, я о чем хотел с тобой, — словно угадывая ее мысли, заговорил Яков. — Вот она письмо прислала, просит последнее слово сказать. А что я могу? Хожу один со своей занозой, зубами скриплю. Ну что мне делать? К людям пойти? А что скажут люди? Разве они все знают? Для меня и лучше и хуже нет Фени никого на всем свете.

Слушая его горячий, торопливый шопот, Настя терялась перед запутанностью чужой жизни и чувствовала себя в такие минуты незрячим, беспомощным кутенком. И вместе с тем женское чутье подсказывало ей, что кое-что она знает лучше и вернее Якова и, может быть, ей удастся случайно связать какие-то прочные ниточки.

— Ты, Яша, поглубже в себя загляни, может, и вправду ранку залечить лучше, чем расковыривать ее. Человека-то настоящего, ой, как трудно найти, чтоб всем он был для тебя хорош.

— Это ты верно, — горько усмехнулся Яков. — А ты, вот что, скажи мне — если бы Василия убили — страшно бы тебе было? Скажи — страшно?

— Ой, Яшенька, зачем ты это? зачем? — Настя рванулась за рулем, испытующе глядя в побледневшее лицо бригадира.

— А вот зачем, — разжал губы Яков. — Если бы меня там хлопнули, она недолго бы тут горевала! Я это не к тому, чтобы она до гробовой доски верной была и замуж не выходила, если мужа пуля уложит. Нет, пусть потом, когда сердце забудет тебя совсем, пусть хоть за монгольского бога, выходит — все равно. Жить-то как-то надо. Но пока я живой — пусть мной дышит. Раз не

врала в любовной горячке, пусть совестью за все отвечает... Тогда там, если и подвернется пуля-дура, и умирать как-то легче. Знаю, видел...

Притихнув, сидел на прицепе Костя, не все улавливая за грохотом машины. Но едва бригадир упомянул имя настиного мужа, как прицепщик досадно сплюнул и снова полез вверх. Однако его вмешательство не потребовалось: бригадир собрался уходить. Волнуясь и торопясь, Настя говорила ему напоследок:

— Знаешь, Яша, не каждый человек может всю жизнь ровнехонько по одной половице пройти. А если он один раз оступился, так, по-твоему, пусть до конца и будет калекой? А она ведь душу свою в кровь избилала... Я знаю,— тяжело тебе, а ей, может, в сто раз тяжелее. Ты все-таки, Яша, оглянись кругом...

— Темно, Настенька, тут темно,— прикладывая руку к груди, сказал он.

«Эх, когда-то, наверно, и мне придется жениться, — подумал Костя. — Вот заботы-то прибавится».

— Яша, посылай скорей водовоза! — крикнула Настя, когда бригадир, спрыгнув с машины, пошел полем. — Вода в радиаторе закипает!..

Костя вернулся на свое место и начал прочищать забившиеся сорняками плуги, изредка поглядывая на склонившуюся у руля Настю. Разворачиваясь на краю поля, тракторы почти сходились на расстояние двадцати шагов, и тогда Костя, заложив в рот два пальца, оглушительно свистел. Ксюшин прицепщик не умел так лихо, по-разбойному, свистеть и, не желая осрамиться, брал глоткой: «О-го-го-го-го!..» — орал он. Когда прибыл водовоз и машины остановились, прицепщики, показывая несывалую прыть и удаль, стали наплевательничать радиаторы водой.

Настя подошла к бочке, лежавшей на телеге, и заглянул в нее. В квадратной дыре маслянисто поблескивала и колыхалась темная вода. Зачерпнув полный ковш, она выпила его почти одним духом. Холодок обжег губы, из бочки тянуло запахом сырого дерева.

Передохнув, Настя потянулась за вторым ковшом, но кто-то на полпути задержал ее руку. Она подняла

голову и увидела рядом с собой Ксюшу. На скрытом темью лице ее чуть проступали запорошенные пылью брови.

— Хватит, хватит, — простудишься! — сказала она, и Настя почувствовала, как девушка улыбнулась. Улыбка была во всем: в голосе, в горячей руке, охватившей ее запястье, в непонятной, до слез трогавшей заботливости.

«Неужели отошла? — все еще не веря разительной перемене, подумала Настя. — Давно бы пора. И парень перестанет мучиться. Все равно, от него никуда не денешься...»

— Не послушаешь мой самовар? — спросила Ксюша. — Барахлит что-то, не пойму.

Не выпуская настиной руки из своей, она повела ее к дрожащему в сторонке трактору. Пока Настя, отстегнув капот, возилась около машины, Ксюша недоумевала: «Правду Пашка сказал, — не бабий у нее характер. Другая б на ее месте изревелась вся, а ей даже сочувствовать неудобно».

— Нашла болезнь, — сказала Настя. — Подшипники надо подтягивать. Приедешь на стан, скажи Яше, слуской масло из картера и засучивай рукава.

— Завидно, как ты скоро во всем разбираешься, — сказала Ксюша.

— Ерунда, — отмахнулась Настя. — Мало я еще знаю. Сама иной раз хоть об стенку головой бейся, когда застопорит. Яша вон как-то сказал, что настоящий тракторист должен нагар на поршнях чувствовать!

— Ну, так то Яша!

Они поговорили еще о каких-то, ничего не значащих пустяках, вчерашних и сегодняшних, как будто между ними не было никакой ссоры, и Настя вернулась к своей машине, радуясь неожиданному примирению.

Где-то на краю степи уже рассасывалась ночная мгла. Вначале казалась: в мутную воду упала капля молока и слегка забелила ее. Потом капли засочились быстрее, наполняя глубину белесым сумраком, и, наконец, озаряя рассветной голубизной землю, выбросились в небо нежнейшие, бледнозеленые и розовые пологи восхода...

Первой около тракторного вагончика Настя встретила Валентину Сергеевну. Стоя у крылечка, она спронея потягивалась на солнце, протирала кулаками глаза. Через плечо у нее висело мохнатое полотенце, в овальном вырезе пестрого сарафанчика темнела загорелая спина.

— Пойдемте купаться! — крикнула она.

— Ладно, — неожиданно для себя самой согласилась Настя. — Вот сейчас подрулю к погребку, сдам смену, и — айда!

Через полчаса они шагали петлястой тропкой к реке, одна запыленная, усталая, другая — надушенная, разомлевшая от сна.

— У вас дети есть? — внезапно спросила Валентина.

— Нет, — смешалась и порозвела Настя. — А что?

— Ничего, просто так.

— А у вас?

— Тоже нет... Но я бы, знаете, хотела одного или нет, лучше двоих — мальчика и девочку, верно?

— Не знаю, — простодушно ответила Настя и, в свою очередь, заинтересовалась: — Это вчера ваш муж приезжал? Серьезный такой мужчина.

— Ну, это он так на себя, напускает, — засмеялась Валентина. — Хотел домой увезти, да я сказала ему, что председатель не отпускает, а Булатова ищи-свищи!

Они пробрались сквозь гущину веток к берегу и остановились, ослепленные блеском воды. Река воркотала, перемывая разноцветную гальку и пестрые витки ракушек.

Валентина, не торопясь, разделась и лениво потянулась. Запрокидывая за голову руки, она приподнялась на носки, словно хотела начать какой-то замысловатый танец, потом быстро выпрямилась и смуглотелой рыбиной кинулась в воду, разбив сочную зелень отраженных кустов. Вынырнув, она звучно зашлепала ладонями по воде, будто ловя кишаших вокруг нее серебристых рыбок.

— Плыви сю-да-а!

Настя подождала, когда ветерок обвеет ее разгоряченное тело, и не спеша вошла в рывившую камушка-

ми воду. На середине реки, подплывавая совсем близко к Насте, Валентина спросила:

— Вы не знаете, куда Булатов скрылся?

— Говорят, на мельнице.

Выбравшись на отмель, они легли на желтый горячий песок.

— Он вам нравится? — спросила Валентина.

— Кто? Андрей Иваныч? — вскинула влажные ресницы Настя. — Еще бы!..

«Уж не потому ли он боится лишнюю минуту со мной побыть?» — подумала Валентина, ревниво оглядывая лежавшую рядом с ней женщину. Крепкое, по-девичьи сбитое тело, правильная и красивая фигура, загоревшие мускулистые ноги с голубенькими прожилками выше икр.

— У нас его здесь все любят, — жмурясь от слепящей водяной ряби, тихо досказала Настя. — Да и разве вам-то самой он не нравится?

— Нет, — встряхнула головой Валентина и засмеялась. — Ни капельки не нравится! Не в моем духе. Я, знаешь, каких люблю?

— Каких?

— Чтоб голова кружилась и дух захватывало!

— Да ну вас! — застыдилась вдруг Настя, прикрывая руками грудь.

Валентина, раскачиваясь на песке, хохотала до слез и, только бултыхнувшись в воду, пришла в себя.

— Поплыли назад, монашенка! — звала она. — Бесстыжая я, правда? О мужиках это я нарочно, не думайте. Я сама не знаю, почему люблю некоторых.

Одеваясь, она залюбовалась румяным лицом трактористки и, довольная тем, что ошиблась в своем познании, придвинулась к ней и поцеловала ее в щеку.

— Первый раз говорю с вами и уже сразу полюбила. Наверно, у вас очень хороший муж?

— Да, — просто сказала Настя.

До полевого стана она не проронила больше ни слова: что-то в этой директорше и нравилось и не нравилось ей, — она не могла понять. Молчала и Валентина. Поглядывая на

шагавшую рядом молодую женщину, притихшую, с плотно сжатыми губами, дивясь разительной перемене с ней, она думала, что и сама стала другой. За то недолгое время, что пробыла в колхозе. Вначале, сбита с толку игривой мыслью, она упрямо пожелала чаще видеть Булатова и согласилась на тяжелую работу, не отдавая себе еще ясного отчета во всем. Позже, сталкиваясь с будничными неудачами, натирая кровяные мозоли на руках, она поняла, что одним упрямством и злостью ничего не добьешься. Приглядываясь к работе, перенимая бабью сноровку, она через неделю ощутила первую легкость, завоеванную привычкой и небольшим опытом. Теперь она радовалась, что идет в работе наравне со всеми, не отстает ни от кого, не встречает насмешливых взглядов, чувствует растущее изо дня в день уважение колхозников. Внимание их рождало в ней неизvestное прежде чувство глубокой благодарности к людям, научившим ее мужественно преодолевать трудности...

У вагончика их встретил Никита. Взглянув в его лицо, Настя поняла, что предчувствие, не покидавшее ее всю ночь, было не напрасным.

Она шла к свекру, побледнев, сжав зубы, ища глазами его глаза. Поймав, наконец, их умный прищур, она подумала, что плакать не будет, надо сдержаться, но уже чувствовала, как все сильнее сжимается сердце, как текут по ее щекам слезы...

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ

Гараська опрокинул стакан на блюдце вверх дном, шмыгнув розовым облупленным носом, шумно вздохнул.

— Напоролся? — засмеялся Тимофей, хлопая сына по тугому животу. — Может, без коляски нынче обойдемся? Чего тебе стоит домахать меня до конюшни на горбу, а?

— Я, конечно, могу, да мамка, вон, зругается, — сказал Гараська.

— А ты ее не слушай, — куражился для виду Тимофей. — Кто она для нас с тобой? Царь и бог, что ли?

— Ну, начали рассусоливать, теперь не остановишь, — заговорила

Авдотья, зашнуровывая ботинки. — И как это вам не надоест из пустого в порожнее переливать! Ну, живо из-за стола!

Наскоро прибирая в избе, она нарочито строго покрикивала на всех. Но, случайно взглянув на притихших за столом Тимофея и Гараську, она не выдержала и расхохоталась. — Ха-а-тит вам! черти дотошные! Чего спектаклю разыгрываете? Бабы уж, поди, костерят меня почем зря. Хороша, скажут, командирша, последней является на работу!

Сполоснув руки, она подняла с пола Устюшу, надела на нее чистую рубашку и стала прощаться.

— Опять допоздна будешь? — спросил Тимофей, задерживая в ладонях руку жены.

— Может, и совсем не приду, — сокрушенно вздохнула Авдотья. — Блошка на свекле появилась, Боюсь я, Тимоша!

— Впервой тебе, что ли?

— Народу у меня мало; бабы вкопец измотались, яду против блошки подходящего нет. А жара, помнишь, в третьем году, что у нас натворила? Погода — самая для блошки.

— Не теряйся главное, настропали баб хорошенько, — посоветовал Тимофей.

Обежав последний раз глазами избу, она вышла. Тимофей видел в окно, как она несла двором Устюшу и как девочка, вертя головой и тарая карие глазенки, хлопала в ладоши.

— Подавай, сынок, к крыльцу мой «газик», — сказал Тимофей. — Пора и мне выбираться из дому.

Он ловко спустился с лавки, спорко зашаркал обтянутыми кожей культяпками, появился на крыльце. Гараська выкатил из сарая коляску. Опираясь одной рукой о ступеньку, Тимофей ухватился другой за вбитый около крыльца кол и, слегка подтянувшись, плюхнулся на войлочную подушку сиденья. Гараська распахнул ворота, и, двигая двумя рычагами, Тимофей вырулил на дорогу.

За деревней над светлеющей рощей занимался сухой день. С пригорка упала перед Тимофеем широкая улица, сбегая крайними избами к

поникшим, пыльным ветлам обрывистого берега Чарыша.

Гараська еле послевал за отцовою коляской. Он бежал за ней вдоль цветущих плетней огородов. Сквозь щелястые ребра частокола брызгало солнце, бегущая пестрила перед глазами рябь, у Гараськи захватывало от этого дух и кружило голову. Внезапно солнце пропало, коляску накрыла косматая тень тополя, и Гараська услышал голос отца:

— Убери, сынок, камень с дороги. Еще б немного, и бухнулся бы в сторону.

Гараська отбросил державший колесо камень величиной с кулак и пообещал:

— Мы как-нибудь соберемся с ребятами и всю улицу от каменез и палок очистим. Чтоб тебе, тять, гладко было ехать. Ладно?

— Идет.

Тимофей нажал на рычаги и погнал коляску дальше, вспугивая копошившихся на завалинках кур, воодушевляя на лай ленивых от жары собак. Скоро за ним вприпрыжку неслись еще четверо гараськиных сверстников, поднимая босыми ногами вихри пыли. Верхом на прутьях они лихо высвистывали, рассекая воздух деревянными саблями.

Из окна правления колхоза махал им рукой Никита. Высунувшийся сбоку из-под руки его Авдоня кричал:

— Куда это ты, Тимофей Кондратьич, наступление повел? Заранее такому войску в плен сдаюся!

Тимофей затормозил коляску.

— А про настоящее войско сегодня передавали?

— Все то же, — хмуро бросил Никита. — Слышал, может, есть такой город Богучар? Немцу его отдали.

Ребятишки слезли со своих коней-прутьев, затихли. Их невольная робость передалась Никите, и он с надеждой пытливо взглянул в посуровевшее лицо человека, побывавшего рядом со смертью. Но не дождался ответа. Из переулка вырвался буланный конь с вцепившимся в гриву вихрастым подростком на спине. Перед окном он сдержал взмыленного коня и крикнул, срывающимся от волнения голосом:

— Дяденька Никита! Блошка.. на свеклу, на-па-ла! Тучей! Видимо-невидимо!.. Бабы в рев ударились!

Никита навалился грудью на подоконник, скользнул взглядом по курносому лицу подростка, побелевшими губами глухо спросил:

— Авдотья прислала?

— Она! Они там парижской зеленью блсшку травить стали... Травят, а сами плачут.

Упираясь тяжелыми кулаками в подоконник, Никита приподнялся, минуты две молчал.

— Так, так, — сказал он, словно припоминая что-то. — Плачут, говоришь? Известно дело — бабы!.. Ты вот что, Ванюшка, скажи в полевую бригаду, пусть народ все бросает и на свеклу идет. Тебе, Авдей Евсевич, такое задание — пригласи и старух, грузи телеги навозом и гони туда... Гарася, сбегай за Андроном в кухню, заодно и Анисима позови, — он встретился глазами с Тимофеем, подумал и нашел для него работу: — Заворачивай вдоль улиц, Тимофей Кондратьич, стучи в окна, скликай всех, кого можно! Приезжих не очень беспокой, они побольше нашего горя видели! Заверни по пути в кладовую — пускай Сенька бочку патоки на улицу выкатит, и всю негодную мешковину в кучу сбрасает. Трогай!

Оставшись один, Никита потоптался у стола, припоминая все возможные средства против страшного, опустошающего всходы вредителя. За этим раздумьем и застал его маленький черноволосый человек с крупным мясистым носом, оседланным роговыми очками.

— Здравствуйте, товарищ, — сказал он, мягким движением руки сняв серую шляпу. — Давненько мечтал заглянуть в ваши Палестины. Корреспондент краевой газеты, Михаил Дарь. Надеюсь, встречали мою фамилию в газете?

— А как же, читал, — машинально ответил Никита, хотя в действительности не мог связать эту фамилию с чем-нибудь конкретным.

«Эк, не ко времени тебя, парень, принесло, не до тебя нам сейчас!» — подумал он, с тревогой наблюдая, как гость по-домашнему собирается

расположиться в избе: нашел в стене гвоздь, повесил шляпу, снял и накинул на спинку стула пиджак, положил на стол толстую кожаную сумку.

— Вы не знаете, почему ваш колхоз недолюбливает заведующий райзо? — между тем словоохотливо продолжал корреспондент. — Довез на подводе почти до села, а в колхоз не захотел заглянуть. Интересно, очень интересно!

— Раньше часто заезжал, — вяло отвечал Никита. — Кто его знает...

Он начинал злиться на самого себя, на случайно подвернувшегося в неурочное время незнакомца, и уже отчаялся найти выход из всего этого, когда на пороге появился Андрон.

«Вот замечательно! — облегченно подумал он. — Этого за язык тянуть не придется. Сбагрю ему городского молодца».

— Вот, Андрон Поликарпович, познакомьтесь, — смущенно начал он. — Товарищ из края к нам приехал.

— Очень приятно, — сказал Андрон, пожимая гостю руку. — Вы случаем не из газеты будете?

— Совершенно точно. А вы откуда знаете?

— Помилуйте! Мы по-культурному живем, читаем прессу, — щегольнул Андрон новым, недавно полюбившимся словом, произнеся его таким тоном, чтобы гость сразу почувствовал, с кем он имеет дело. — А ваши статьи мы даже вслух пробовали.

— Ну и как? Что говорят колхозники? — спросил корреспондент.

— Полное восхищение выражают, — ответил Андрон, сам удивляясь той легкости, с которой сегодня всплывают в памяти наиболее замысловатые выражения. — На высоком идейном уровне пишете, что и говорить! Я однажды, прочитал одну вашу статейку, две ночи подряд не спал.

«Ну, это, кажись, он зря, начал перехлестывать — попала вожжа под хвост», — недовольно подумал Никита. Однако лицо гостя не выражало недоверия. Через толстые стекла очков с явной самоуверенностью и

вниманием смотрели на говорившего глаза корреспондента.

— Так я пойду, Андрон. Покажи товарищу все, что надо, определи на квартиру.

Мимо окон уже бежали люди с лопатами, мешками, лейками, устремляясь через мост на полевую дорогу. Никита хлопнул дверью и выскочил.

— Что такое случилось? Куда это все бегут? — встревоженно спросил корреспондент.

— Наш народ сегодня самоотверженно свеклу спасает от блошки, — хладнокровно пояснил Андрон.

— Послушайте, так ведь это очень интересно! — воскликнул приезжий, хватаясь прыгающими пальцами за сползающие очки. — Может быть, мы пройдем туда?

— Желательно взглянуть на трудовой подъем? — осведомился Андрон. — Не возражаю. Только спервоначалу дойдем до моей избы, охладимся кваском, и тогда уж движем. К самому разгару поспеем. Не забудьте свою фетровую панаму: в такое варево может и солнечный удар хватить.

Он кидал слова с небрежной расточительностью, чувствуя, как его захлестывает и несет вперед веселящий водоворот. Поговорить с образованным человеком, показать ему себя, оплести его словесным кружевом — всегда доставляло Андруну высшее наслаждение.

...Глаз не охватывал махрово зеленоющего пространства. Оно было подавляюще огромным и беспощадным, как небо, полное текучего желтого зноя.

Курились разбросанные по полю зажженные навозные кучи, но дым не расплзался по ботве. Зной слизывал и растворял его пепельные космы в своем зыбком мареве.

Подхлестываемые тревогой, к полю стекались все новые и новые люди. Издали казалось, что они бестолково суетятся около навозных куч, растерянные, крикливые, но вблизи это впечатление пропадало. Направляемые хозяйской рукой, они разбредались на отведенные им участки, и вот уже уходили вдаль, поглощенные ленивой дремотной степью.

Вежливо поддерживая гостя под

руку, Андрон вел его краем свежловичного поля.

— Чем вам грозит это нашествие? — спрашивал корреспондент.

— Чем? — смеялся Андрон открытой наивности вопроса. — Я вам сейчас уловлю этого зверька, полюбуюсь.

Он шагнул в междурядья всходов, и, минуто помешкав там, вернулся. На разжатой его ладони лежал краснотелый черный с синеватым отливом жучок. В другой руке Андрон держал зеленый лист с выеденным пятном.

— И вот когда этот враг нашей колхозной жизни, — Андрон сдул с ладони жучка, — когда эта, с позволения сказать, микробная тварь подберется к верхушечной почке, тогда наступит гибель для всего этого плодородия!

Величественным жестом Андрон указал корреспонденту на пышные всходы. Тот был подавлен размерами надвигающейся катастрофы и молчал.

Так, не проронив больше ни слова, они прошли до участка, раньше других пораженного блошкой. Здесь корреспондент снова оживился, захваченный яростным ожесточением, с которым работали люди.

Они двигались почти сомкнутым строем, таща по ботве смазанные паточкой мешки, тянули прозрачные марлевые волока, следом за ними шли другие партии, обрызгивая чем-то листья.

Внимание корреспондента привлекли люди, одетые несколько пестро и отлично от всех остальных. Особенно удивили его две женщины, работавшие в туфлях на высоких каблуках.

Встретив недоуменный взгляд гостя, Андрон пояснил:

— Это граждане города Ленинграда.

— Ах, вот что! — воскликнул корреспондент, и карандаш его забегал по раскрытому блокноту.

— Или вот, — Андрон потянул гостя за рукав, — полюбуйте, экземпляр...

Вдали, среди мясистой зелени, мелькал ярко-желтый сарафан.

— Кто это?

— Жена директора мэтэсэ, — на туженно кашлянул в кулак Андрон. — Баба, можно сказать, сгорает от энтузиазму... совсем сгорает...

Корреспондент насторожился, чутьем угадывая интересную подробность чужой жизни.

— Эта ловкая бабочка, — сверкнул белками глаз Андрон, — на мой темный необразованный взгляд, вскружила одну голову в нашем колхозе. Окончательно и бесповоротно. Отсюда нежелательные выводы: от того кружения той больной голове не под силу справиться с ответственными заданиями на данный момент.

Бригадир передохнул и помолчал, будто, произнеся перед колхозниками длинную речь, налил себе из графина стакан воды и залпом выпил его.

— Неужели этот представительный старик? — начал было корреспондент, но Андрон легонько хлопнул его по плечу.

— Извините за беспокойство, но вы ошибаетесь: утром вы познакомились с таким же бригадиром, как и я грешный, — Никитой Лексеичем Родионовым.

— Но, я надеюсь, что мы встретим председателя здесь?

— И опять-таки коренным образом ошибаетесь! Мы сами его не видим несколько дней.

— Но где же он в такой критический для вашего хозяйства день? — уже строго допрашивал гость.

— Буквально мне неизвестно. Был на мельнице, а потом будто поехал ликвидировать один наболевший вопрос в Зареченском колхозе.

— Ах, вот как? — глубокомысленно сказал корреспондент и застрочил в блокноте.

Долго шли молча. Зеленую бахрому свежловичного поля опоясывала узкая тропка. Обогнув деревянную вешку с выцветшим красным лоскутком, она свернула к раскинутому на лужайке табору.

Около шалаша сидел на корточках Сенечка и размазывал по мешковине липкую тягучую паточку. Рядом с ним, опираясь рукой о телегу, запрокинув голову, стояла смуглолицая женщина.

— Знатные личности нашего кол-

хоза,— зашелтал Андрон корреспонденту.— Мастер высокого урожая свеклы звеньевая Авдотья Леонтьевна Фурцева, верная подруга ныне вернувшегося с фронта инвалида Отечественной войны. А тот, что на карачках сидит,— бессменный страж нашего колхозного богатства, кладовщик Семен Коровкин. Сидеть бы ему давно за решеткой, если б не удивительная чуткость нашего дорогого председателя. Спасибо, пустил концы в воду...

Гость метнул на Андрона испытующий взгляд, но бурчно-темное лицо бригадира, было непроницаемо спокойным и важным.

— Хоть бы ветерок, что ли, нагнать,— тоскливо протянула у телега женщина.

Услышав ее тяжелый вздох, корреспондент, подходя, участливо взглянул в небо. Глаза его ослепило нестерпимо сухим искрометным зноем. Он низко натянул шляпу на лоб: омертвевшая синева горизонта, отороченная зеленой каймой всходов, больше не раздражала глаз.

...К ночи подул горячий ветер. Он нес из степи вихри пыли и одуряющая душный запах полыни. Разметывающая чадные кучи навоза, он заволакивал поле смердящей гарью.

Однако ветер не загасил лихорадочного упорства людей. Остервенелые от усталости, задыхаясь от прогорклого дыма и пыли, они упрямо лезли вперед, таща марлевые волокна к фонарям, маячившим у края поля.

Авдотья металась с одного конца участка на другой, не давала передышки ни себе, ни людям. Она боялась только остановиться: тогда ноги сразу затекали, деревянели, хотелось уже, ни о чем не думая, свалиться в пыльную ботву и спать спать.

Ветер, осушив потное лицо, немного оживил ее. Но, когда она появлялась среди черной кашляющей цепи людей, ей попрежнему казалось, что работа подвигается медленно. Тогда она принималась за дело сама. Через час-полтора свекловичное поле чудилось ей нескончаемым. плыл перед глазами весь этот суматошный день в крикливых при-

читаниях баб и страшной, разламывающей тело, жаре. Потом кто-нибудь звал ее на выручку, и она стремглав бросалась с места, путаясь подолом в гушине всходов. Вот и сейчас кто-то кричал из темноты настойчиво и рьяно.— Ав-до-о-ть! К та-а-бо-ру!..

Кинув конец полотнища, Авдотья пошла на голос. Выйдя к костру, она не сразу поверила своим глазам и даже затрясла головой. Но ей не мешало: в неярком отсвете пламени сидел и улыбался в коляске Тимофей.

— Да ты рехнулся, мужик, что ли!— испуганно крикнула Авдотья.— Или дома что стряслось?

— Не горячись,— сказал Тимофей.— Дома все ладно. Опалиху попросил поглядеть, а сам с Гараськой сюда подался. Поесть тебе привез. А то, поди, с ног валишься. А в рот еще ни крошки с утра не брала.

— А Гараська где?

— Тебя искать убежал. Ну, садись, подкрепишься маленько.

Продолжая ворчливо выговаривать мужу, Авдотья уже не могла скрыть, как приятна ей эта заботливость. Приняв от Тимофея узелок и крынку молока, она опустила тужу же у коляски и стала есть. Нежданно вырос перед костром Никита, устало выдохнул:

— Гляди, со свеклой нынче будем...

Он, кряхтя, забрался на телегу и вытянулся там, задрал кверху бороду. В темном, беззвездном небе шибались смятенные тучи, будто гигантские черные птицы, хлопали там черными крыльями, роняя в непогодную сумятицу свой гортанный клекот.

«Неужели и на сей раз не смочит? Господи!» — думал Никита. Он приподнялся на локтях, раскрыв рот, ожидая спасительной капли.

...Она упала на ладонь Тимофею и он жадно слизнул ее. Другая поползла у него по щеке, затем будто кто встряхнул над липом мокрой веткой, и он засмеялся тихо, затаенно, как-то по-ребячьи.

Он не различал уже привычного скрипа колес своей коляски и, подставляя под освежающие брызги ли-

цо и руки, слушал: пошущуказались с кем-то в темноте, дождь вначале нерешительно прошелся, похрустывая сухой листвой, торкнулся нечаянно о белую березку у озера и вдруг, обгоняя и коляску и мысли Тимофея, шумный, разгневанный, ударился бешать вдоль дороги...

— Так... так... Молодец,— шептал Тимофей.— Ах, какой молодец!..

Никогда еще в жизни он не радовался так разговорчивому спутнику, слушавшему только самого себя...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Четвертые сутки связанные тягучей, ненастной дремой валялись трактористы под навесом походной мастерской, утопая в ворохах сена. В тракторном вагончике, кроме Настя, оставались три прицепщика и бригадир.

Сейчас его согнутая спина наполовину загораживала дребезжащее клакучее оконце. Он сидел, упершись локтями в стол, сжав ладонями виски, и задумчиво жевал травяной стебелек. Из угла нар был виден Насте только один его глаз, густосиний, подернутый слюдяной тусклостью.

«И зачем травит себя? — думала она.— Разве этим можешь? Туг одно из двух — или топором рубить узелок или стягивать его потуже, и дело с концом».

Жалость к другому напомнила о своей неутихающей боли. Снова, с неодолимой силой потянуло ее к Василию, опять жила она горькими предчувствиями последних дней. Тревога подкарауливала ее всюду: на машине, в случайном разговоре, даже во сне. Она просыпалась с колотившимся сердцем, чутко слушала непогодную темень, сама не зная чего — ждала. Иногда ей казалось, что одного ее приезда будет достаточно, чтобы облегчить страдания Василия и заживить его раны. Она видела себя уже рядом с ним, молча сидела у него на кровати и ненасытно долго гладила его большие, в мозолях руки.

Порою являлось странное ощущение: будто она никогда и не выходила замуж, а только ждет своего нареченного и страшится одного:

как бы, встретясь, они не разошлись в разные стороны, не найдя в себе того, что так неразрывно связывало их прежде.

С тех пор как околдовала ее махина, Настю пугала неутолимая жажда знания, овладевавшая ею. Каждый день раскрывал и нес незнаемое, Настя дивилась той легкости, с которой рушились ее прежние представления о мире. С пристальным вниманием ребенка, для которого все вещи загадочны и сложны, пока не найдено для них ясного объяснения, присматривалась она теперь ко всему.

Она знала, что жизнь Василия еще более переменчива, и боялась, как бы война не соскобילה с него то хорошее, чем она дорожила и что так любила в нем. И в самом темном уголке ее сознания стыдливо копошилась еще одна мыслишка: многому научившись в тяжелой солдатской жизни, поотвыкнув от жены, возьмет и разлюбит ее, Настю,— такой неприметной станет она для него после всего, что видел он в дальних своих странствиях. Она представила его себе сидящим, вот так же, как Яков, у затянутого морозящим дождем окна, одинокого, бесприютного, и жалость еще пуще разбередила ее сердца.

— Ты чего не ложишься, Яша? — Он отозвался не скоро, словно требовалось немалое напряжение, чтобы обдумать свой ответ.

— Успею отоспаться... Обложной зарядил. Дня на четыре.

Убрав со лба рыжий, махрово пыльный чуб, он стал внимательно разглядывать свою руку: сжал в кулак и разогнул пальцы, потрогал желваки мускулов, вздохнул.

— Да, дела...

Дождь застучал сильнее. Будто на тонкую крышу вагончика налетали крикливые, оголтелые воробьиные стаи, клевали разбросанное там зерно и, смахиваемые порывом ветра, с остервенелым щебетом уносились в ненастный разгул.

— Крепнет рука-то?

— Поправляется, что ей!

Он бросил разжеванный стебелек, поднялся, загораживая собою кро-

хотное оконце, и в вагончике сразу стало темно.

— Уходить мне надо,— помолчав, сказал он.— А в душе, как в пустом доме,— откуда покойника вынесли.

— Что ты, Яшенька! Зачем ты так?— всполошилась Настя.— И не совестно тебе? Значит, и мы в покойниках у тебя числимся?

— Не про то я,— скрипнул зубами Яков.— Еду вот опять поближе к смерти, а назад оглянуться страшно,— всю душу мне Фенька иссаднила...

— Если иссаднила, пускай и лечит сама,— спокойно проговорила Настя.

— Это ты всерьез?— обернулся Яков.

Зоркими, лихорадочно блестящими глазами смотрел он на нее, точно впервые услышал нечто такое, что сразу уничтожало мучительную неопределенность последних месяцев его жизни.

— Разве в таком деле можно шутить? — тихо сказала Настя.

Яков сделал несколько шагов по вагончику и вдруг затих, приткнувшись горячим лбом к стеклу: степь захлестывало шальными водами, по дыбющимся гребням ржи белым дымом стлалась дождевая пыль.

— Несет кого-то,— сказал он и вздрогнул, увидев рядом с собой незаметно подкравшегося прицепщика.— Сроду по-человечески не пойдешь, все с вывертом! И когда ты успел с нар слезть?

— Только сейчас проснулся,— зевая, отвел глаза Костя и протиснулся к свету. Он приплюснул нос к стеклу и свистнул.

— Так и знал! Эту фигуру я за три версты, как телеграфный столб, узнаю. Эх, чешет...

Зачавкала под сапогами раскисшая грязь, дверь в вагончик рывком распахнулась, и, скользя по ступенькам, вбежал под спасительное укрытие Игнат Жура. Растерянно озираясь, он стоял посередине вагончика и как будто не замечал, как струилась у него по лицу вода, капала с тулжурки и темной лужицей окружала сапоги.

— Два города сдали,— хватая ртом воздух и словно всасывая сбегющие к губам капли, сказал он.—

Не знаю какие, плохо было слышать. Кажется, под Ростовом где-то. И потом — на подступах к Воронежу бьются.

— Безобразие! — выдавил сквозь зубы Яков. — Радио не могут как следует наладить...

Жура топтался на одном месте, не зная, куда присесть, держа навесу свои длинные мокрые руки.

— Газетка у меня тут под нижней рубашкой и письмо для Насти. Косыка, достань. Да не щекочи меня, дурак!

В голосе его слышалось плохо скрываемое раздражение, и Костя не решился больше озоровать с ним. Он даже подкинул в железную печурку сухого валежника и чиркнул спичкой. Юрким, веселым зверьком побежал по разлапым веткам огонек, вспыхнули сухие листья, озарив угол нар и окрасив лужицу посередине вагончика.

Теплый конверт лежал в настиных ладонях. Она медленно разрывала его, глядя в глаза со страхом в каждую строчку. И, наконец, глубоко вздохнув, спросила:

— Ты чего такой, Игнаша?

Он развернул и кинул на стол влажный лист газеты.

— Читай, красным там обведено...

Сунув письмо за пазуху дрожащими пальцами, Настя схватила газету. Отыскав глазами очерченные карандашом столбики, она минуты две не могла собрать вместе расплывшиеся буквы и выговорить первые фразы. Потом начала читать, часто передыхая, смачивая языком пересохшие губы:

«В этот день колхозники сельхозартели «Горячие ключи» самоотверженно отстаивали всходы сахарной свеклы от нашествия блошки. Все, как один, от мала до велика, вышли они в поле и, не считаясь ни с какими трудностями, спасали свое колхозное добро.

Но напрасно и безуспешно пытались бы вы найти среди них председателя колхоза товарища Булатова: где же он был в столь критический для всего артельного хозяйства момент? На этот вопрос здесь никто толком не мог ответить. Да это и не удивительно, так как иногда колхоз-

ники не видят своего руководителя по нескольку дней.

Как выяснилось позже, в этот день товарищ Булатов наводил «порядки» в соседнем колхозе, забыв, что у него самого дела идут не сколько не лучше. С ведома кого вмешивался он в производственную жизнь другого колхоза, нам неизвестно.

В «Горячих ключах» Булатов работает сравнительно недавно. Однако и за этот срок можно было бы ликвидировать недочеты своего предшественника и устранить все причины, мешающие нормальному ходу сельскохозяйственных работ.

К сожалению, этого не случилось.

Вот факты, ярко характеризующие его деятельность. В конце посевной он настоял на том, чтобы засеять оставшиеся пустошные участки овсом. Семена выбрасывали в сухую, почти каменистую почву. Результат оказался плачевный — погибло около пятидесяти пудов отборного овса. Это мероприятие он провел в жизнь, несмотря на возражения колхозников.

Растраниживая семенной фонд, он потворствовал разгильдиям и расхитителям социалистической собственности. Так, он скрыл от общественности случай с кладовщиком Коровкиным, растерявшим по пути на полевой стан целый мешок пшеницы. Вызывает удивление и тот факт, что комсомольская организация колхоза во главе с товарищем Новоселовой не придала должного значения поступку комсомольца Коровкина и не сделала соответствующих выводов.

Совершенно недопустимым было отношение председателя колхоза к агитбригаде, приехавшей из края. Он не нашел для ее выступления ни времени, ни места, и бригада была вынуждена уехать обратно, хотя колхозники проявили живейший интерес к ее работе.

Вывод из всего этого совершенно ясен...»

Настя бросила газету на стол. Все молчали, подавленные неумолимо суровым тоном статьи.

— Кто писал-то это? — спросил Яков.

— Дарь какой-то, — машинально ответила Настя и вдруг покраснела, вспомнив, что это и есть тот маленький чернявый человечек, с которым она встретилась когда-то в райкоме партии.

— Ах, Дарь! — злорадно протянул Костя, словно автор статьи был давно хорошо известен ему. — Ну, попадись он мне теперь!..

— Хватит трепаться, — прервал его Игнат Жура, отжимая у печурки воду из рукавов. — Тут дело серьезное. Надо всех комсомольцев собрать, посоветоваться. Не можем мы допустить, чтоб Андрей Ивановича грязью обливали. Напишем кому следует...

Обсехнув немного, он ушел. За ним потянулись прицепщики, отправившись взглянуть на машины Яков, и Настя осталась одна.

Дождь стихал. Пробив толщу облаков, солнце разметало их на белые дымящиеся вороха, и в светлые проемы хлынула слепящая голубизна. Степь охорашивалась, как птица, ероша перья, изогнув над пышнозеленой своей одеждой золотисто-оранжевую шею-радугу, стряхивая в расплзающиеся лужи гроздь капель.

Распахнув настежь дверь тракторного вагончика, Настя сидела на крылечке и не могла еще прийти в себя от неожиданно свалившейся дурной вести.

«Если человек никудышный, так его никто и не замечает, — думала она. — Ошибку какую сделает, — будто так и надо. Другого от него и ждать нечего. А как хороший человек чуть ошибется, так все, кому не лень, обращают на него внимание, словно он и ошибаться не имеет никакого права. Отчего это так? От зависти людской или оттого, что на хорошем всякое пятнышко лучше заметно и с него больше спросить можно?»

Вздохнув, она достала из-за пазухи скомканное письмо, медленно и осторожно разгладила на коленях мятый лист. И первые же строки, будто нашептанные ей, развели ее нахмуренные брови, сладостно сжа-

ли сердце и бросили к щекам жаркую алость румянца.

Она забыла, каким негодованием минуту назад была охвачена ее душа. Василий, до боли родной и близкий, на мгновение заслонил собою весь мир. Казалось, он стоял за спиной, нашептывал каждое слово, горячо дышал в затылок.

* * *

У Кудиных Булатов поселился случайно. В первый же вечер после собрания его привели сюда переночевать, и вышло как-то само собой, что он не стал искать себе другого пристанища. Как объяснила Устинья — муж ее был «в бегах», поэтому она с охотой уступит ему свободный угол. Более того, в соломенном вдовстве своем и одиночестве она рада была редкому гостю.

При всей нелюдимости, которую Устинья переняла от мужа, она недолюбливала коротанье пустых вечеров, часто тосковала по злым выговорам Федора, по грубым мужицким его ухваткам и угрюмой ласке. Но пуше всего ее угнетало, что со дня отъезда Федора на эвакуированный завод ей не о ком было больше заботиться, голые, запаутиненные углы нагоняли на нее необоримую скуку и лень.

По этой самой причине и нашел Булатов в избе ее дикую запущенность и неуют. Наводить чистоту и прибираться только для себя Устинья находила делом ненужным и считала почти за баловство. В тот вечер Булатов с неодобрением огляделся вокруг. На лавках валялось какое-то тряпье, известково белела вокруг яичная скорлупа, по сорному полу бродила рыжая кошка с зелеными, как крыжовник, глазами, за ней пестрыми шариками кувыркались котята. У замызганного, не беленного, верно, месяца два шестка стоял покрытый зелеными пятнами плесени самовар с остатками на камфорке пепла и угля.

«Гм, да... Поднакопила грязи, бабочка!» — подумал тогда Булатов. Однако беспримерное неряшество не отпугнуло его. Застав однажды особенно захлавленной избу, он засучил рукава и принялся за работу.

До прихода хозяйки он протер мокрой тряпкой крашенные лавки, пол, перемыл посуду, покрыл байковым одеялом кровать, разостлал на столе газеты.

Возвратясь с фермы, Устинья не узнала своей преобразившейся избы. За столом в белой косоворотке сидел ее постоялец, отражаясь загорелым скуластым лицом в начищенной меди самовара. Сверкала над столом всякая лампа, окна занавешивали узорно вырезанные бумажные шторы. Кошке и тей было отведено постоянное место на куске кошмы около припечки.

Ни одна, даже самая пустяковая перемена не ускользнула от пронизательного взгляда Устиньи. Все заметила она; однако, ничем не выказала своего отношения к происшедшему. Молча приняла она угощение постояльца, пила вместе с ним терпко настоенный фамильный чай с пиленым сахаром и белыми сушками, скупое и односложно отвечала на его расспросы. Долгие, бестолковые годы жизни с Федором, полные житейских неудач, научили ее недоверчиво относиться к людям, не идти слепо, как ночной мотылек на огонь, навстречу их завидной открытости. А с того дня, когда Федор покаялся на миру и обличил себя вором перед всеми, в каждом брошенном на нее взгляде ей чудилась скрытая, стерегущая ее неприязнь. Она боялась проявления всякого случайного любопытства к своей жизни, встречая непрощенных соглядатаев молчаливой отрешенностью от всего на свете.

Отчужденность ее Булатов разгадал не сразу. Явственно пока было только одно: разительная уборка его принесла желанный результат — Устинью будто кто подменил. В избе у нее все пооблещивало, бумажные шторы заменились ситцевыми, кошка с мурлыкающим игривым выводком на лето была выставлена в сени.

Теперь Устинья часто не засыпала, дожидаясь своего постояльца. По едва уловимым признакам она научилась распознавать его характер, отдельные привычки, и скоро беспоконную жизнь его и тревоги стала принимать близко к сердцу. Являлся

он обычно запоздно, стягивая у порога сапоги, и босиком вышагивал по избе. В загнетке для него всегда стоял чугунок шей или просяной каши. Поужинав, он чего-то чиркал в своей записной книжке, перебрасываясь редкими словами с хозяйкой, затем отправлялся спать в сени, и через минуту-две Устинья слышала могучий его храп.

В злополучный день с утра шел дождь. Булатов сел бриться. Но едва успел он густо облепить щеки и подбородок мыльной пеной, как в избу взьерошенным воробьем влетел босоногий мальчишка. Под взмокшей ластиковой рубашкой на голом плече хранил он сложенную вчетверо газету.

— Кто это тебя послал, в такую погоду?

— Дядя Андрон! — ответил парнишка. — О нашем колхозе, грит, тут расписано. Передать ему что, ай нет?

— Ничего не надо, ступай.

Чтение статьи еще несколько отсрочило бритье. Высыхая, пена стягивала кожу на лице, покрывая щеки и подбородок струпчатыми лишаями. Устинья, сучившая в то утро пряжу, искоса наблюдала за постояльцем. Проступивший на его скулах румянец вызвал в ней негаданную тревогу, и она не вытерпела:

— Про нас что отпечатали?

— Да, разложил меня тут писака один на обе лопатки, — сказал Булатов и засмеялся.

Смех этот показался Устинье деланным, полным скрытого беспокойства. Чрезмерная веселость постояльца не могла обмануть ее, и когда он, снова намылив щеки и шаркая бритвой по глянцевиной мякоти ремня, начал похвастываться, она строго заметила:

— Перестань, высвистишь...

Булатов сумрачно замолчал. Оторвав газетный клочок и прислонив к солонке осколок зеркала, он так взмахнул синеватым лезвием, что Устинья чуть не вскрикнула:

«Еще, не дай бог, порежется вгорячах!» Услышав успокоительный шорох бритвы, сгонявший к подбородку пену, она облегченно вздохнула.

— Нервный ты стал, Андрей Иванович! Жениться бы тебе...

— Хватит. И так не плохо женили, — буркнул Булатов. — Если бы хорошо знал невесту, так не посватался бы...

«О ком он это? — недоуменно подумала Устинья, но расспрашивать не решилась: лицо председателя выразило угрюмую озабоченность неизвестным ей сватовством. — Уж не нашинскую ли девку, какую осчастливил?»

— Ты бы хоть какой-нибудь стряпней меня, что ли, побаловала, Устинья Харитоновна, — попросил Булатов, — а то пичкаешь одной кашей, — надоело.

— Давно бы сказал, — поднялась Устинья. — Схожу к соседям, займу дрожжей, живо оладей тебе понаделаю.

Стук прялки сменился журчаньем дождевых струй за окном. Булатов старательно скоблил подбородок и удивился устиньиной прыти, когда минуты через две снова услышал за спиной скрип двери.

— Ну как, посчастливилось? Нашла дрожжей? — спросил он, поворачиваясь перед зеркалом, счищая последние остатки мыла с мускулистых набрякших челюстей.

— Каких дрожжей?

От изумленного этого голоса у него вспухла жилка на виске, и бритва оставила на коже бусинку крови. А Валентина между тем, уже поборов первое смущение, продолжала:

— Дождь меня к вам загнал, такой сильный пошел, знаете!

— Да, дождь, — машинально повторил он и, помешкав, добавил: — Садитесь, сейчас Устинья придет.

«Как глупо, — мгновение спустя подумал он. — При чем тут Устинья?»

— Она за дрожжами пошла? — спросила Валентина.

— Да, за дрожжами. А вы откуда знаете? Ах, да... Понимаю, — не в силах отбросить нескладную оторопь, бормотал он. — Вы оладьи любите?

— Оладьи? Право, не знаю... — Ее сбивал с толку этот никчемный разговор, и она раскаивалась, что, пережив мучительно стыдное полчаса под дождем, она, наконец, решилась

зайти сюда: «Его, наверно, здорово расстроила эта хамская статья».

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего. Вот бреюсь,— сказал Булатов, сам поражаясь своей глупости. И хотя подбородок был чисто выбрит, он опять намылил его и стал снимать на бумагу сметанисто-жирные хлопья.

Внезапно его больно уколола трезвая мыслишка: «Может быть, она пришла пожалеть меня? Этого еще не хватало». Но, взглянув в ее глаза, успокоился: в них не было и тени сострадания, а таилась лишь темная, омутная, засасывающая глубина. Он скосил взгляд в сторону, но наткнулся на другое. В вырезе ее мокрого сарафанчика чуть выше нежной прогалинки груди ягодкой кровянула крупная родинка.

— Вам, кажется, нравится мой сарафанчик? — в глубине ее черных зрачков уже бесились искорки смеха.

— Нет... то есть да, конечно... почему же! — поспешил Булатов, отрывая глаза от краснеющей, дразнящей ягодки, и кашлянул, словно проглотил и поперхнулся ею. — У моей вот бабушки то же...

— Что у вашей бабушки?

— Ничего, так, глупость...

Разговор явно не вязался. К счастью, пришла Устинья, и Булатов заторопился, решив спастись от всего дальнейшего бегством. Будучи свидетелем такого бестолкового разговора, Устинья может подумать что-то знает что!

— А как же олады-то? — спросила она, хитроумно поглядывая на потупившуюся женщину. — «Уж, не с этой ли схлестнулся, господи! Совсем рехнулся. От живого мужа бабу отбивает. Девоч, что ль, мало у нас в деревне?»

— Олады? — переспросил Булатов. — Да, олады... Ну, я скоро.

За омытыми ливнем окнами разгуливалась погода. Небесными семицветами переливалась радуга, сочились с крыш янтарные, позолоченные солнцем капли. Булатов вышел следом за Валентиной на открытую терраску, и здесь она придержала его за рукав гимнастерки.

— Андрей Иванович...

— Да?

Сквозь темный загар коричневыми крапинками проступали на его лице веснушки, уши рдели маково, как у девушки. Затуманенным взглядом ласкала Валентина смуглые его щеки и, казалось, не могла оторвать глаз от русского завитка, выбившегося из-под зеленой фуражки.

С первого же дня знакомства с Булатовым Валентину, томившуюся в бездельи, охватило непреодолимое желание понравиться ему, вызвать на ухаживание, разогнать дремную скуку. Но вскоре она отказалась от иссуразной своей затеи — в ежедневном круговороте большого хозяйства Булатову было не до нее. Любовные сети, расставляемые ею, были настолько непрочными, что он уходил из них, как умный усатый сом, не замечая цепкой паутины ячеек. Издали наблюдая за его работой, радуясь новому ощущению трудовой усталости, она вдруг испытала то чувство невольного уважения к Булатову, которое испытывали все окружавшие его люди. С этого времени она сама билась в сетях и, не находя выхода, запутывалась в них все больше и больше.

Она была уже не в силах побороть властного желания — каждый день видеть его, смотреть в его усталые глаза с пыльными ресницами, слушать его тихий, ласковый голос. Она хотела сейчас сказать ему обо всем этом, а на словах вышло совсем другое.

— Андрей Иванович, я, видимо, больше не нужна вам, прогоните меня из колхоза...

Булатов промолчал, испытывая странное чувство неловкости.

И тут внимание их невольно отвлекли куры, шумно вылетевшие из-под сарая на широкий простор двора. За курами выскочил белый грудастый петух. Он прогорланил, выгнув шею, и, выбрасывая мохнатые ноги, степенно зашагал дальше, хвасливо накренив алый гребень. Рассыпав затем гортанную дробь призыва, он разметал под собой щепки и, чертя крылом по земле, делая глубокие виражи, боком пошел на куриц. Булатов отвернулся.

— Знаете что? — сказал он. — Я пойду!

И не успела Валентина опомниться, как он рывком сорвался с крыльца и уже бежал вдоль улицы.

Около кузницы он отдышался, присел на поваленное у стены колесо и стал соскребать щепкой налившую на сапоги грязь. Он не сразу различил заглушаемые гудением горна два злобных голоса, но потом прислушался.

— Говорят, ты с ним один разгуливал по полям, с очастым-то...

— Брехня,— он всюду свой нос совал, куда хотел!

— Смотри, с огнем играешь, а не то с тобой другой разговор будет...

— А ты полегше на поворотах, полегше, а то спотыкнешься, и сам копейку найдешь!..

— Я-то гляжу, да ты вот не забывай оглядываться. Ты меня знаешь — я до тех пор не успокоюсь, покада не выведу гада на чистую воду.

— Мне-то что — выводы... Меня колхозная масса знает, что я за человек. Сколь разов в партию тащили, да куда я со своей глупой рожей в калашный ряд...

— Не прикидывайся дураком. Я твою повадку знаю!

— Ну и знай! Только зря горячку порешь. Я сам от того факта в сильное расстройство пришел: скорей Булатова упредий... А того человека, что такую напраслину на председателя взвел, я считаю, не жалко на растерзанье всей колхозной массы отдать... А тебе, Анисим Спиридоныч, спасибо за такое, по душам поговорили, отлегло от сердца.

— Не за что,— потом спасибо скажешь!

Зашипел брошенный в колоду кусок железа. Медленными, тяжелыми шагами вышел из кузницы Андрон Макшаков и, не замечая сидящего за углом Булатова, выдавил сквозь зубы:

— За мной в долгу не останется...

У станка дляковки лошадей он остановился, заметил развалившуюся в грязи свинью и пнул ее сапогом в зад. Свинья захрюкала и, волоча по земле соскостое брюхо, затрусила в ближний проулок. Булатов видел,

как, сунув кулаки в карманы, осматриваясь по сторонам, Андрон вышагивал улицей. Собаки, завидев его, поджимали хвосты и лезли в подворотни. Вспугнутые куры, кудахтая, летели через забор.

«Ишь, Аника-воин!» — нахмурился Булатов и пошел в кузницу. В горне билось шумное пламя, трепыхаясь отблесками на алом анисимовом лице. Увидев перед собой председателя, кузнец зашуровал клещами в углях и, словно рассуждая сам с собой, сказал:

— Ломает война человека, без разбору ломает...

— Это ты к чему?

— Да вот наслушался тут одного...

Расплющивая частыми ударами молотка раскаленный прут, раздумчиво досказал:

— Одного обломает да закалит, а у которого нет матерьялу для закалки, у того наружу всю труху выбрасывает. Каждому своя проба...

— Слушай, Анисим Спиридоныч, — неожиданно решил Булатов. — Я ведь за тобой пришел. Передохнуть тебе часок необходимо. Пойдем ко мне оладьи есть.

— Это ты всерьез? — улыбнулся кузнец. — Может, к оладьям у тебя и еще кое-чего полагается?

Не долго раздумывая, оц скинул дырявый фартук и нагнулся к колоде, опуская в теплую воду руки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Потягиваясь, Никита вышел на крылечко полевого стана. Был тот ранний час, когда воздух еще пропитан росистым холодком, а на дымчатого-сизой траве уже легли темные следы: в луга прошли косари.

Нешелохнутой стояла вызревающая рожь. Никита окинул поля жадным хозяйским взглядом и зажмурился. В глазах ему ударило брызгущее по колосьям солнышко. Когда он разомкнул слипшиеся веки — крутилась под навесом радужная пряжа пыли, полыхал воткнутый в чурку топор; в руках Насти серебристо плескалась из ковша вода; у озерка гоготали гуси, вытягивая гибкие шеи и, приветствуя солнце, хлопали белыми крыльями.

— Зябку начнете завтра? — спросил Никита, когда невестка, вытирая мокрое, порозовевшее лицо, подошла к нему.

— Да... Я чего хотела спросить тебя, батенька...

— Сказывай.

— Яша-то скоро уходит от нас, — озабоченно выговорила она, вытирая косышкой щеки.

— Слышал, к чему клонишь-то

— Боязно мне, — зашептала Настя.

— Дело-то как, чувствуешь?

— Да оно такое дело, что хоть несколько лет изучай его.

На розовом подбородке невестки блестели капельки воды.

— Если на цельные годы, — раздумывая, сказал Никита, — тогда берись. Мир не без добрых людей — помогут. По первости оно, конечно, трудно придется. Я вот тоже обтерпелся в новой должности, и ничего, будто так и надо.

— Это последнее слово твое, батенька?

— Выходит так.

— На покос сейчас?

— Туда.

Он уж было двинулся к поветям, но остановился, вглядываясь в тронутый ветром волнистый разлив хлебов. В голубых накатах овса ныряла полосатая дуга. Через минуту из желтеющей гущи ржи вылетел огненно-гривастый конь и вынес бричку, роняя с удил белые хлопья вены.

— Никита Алексеич, — крикнул, сдерживая коня, дед Филат. — Почитай, все бабы на покос не вышли!.. У Авдотьи девчонка заболела в яслях. Вот они и всполошились, ребятню всю с яслей позабирали и айда по домам. Чистый грех с ними.

Никита покачал головой и молча влез в бричку.

— Чего же Андрей Иванович смотрит?

— Говорят, раным-рано косить с комсомолом вышел.

Когда побежала по обеим сторонам дороги тихо шелестевшая рожь, расстилая вдаль схваченные желтизной увалы, Филат захватил выскокивший к самой канаве стебель и содрал в кулак жесткий колос. Он

растер его на ладони, сдул шелуху и показал Никите восково-белые зерна.

— Недели через полторы в самый раз будет.

— Да к тому идет, — сказал Никита, чувствуя в голосе старика скрытую тревогу.

Переpravившись на другой берег Чарыша, Никита пустил коня рысью. Начинались покосы. По ровню стриженному, как под гребенку, косыбицу зеленела молодая отава. От сухих разбросанных по луговине копен тянуло густым ароматом разнотравья.

Скоро ухо уловило сочный стрекот сенокосилок, протяжные окрики машинистов и, совсем близко, за курчавым ивняком — вжикающий звон литовок.

У двух дымящихся, закоптелых котлов Никита увидел Полю. Ситцевое цветное платье уже, казалось, не вмещало ее вздущегося живота и готово было лопнуть по швам. Ходила невестка гибко, чуть покачиваясь, ловко шуровала клюкой под котлами, но в каждом ее движении чувствовалась еле уловимая сдержанность, словно несла она на плечах полнехонькие ведра и боялась расплескать их.

Никита бросил вожжи, опустил чересседельник, размотал супонь, и конь потянулся к траве, жадно вбирая ее мягкими губами. Спутав его и пустив в кусты, Никита подкрался к невестке и кашлянул у нее за спиной.

— Здорово, повариха! Не рассыплешься ты тут, ненароком?

— Испугали, батенька! — вспыхнула Поля. — Рожу оборотня какого ни то! А рассыпаться рано еще, — боле месяца ему в моей тюрьме сидеть...

— Ты с арестантом-то и впрямь полегше, — посоветовал Никита. — Сготовила варево?

— Чуток каша упрет, в рельсу ударю, — сказала Поля.

Скинув парусиновую тужурку, расстегивая на ходу ворот рубахи. Никита пошел луговинной к косарям.

Далеко краем покоса двигались сенокосилки, ныряя в волнах травы, на мягких беседках покачивались

машинисты. Прямо перед Никитой, разделенные несколькими взмахами косы, шли старики. Рубахи на их спинах потемнели от пота. Сзади казалось, что старики не двигаются вперед, а поворачиваются на месте, в лад ленивым взмахам.

Сочно похрустывая, перебивая друг друга, разговаривали литовки, неслышно падали воздушные прядки трав, осыпая цветочной пылью сапоги. Никита остановился позади Дикарева, негромко окликнул:

— Передохни, Илья Парамоныч, дай я помахую.

— А-а! Ваше величество, бригадир,— обернулся Дикарев.

— Ладно берет? — пробуя пальцем острие косы, спросил Никита.

— Слава богу! Да Анисим отбивает их куда с добром. Про пищу греховную что слышать?

— Пошто, греховную?

— Пост ныне малый, Никита Лексеич. А нехристи кашу со скоромным маслом едят. Из общего котла и я грех принимаю.

— Вот кончим клин и пойдем,— сказал Никита, отворачиваясь, скрывая в усах ухмылку, и взмахнул литовкой.

И сразу ушла, растаяла назревавшая в душе тревога, прилила к рукам сила. Он дышал ровно и глубоко, уходя все дальше в зеленый коридор прокоса.

Остро пахло проступившим на срезах стебля соком. Легко, вразлет шла литовка, и Никита, увлеченный работой, уже не замечал, как спорко ложился на сторону желтоватый горошек, аржаник, дикий клевер, жесткий голубой пырей... Он видел лишь спины идущих поодаль, впереди баб и мужиков и неукротимо с каждым взмахом приближался к ним. Незримая сила связывала его с ними, захватывала в злой водоворот работы, крепила в нем веру в то, что все идет по-хозяйски ладно и что никому не удастся разрушить эту жизнь. Чем дальше уплывал он в хмельное половодье трав, тем быстрее недавнее беспокойство сменялось в нем полным затишьем...

Гулкие, звенящие удары в рельсу остановили привычный поток мыс-

лей. Луговина смешалась, зацвела бабьими платками; вспыхнули над головами короткие молнии литовок; все заспешили к табору. Среди пестрых сарафанов и юбок мелькали погородскому шитые платья с узкой талией и шелковые косынки на головах. Отдохнувшие в деревне ленинградские женщины вызвались сегодня помочь колхозникам, ворошили и сгребали сено, учились косить.

Опоясав живот белым передником, Поля большой поваренной ложкой разливала по деревянным чашкам свежую уху, накладывала дымящуюся рассыпчатую просяную кашу.

Первым, кого увидел Никита у задымленного котла, был Авдоня.

— Ты как сюда попал, Авдей Евсеич? На кого ж ты лошадей бросил? — сурово спросил бригадир.

— Да какие там лошади, Никита Лексеич? — раздосадованно протянул Авдоня, мечтавший улизнуть с чашкой в кустики и не довольный тем, что попался на глаза бригадира. Если по-ученому сказать, это — не лошади, а одна видимость. Две хромых бюллетню получают, а остальные — в работе. Старуху заставил приглядеть. А то хоть прямо вешайся от тоски — один на всю деревню. Сидишь там, как вошь на луне. Поражаться вышел!

— Ты посмотри, чего он наворочал своей литовкой, — смеясь, вмешалась Марья Непомнящих. — И откуда в такой малой хворобе сила беретя!

— Мал золотник, да дорог,— блеснул мелкими зубами Авдоня, облизывая ложку.

— Одна сухота, а работает как заправдешный. — Не унимались бабы.

— Да ты не смотри, что он с виду сухопарый! У него зато на кишках сколь жируросло!

— Лопнете, лентяйки толстозадые! — кричал Авдоня, пытаясь устыдить одним словом вернувшихся из деревни баб.

Теперь симпатии косарей явно были на стороне Авдони.— Подмигивая

Никите и усаживаясь в тени кустика, он ловко переменял разговор.

— Конечно, оно иной раз и бабы чего стоят...

— Сбреши, Авдоня, не привыкать,— просили бабы.

— Вам, бабоньки, хоть самую матку-правду выложи — все одно, — за брехню принимаете! Может, слышали, что в Пушкинском колхозе приключилось? Нет? Ну так вот, слушайте. Заезжий тут один сказывал. В колхозе том, как известно, баба одна... страсть поговорить любит... Ребят ей мужик оставил дюжину, а сам на войну подался. Да.. Вот последний-то, значит, вылутился, она с ним и бегаёт везде. На собрании шалкой накроет, сунет ему сиську в рот, а сама речь закатывает. Ладно. Все идет как следует... Только бабе-то невдомек, что ребяенок-то её через молоко каждое слово ее смыслит... Вишь, оно как все получается! Вот раз вечером собрался народ, председатель, как полагается, докладывает колхозникам. И только в аккурат кончил доклад, ребяенок-то из-под шалки голову высунул да как рявкнет на всю залу: «Товарищи, еще не оглохли, слушайте! мине!» Ой! Што тут было!..

Авдоня закатил глаза под лоб, и все заколыхались от хохота.

Внезапный ветерок загасил последние очажки смеха. Из-за леса пахнуло хмарью, небо от самого горизонта заволакивали тучи. Уже гуляла под ветром трава, вскипая крутыми волнами; далеким орудийным гулом приближался к Чарышу гром.

— Копнить будем! — раздался над поляной спокойный голос Булатова. — А то погниет сено. Женщины, беритесь за грабли, мужики — за вилы. Никита Алексеевич, дометывай с ребятами стог!

Широкая тень надвинулась на поляну, потянуло холодом, и люди повскакали, разбегаясь по луговине. Взметнулись на вилах косматые палыки сена, заполоскались на ветру бабы платки. Быстро вырастали на косьбище свежие копны, около них крутились комсомольцы, ловко работая граблями, отеребливая выпирающие клочья, заделывая выемы.

Никто не заметил вначале, как возник и стал расти на лугу огромный стог. На верху его плясали, ожесточенно умная пласты сухой травы, Авдоня и Сенечка.

Люди внизу около стога работали молча и яростно, обливаясь потом и задыхаясь. Приняв на себя тяжесть навильника, они оседали под ним и, наливаясь в лице кровью, медленными шагами переступали к стогу и кидали нависший над головой пласт вверх.

В разгульной ветровой сумятице раздался чей-то испуганный голос:

— Дождь! На щеку капнуло!

Тотчас же на него откликнулось несколько насмешливых голосов:

— Открой рот пошире, галка залетит!

— Нажимай, публика! — орал Авдоня.

Он был на стогу уже один. Сдернув верхнюю рубашку, он кинул её вниз, и все увидели, как забила на нем, выпукло обнажая его костлявое тело, красная исподняя рубашка. Она трепыхалась на стогу, притягивая к себе глаза людей с каждым взмахом вил, поднимаясь все выше и выше.

— Ша-а-баш! Ша-а-ба-ш!..

Авдоня кубарем скатился в раскинутые руки людей, и, хохоча, они подбросили его над головой...

Устало брел к бричке Никита, рассеянно лова возбужденный говор людей. Отыскав в кустах лошадь, он запряг её, усадил на охалке травы Полю и выправил на дорогу.

Подъезжая к реке, он понял, что дождя не будет. Ветер разогнал тучи, бешено рвал листву тополей. Только попрежнему близкой и страшной грозой дышал горизонт, да за дальними увалами пашен бились змеистые молнии.

На паром он въехал за бричкой возвращавшегося из района Макшакова и тихо окликнул его:

Андрон круто рванулся назад, на хмуром лице его, озаренном водой, сшиблись и застыли у переносицы мохнатые брови.

— Коварный враг подступает к самому горлу, — сказал он. — Ростов и Новочеркасск сдали...

- Сам слышал?
— Своими ушами.

Сердце Никиты сжалось, он опустил руки на колени и больше ни о чем не спрашивал.

Паром относило течением. Темные, унизанные кружевом пены волны бороздили Чарыш. Старичок в картузе поднимал мокрое весло, и в лицо летели холодные брызги. Все так же зловеще дымились на краю неба разноразные сизые клочья облаков, и, как это предгрозье, вползала в душу Никиты прежняя тревога, и он чувствовал, что сопротивляться ей с каждым днем будет все тяжелее и тяжелее...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тропинка вывела Булатова к сосняку. Спутав коня, он пустил его в тальники и, пройдя еще немного, увидел сквозь темные ветви желтые домики ульев. В просвете, меж стволов белела крытая свежим тесом хата пасечника.

Мелькнула на поляне широкополая соломенная шляпа, потом показался из-за дерева и сам Филат, неся в руках длинный шест с черной обгорелой доской на конце. Старик поставил шест к сосне, и обуглившаяся доска мгновенно покрылась кишашими пчелами. Горлопливо счистив их в лукошко, пасечник направился в омшанник.

— Филат Никанорыч, — негромко позвал Булатов.

Старик остановился, взглядываясь из-под руки в тень сосняка.

— Погодите там, я сейчас сетку принесу!..

Скоро он вернулся, попыхивая дымарем, и заинтересовался:

— Куда мотался, неугомон?

— Да к леснику заезжал. Деляну нам отводил. После уборки баню строить будем.

Пасечник вдруг чутко прислушался, приподнял над ухом свою соломенную шляпу.

— Опять рой снялся.. Одевай ладом сетку да пойдем, а то чужих они дюже не уважают.

— А тебя не трогают, Филат Никанорыч?

— Пошто? Кусаются.. Да пообык я с ними. Пчелка тварь умная, видит, кто с ей дружбу водит. Вот, скажи на милость, труса сразу узнает...

Филат дробно засмеялся, безбородое, сухое лицо его излучило веселые морщинки.

— Тут ко мне летось мужичонка один никудышний наведывался, брехун немислимый! Наговорит такое, — в неделю не расхлебаешь... И стал я за ним ненароком примечать: когла уходит, глаз у него такой недобрый делается, хитрючий... Ладно. Раз пришел, два пришел и зачастил. А сам все глазами цыркает. И что надумал, паря? Вощину, воруга, схотел у меня украсть. Взять-то взял, да умом бог обделил: бросился, что чумной, бежать меж ульев, а пчелы возьми и облепи его! Насели. Благим матом мужичонка орет, оземь башкой бьется, катается, а они того ярей жалят... Вот, бают, паря, и на войне тако. Супротив отчаянного пуля быстрее труса находит...

Слушая словоохотливого старика, Булатов петлял за ним по стежкам жужжащей пасеки. Золотыми каплями брызгали на сетку пчелы, цеплялись за нитяные клеточки, от их злого гуда по спине Булатова ползли колючие мурашки. «Чорт знает что такое! — недоумевал он. — Протав танка шел без всякой трясушки, а тут на тебе...»

В избе духовито пахло земляникой и сухой мятой. Крупные спелые ягоды горькой краснели в белой тарелке на подоконнике. В тугой тишине бились о стекло пчелы.

Перед лавкой на полу спал, раскидав руки, незнакомый рябой колхозник; по-детски открытое лицо его хмурилось. На кровати, отвернувшись к стене, лежала рослая девушка. Длинные тяжелые косы ее еле умещались на подушке. В загорелой припухлости локтя и полусогнутых коленях показались Булатову что-то знакомое; он было шагнул к кровати, но старик удержал его за рукав.

— Не тревожь девку: стоим-лась. Цельную ночь на пашне была.

Сюда в полдник прибегла, — вздумала свою сраву медом подсластить. Бижу, еле на ногах стоит. Ничего, грю, не дам, пока не проспишься...

Филат собрал в пригоршню гудевших у стекла пчел и выпустил их на волю. В избе наступила сонливая, размеренная тишина. Слышно было, как глубоко и ровно дышит на кровати девушка.

— Сколь лет, как домовину себе сготовил, — на покой бы пора, — сскрушенно вздохнул старик. — Хожу я, паря, день-денской с дымарем, и сосет меня дума: чем-то все кончится? Неужели его, душегубна, похерить нельзя? Никак я того в ум не возьму... Миколая вот жалко — ни слуху, ни духу. Может, у лиходея в плену томится.

Старик угрюмо уставился на Булатова незрячим бельмастым глазом.

— Слух идет — одолевает нас германец, а?

— Отступают наши, — тихо согласился Булатов и потупил голову, словно в общей этой беде была часть и его вины.

Через минуту-две они шагали в омшанник. Угостив председателя свежим медом, завернув в бумажку восковой ноздреватый кусок сот, Филат повел его подалее от ульев к темнеющим копнам сена. Поляну, на которой торчали копны, уже заволакивали дымные вечерние тени.

Окрашивая медью жесткие листья осинки, утопало в ближнем сосняке солнце. Сквозь темную хвою рдья тлел закат; казалось, в глубине леса меркнут угли огромного костра.

Не успели Булатов с пасечником расплоскаться на пахучих охалках сена, как захрустели высохшие стебли косьбища, и Филат приподнялся на локте.

— Баба моя идет, — сказал он и позвал: — Здеся, здеся, Марья! Вот сам хозяин в гостях у нас.

Высокая, широкая в плечах старуха, повязанная пестрым платком, подоткнув сарафан, села рядом, с пасечником, сложив кольцо на коленях сильные жилистые руки. У нее было крупное строгое лицо, большие красные губы и темные открытые,

как на иконе, глаза.

— Что долго? — спросил Филат.

— Скоро сказка сказывается, — мягким, грудным голосом ответила женщина.

— Почтаря видела?

— Спрашивала. Нету ничего!

Когда старуха, посидев немного, ушла, Филат лег на спину, молча смотрел на загорающиеся в небе звезды и, морща загорелую кожу лба, о чем-то сосредоточенно думал.

Темнота гуще и гуще отстаивалась на поляне. Шумя крыльями, низко над сосняком пролетела большая птица, застрекотал листьями осинник, ветер донес издалека приятные запахи болот и горькой полыни.

— Жена у вас хорошо выглядит, Филат Никанорыч, — сказал Булатов, думая о своем, трогая незаживающую ранку души:

«Может быть, и в живых давчо нет...»

— Это у меня другая, — отозвался старик. — Кровная-то уж, поди, двенадцатый год как в земле. Да... Я, паря, до баб молодой куды охоч был! Бывало — какая на меня нарвется, не скоро отлипнет. Любили они меня...

Снова хрустнули колкие стебли. К копне шла Настя, за ней робко, почти боязливо ступая босыми ногами, вышагивал рябой человек.

— Здравствуйте, Андрей Иванович, — радуясь неожиданной встрече, сказала Настя и, словно извиняясь за свое присутствие на пасеке, пояснила: — Два денечка передохнуть ребятам дали.

— Понимаю, понимаю, — посмеиваясь, заметил Булатов. — Смена руководства в бригаде? Задобрить подчиненных хочешь!

— Скажете тоже! — смущенно пожала плечами Настя.

Льдистой, прозрачной сосулькой оторвалась от темнеющей крыши неба звездочка, сверкнула вниз и погасла, словно раскололась о вершину дальней сосны. За ней другая, третья...

«Сколько их там? Страсть как много», — подумала Настя, опускаясь на мягкую волну травы и закидывая

руки за голову, словно впервые замечая так густо засеянное звездами небо.

— А ведь каждой той искорке название есть, ни к кому не обращаясь, сказала она. — К примеру, вон те — целой кучкой рассыпались...

— Млечный путь это, — сказал Булатов.

— А почему их так прозвали?

— Видишь ли, — невольно засажаясь любопытством Настя, начал Булатов. — Дело так было. Еще давно, несколько тысяч лет до нас была такая страна — древняя Греция. И была у них насчет этих звезд своя легенда...

— А что это, легенда?

— Ну, вроде нашей сказки... Так вот в этой самой легенде говорилось про одну богиню Геру. Была у них такая богиня. По легенде выходило, что из груди богини брызнуло в небо молоко, и остался от этого молочный или млечный путь. Так с тех пор и пошло.

— Эх, чего выдумляют! — удивленно крякнул рябой. — Скажи на милость!..

— Зависть берет, — минуту спустя отозвалась Настя: — чего вы только не знаете, Андрей Иванович! А мы что, — чурки с глазами!

— Мало я знаю, — раздумчиво протянул Булатов. — Завидовать нечему. Учился урывками, с пятого на десятое. Рабфак только кончил, остальное работа все съела...

Выполз над лесом гнутый, желтоватый с прозеленкой серп месяца, как бы собираясь срезать темные верхушки сосен, но выполз и застыл, будто прибитый наскоро высыпавшими вокруг него гвоздиками звезд.

Откинувшись на спину, ловя щекощущий ноздри ароматный дымок, Настя думала о том, что хорошо бы всю жизнь рука об руку работать с таким знающим, богатым мыслями человеком, как их теперешний председатель.

— Знаете, Андрей Иванович, — тихо и затаенно начала она, полуоборотясь к Булатову, и он увидел ее лихорадочно блеснувшие в пепельном сумраке глаза. — лягу я иной раз

спать и не могу заснуть, думаю: правда, что ль, я трактор стала водить или приснилось мне то? Чудно даже так делается, самой смешно, как маленькой... Ведь скажи мне год назад, что я в машине все до последнего винтика буду понимать, так я того человека пустомелей бы посчитала, а сейчас каждый каприз в машине знаю, как будто так и надо... Но зато вот другое тянет узнать. Ночью иной раз еду полем, так всю голову разломит от всяких мыслей: откуда это, да почему так, да какая всему причина? Ну, просто даже дурость лезет в голову. Намедни гляжу — идет по двору курица, хохлатка наша рябеньякая, а я сижу и думаю — ну с чего она яйца несет? Как это у нее каждый день скорлупа-то выдывается? И так со всем, о чем ни подумаю — кругом темно, голова мутится, ничего не знаю... Раньше жила себе, и горя мало, никакая чепуха не лезла в башку, а теперь, на тебе! — новые заботы. Я вон девок стала донимать, так они говорят, как бы я ни свихнулась. Уж и вправду, не болезнь ли то у меня...

— Хорошая болезнь, дай бог каждому, — улыбнулся Булатов.

— Верные слова, — зашуршав сеном, проговорил Филат. — Люди мне чуть не на божницу сажали. патреты в газетах печатали, хорошим человеком прозвали. Чуть заминка какая, — бегут, пытаются, а я все к новому человеку ухо наостряю.

— Истинно! — одобрительно кашлянув, отозвался рябой. Век учись — дураком помрешь.

Звезды падали все чаще и чаще. Небо как будто вздрагивало и бледнело от каждой упавшей звезды. Месяц скрылся за кружевным облачком, и оно голубовато вспенилось. Осины на поляне застрекотали сильнее; опавнув копну, ветер бросил на гимнастерку Булатова горсть сухих травинок. Стряхнув их, Булатов приподнялся и, щуря глаза, точно отвечая самому себе, проговорил:

— Вот разобьем немцев, и жизнь будет еще лучше, яснее, чище... И все, кто захочет жить и работать по-настоящему, свои силы покажут...

— Об чем ни подумаешь, все в него, кровопийцу, упирается, — пока-

чал головой пасечник, и вдруг, мигнув бельмастым глазом, строго спросил: — Бают, уезжаешь ты от нас скоро, хозяин? Верный слух?

Сжав руки на груди, затаив дыхание, глядела Настя в погрустневшее лицо Булатова: «Неужели, правда, мамочки!»

— Верный слух, Филат Никанорыч.

— Что так. Сил набрался?

— Угадал. Кончился срок моего отпуска. Не болят больше раны. А главное — я там теперь больше нужен. Здесь мне замену всегда найти можно.

Сердце Насти больно сжалось, едва услышала она ответные слова Булатова, на глаза навернулись слезы: «Как все это в жизни получается? От плохих людей никак не избавишься, а хорошие надолго не приживаются. Побудут чуток, и дальше».

— Ведь вот, как жалко-то вас, Андрей Иванович! — зашептала она, трогая Булатова за руку. — Вот, как жалко! И чего вы рветесь туда? Без вас, что ль, не справятся?

— Где им! — усмехнулся Булатов и встал.

— Погодь, я тебе гостинца принесу, — заторопился старик. — Настенька, поди за конем, в тальниках бродит.

Когда пасечник и трактористка ушли, незнакомец подполз на животе к Булатову, достал кисет, бросил на обрывок бумажки щепотку махры, закурил... Жадно захватывая ртом дым, он шаркнул ладонью по шершавой щеке, и вдруг спросил:

— Не признаете меня, случаем, гражданин?

— Не припомню что-то, — вглядываясь в лицо спросившего, ответил Булатов.

— А я вас сразу... По голосу.

Он помолчал, докуривая свернутую цыгарку и, как будто решаясь на что-то большое и трудное, робко сказал:

— Не забыл, как в распутицу я тебя середь дороги бросил?

— Так это ты? — удивился Булатов. — Чего ж это ты тогда?

— Бес попутал, не иначе бес, — торопливо и горячо заговорил мужик. — Как подъезжать стал, ду-

маю, — посажу, а потом, как ты уж ко мне двинулся, я взял и ударил по лошади. Ну, скажи, — сам не знаю отчего! Будто кто по башке меня треснул. Лошадь, мол, и так приустила, а тут вози всяких этаких, всех не обжалеешь! Ну и хлобыснул! Опесля, как отошел, не поверишь — месяц тебя вспоминал, каялся. Да что толку: человека-то кровно обидел. Спасибо, случай помог. Ты уж меня, гражданин, прости Христа ради... Сам-то я дальний... наведалься вот к Филат Никанорычу насчет ульев, ла-секу думаем у себя заводить. Так что ты забудь про то. Без злобы я сотворил...

— Ладно, чего там, — сказал Булатов. — Со всяким бывает.

Скоро конь нес его рысью по луговой дороге. Шарахались по сторонам кусты, выростали курганы сто-гов, сырой туман вечера, казалось, внятно отдавал запахом земляники. Через полчаса под копытами коня захрустела галька берега, и за темными зарослями ивняка Булатову открылась река, качавшая на отмелих лунные блики.

От противоположного берега медленно двигался паром. Булатов уже различал лаково сверкавшее крыло легкой машины и сгорбившегося у рулевого весла паромщика. Толстые сваи причала скрипуче ответили на тупой удар суденышка, и Булатов услышал из машины хриплый голос директора МТС:

— Ты мне, брат, демагогию не разводи! С Булатова пример берете, анархисты!..

— Брось, Михайло Григорыч, кипятиться, — лениво отвечал шофер Савка. — Послушали б, что умные люди говорят...

— А я что, рехнулся, по-твоему? — загремел директорский бас и неожиданно смолк: из кустов, ведя в поводу лошадь, шел к настилу Булатов.

— Здорово ты меня расписываешь, — сказал он, посмеиваясь. — Ты вот лучше скажи, почему комбайны зареченцам до сих пор не отправил?

— Для меня все одинаковы! — Запальчиво крикнул Чубатый. — А машины я распределяю согласно уборочной площади!

— Правильно, но колхоз-то от-

стающий, — значит, ему нужно в первую очередь помочь, — настаивал Булатов.

— Это мне неизвестно, — не сдавался директор. — У них там каждый хозяйничает, кому не лень. А кто там кашу заварил, тот пусть ее и расхлебывает. С больной головы нечего валить на здоровую. За компанию на страницы газеты я не полезу. Одним разом сыт по горло!..

— Напрасно горячишься! — спокойно заметил Булатов. — Я тебе просто по-товарищески советовал помочь зареченцам.

— Гусь свинье не товарищ! — оборвал Чубатый и хлопнул дверцей машины.

— Да, гусь хорош! — протянул Булатов и повторил: — Хорош гусь, нечего сказать! — и повел коня на паром.

— Простой! — закричал, выскакивая из машины, директор, опомнившись и чувствуя, что уход Булатова сейчас нечто большее, чем обычная разминка в пути.

Он подходил медленно, держа наготове тяжелые кулаки, словно собиравшись броситься и сбить в воду поджидавшего у перил человека, а подойдя, спросил глухо и требовательно:

— Когда вы отпустите домой мою жену?

— Я ее не держу. Может уйти в любое время. И власти над ней не имею...

«Имеешь, имеешь!» — хотелось крикнуть директору. Только теперь, в эту минуту он понял, что жена его живет в колхозе и выполняет грязную, тяжелую работу ради этого, ненавистного ему человека.

Паром дрогнул. Взвизгнул, скользя по канату, блок, и Чубатый увидел, как между паромом и причалом стала быстро расти и увеличиваться темная щель, как блеснула черная вода и, словно дразня его, скалясь, закачались на ее поверхности лунные блики...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Арина встала еще затемно, растопила печь и долго сидела перед шестком, положив на колени свои худые темные руки.

Потрескивали на широком поду березовые поленья и, обгорая, опалили на груды раскаленных углей. Неяркие вспышки озаряли на мгновение посудные полки, угол избы с иконами, фотографии под стеклом в сумеречном простевке.

Арина чувствовала на своем лице жаркое дыхание печи, полузакрыв глаза, глядела на пламя, жадно лизавшее узкое закоптелое горло свода, думала о сыне, и быстрая бежала перед нею жизнь.

Десятилетней девчонкой осталась она в голодный год без отца и матери, нянчила за харчи чужих ребят, бороновала, жала, надрывая силы на тяжелой работе, безропотно снося пинки и побои. И только редко-редко, когда горькой обидой переполнялось сердце, убегала она на гумно и там, уткнув голову в ворох соломы, досыта наплакивалась.

А потом снова привычно и буднично шли дни и годы, пока не повстречался на ее пути Лукаха. Многие деревенские ухажеры уже стали заглядываться на нее в то время, но подошел к ней однажды на гулянке парень из соседнего села и как будто резанул по сердцу синевато-острым прищуром. Был он пламеннорыж, густо конопат с лица, но именно таким приснился ей в девичьем сне загаданный на святки жених. Сходство было столь разительно, что Ариша суеверно подумала тогда: «Что ж, видно, судьба!»

Связала их батрацкая бедность и богатая, зреющая ото дня ко дню любовь. Но суждено было ясным погожим днем промелькнуть в ее жизни Лукахе. Только бы, казалось, жить им да жить, а тут через год подросла германская война, ушел ее Лукаха вместе с другими мужиками в ближнее волостное село и как в воду канул.

Вскоре после того как пропал ее ненаглядный без вести, родила Ариша сына. Здесь перед печкой висела тогда люлька, в ней спал грудной Яшенька. В долгие зимние вечера она качала его, слушая в дремотном забытьи каждый сторонний звук. Иногда, уловив хрустящие шаги за окном, замирала, ждала: вот сейчас скрипнет под тяжелым сапогом сту-

пенька крыльца, торопливый удар в дверь оборвет ее сердце, она скинет с петли железный крюк и забьется, плача, на груди мужа. Но проходил мимо окон запоздалый гуляка, и она без сил опускалась на лавку.

Четыре года ждала Ариша мужа, измучилась, изболелась вся, да так и не дождалась, и с тех пор уже ни с кем не захотела связывать свою одинокую бабью жизнь. Всю неистраченную любовь свою отдала она сыну, в нем теперь была ее отрада, ее несбывшиеся надежды.

А Яша рос на удивление смышленным и небалованным мальчишкой. Прибегая зимними вечерами из школы, он садился к лампе, раскрывал заветную книжицу и читал ей длинные сказки. Суча из пышной кудели пряжу, она слушала, ни разу не прерывая его и лишь изредка глубоко вздыхая: жалела, что одной ей довелось радоваться сыновним успехам.

Она дала полную свободу сыну, ни в чем не отказывала ему, не стесняла, потакая каждому его решению: ей уже хотелось видеть в нем хозяина избы, главу семьи и скорого кормильца. Когда он сказал, что они должны вступить в колхоз, — там им будет легче, она, ни слова не говоря, пошла и подала заявление, написанное его, еще нетвердой рукой. Позже он объявил, что хочет быть трактористом, и она молча согласилась с ним.

Не советуясь с матерью, он сам выбрал себе невесту и однажды, приведя ее в дом, сказал: «Вот, мама, моя жена. Феней звать. Смотрите, не ругайтесь». Она промолчала и на этот раз, не попрекнула его, хотя и показалось ей немного обидным такое невнимание. Кто знает, может быть, тогда-то она и ошиблась, во всем надеясь на сына, и была неправа, доверив ему самому решение главного в жизни.

Ей почудился легкий стук в окно. Она встрепенулась и прикинула к затуманенному окну. Никого. Деревня еще спала; лишь от проступившей на взгорьи березовой рощи, гася звезды, шел сырой рассвет. И этот, чуть занимавшийся день больно напомнил ей, что Якову осталось пс-

быть в доме последние несколько часов. Она поправила кочергой развалившиеся поленья и тихо, на цыпочках, подошла к кровати.

Лицо сына смутно белело на подушке, оттененное копной рыжих волос. Он спал здоровым спокойным сном человека, хорошо поработавшего накануне, и мать, лаская взглядом каждую морщинку на его лице, прощалась с ним.

Ей казалось, что все эти месяцы со дня его приезда она ни разу не побывала с Яковом наедине, еще ни разу не поговорила как следует. В субботу он приходил с пашни пыльный, загорелый, она топила баню, и, помывшись, переспав одну ночь, он ранним утром отправлялся в поле. Опять она оставалась одна, стирала его жухлые от пота рубахи и ждала следующей субботы. Когда Арина заболела, сын вызвал из района доктора, три дня неотлучно был дома, подавал ей лекарства, подносил к воспаленным губам ковш с водой.

Вечерами он тихо рассказывал ей о своей крученной, полной опасности жизни на войне, и, слушая, Арина снова видела его маленьким: будто только вот сейчас сбросил холщевую сумку с плеча, вытащил облюбованную в школе книжечку и начал читать. Мимолетными были эти три денечка. Потом Арина даже жалела, что так скоро поправилась.

Она наклонилась над лицом сына. У нее вдруг остро засосало подложечкой, дрогнули и расплылись губы, и, присев на краешек кровати, она молча плакала, вытирая концами фартука катившиеся по щекам слезы.

Скрипнула кровать, и Яков проснулся.

— Ты что, мама? — сказал он спросонья и опять закрыл глаза.

— Спи, Яшенька, так я... — зашептала она. — Рано еще, спи...

Ей хотелось упасть к нему на грудь, закричать: «Яшенька, кровный мой! Как же я буду без тебя? Родной мой! Сыночек ненаглядный, одна я, опять одна буду!» Но, сцепив до боли пальцы рук, встала и пошла к печке. Щеки Арины были мокрыми, слезы душили ее, она ощущала их солоноватый привкус во рту и, дей-

дя до стены, бессильно опустилась на лавку.

Догорали в сизоватом пепле зеленые и красные огоньки обуглившихся головешек, тикали в простенке часы, мурлыкая, терлась о ноги кошка, и Арина, прислонясь к подоконнику, думала: «Так до конца бобылкой и промотаюсь...»

Скоро совсем рассвело, и она стала выкатывать хлеб. Наделав калачей и шанег, она загребла в загнетку угли, задвинула вглубь противни и пошла будить сына. Она тронула его за плечо, и он сразу открыл глаза, словно лежал все время, дожидаясь только ее прикосновения.

— Вставай, Яшенька, люди скоро придут...

Пока сын одевался, она издали следила за ним, точно хотела напоследок запомнить каждое его движение. Чувствуя ее долгий, тоскующий взгляд на себе, Яков повернулся к ней, тревожно спросил:

— Ты что, мама?

— Так я.. Гляжу, не забыл ли чего. Сапоги вон почисти.

Она нагнулась над шестком, загремела заслонкой. Горячий воздух печи пахнул в лицо, высушил набежавшие слезы. Потом она услышала стук железного соска в умывальнике и вспомнила, что там нет воды.

— Погоди, я полью тебе, Яшенька...

Сын стоял, расставив ноги, она лила из ковша воду в его широкие ладони и опять любовно и грустно следила и запоминала, как он поотцовски шумно фыркает, трет до красноты и скрипа загорелую шею, локматит растопыренными пальцами рыжие кудри. С полотенцем через плечо он подошел к зеркалу и, расчесывая спутанные волосы, снова поймал следившие за ним глаза матери, но промолчал.

За столом, рассказывая о последнем авдонином балагурстве, он смеялся. Мать молча подвигала к нему то сковородку с яичницей, то тарелку с шаньгами, то крынку с молоком, и виновато улыбалась, будто стыдилась шумной веселости сына. На мгновение ей даже показалось, что сын никуда не уезжает: просто у не-

го выдался сегодня свободный денек, который он решил провести дома. От этой мысли у нее потеплело в груди; она тихонько прислонилась к лицу сына и закрыла глаза. Сладостным, недолгим обманом была эта наступившая блаженная тишь души.

Стукнула дверь, сразу возвращая ее к прежней тревоге. Вошел, низко нагибаясь у порога, Игнат Жура, и мать, как на незнакомого человека, вопросительно посмотрела на товарища сына.

— Ну как у тебя? — спросил Яков.

— Известно, как, — ревет, — хмуро бросил Игнат и присел к столу.

— А моя геройски держится, — сказал Яков, и мать не сдержала грустной улыбки, стыдясь уже теперь не так своих слез, как того, что сын говорит неправду.

Машинально приняв стакан чая, Игнат пил его большими медленными глотками. Он не мог еще опомниться от недавнего: стоял в ушах хватающий за сердце крик матери, визгливые причеты сестреноч... Накрепко сжав граненый стакан, почти скрыв его в своей тяжелой пятерке, он думал о том, чтоб поскорее ехать из деревни, только бы не слышать этого тягучего бабьего рева по себе, как по покойнику. «Хорошо, хоть не женился сдуру, — успокоенно заключил он. — Теперь бы хлопот не оборался.

— Бригада в полном боевом порядке валит, — сказал, глянув в окно Яков. — Принимай парад, Журавушка.

Не прошло и минуты, как зашаркали в сенях торопливые шаги: дверь распахнулась, и в избу, посмеиваясь и толкаясь, стали входить трактористы, прицепщики... За ними лезли с улицы падки до всяких зрелищ ребятишки и, шмыгая носами, жались у порога. Гости шумно рассаживались на лавках, и матери почудилось, будто с приходом их в избе посветлело. Смущенная и подобревшая, глядела она на улыбавшихся парней и девок, и тревога ее быстро таяла, растопленная блеском молодых глаз. Она услышала, как зашумукали около печки девчата. Потом к столу

с банкой в руках подошла Настенька Родионова.

— Вот, Яша, Филат Никанорыч меду вам в дорогу прислал, наказывал: «Скажи, грит, им, чтоб били германца до тех пор, пока у него кровавые слезы потекут!»

— Распочать бы этот медок, станхановки! — подмигивая, сказал прицепщик Костя, но девчата, как гусыни, зашипели на него, и он прикрыл лицо кепкой.

Отодвигая в сторону Настеньку, шагнул к столу щеголеватый, в начищенных сапожках Ивушка Трошин и потрянул смоляным чубом.

— В связи с большой экономией горючего на каждую живую тракторную душу, — торжественно начал он и потянул из кармана бутылочное горлышко, — предлагаю обмыть наши достижения, а заодно и проводы другим горючим!

Под одобрительный хохот прицепщиков Ивушка хлопнул ладонью о дно бутылки, со свистом выбивая пробку.

— А Игнаше там тяжело будет, — неожиданно серьезно заметил Костя.

— С чего это ты взял? — спросила Нюра Башлакова.

— Длинный он, — неудобства от этого большие. Если он даже из окопа ногу одну покажет, всё равно будут думать, что это цельный человек высунулся!

Жура смеялся вместе со всеми. Расплывшееся лицо его, казалось, говорило: «Смейтесь, ребята, сколько душе влезет. Привык я к вам и жалко мне оставлять вас, чертей этаких!»

Прицепщики ревностно поддерживали Костю:

— А ты, Журавушка, ползком крой, на заду! Если чего и случится, так бежать никому не надо, все под собой! Завязнешь где в болоте — пиши письмо скорее! Приедем, живо вытащим!

Шутки сыпались одна за другой. Уже шли по рукам тоненькие светлые колокольчики рюмок; жался к Якову и что-то шептал на ухо сиявший, как именинник, Сенечка Коровкин; обнимая мать за плечи, чокался с нею Ивушка Трошин.

— Причащайтесь на здоровье, ма-

маша, — говорил он. — Быть Яшке с победой и домой без царапины вертаться!

— Дай-то бог!

Мать думала, что уже давно не было так празднично весело в их избе, — может, со дня свадьбы сына. На время она забыла о своей тревоге: такими близкими и родными были эти молодые, тянувшиеся к Якову лица. Нескрываемое ребятами восхищение перед Яковым невольно перешло к ней. У нее потеплели глаза, но она сдержалась.

Суетливо вбежал в избу с кнутом в руках Авдоня, сурово покосился на бутылку около самовара, кашлянул.

— Со счастливым отъездом, значит? Ай женить кого задумали?

— Тебя, Авдей Евсеич, — притворно покачиваясь, подошел к старику Костя. — Ей, пра, тебя! Для омоложения. Кандидатуру подходящую подыскиваем.

— Я вот тебя, сосунка, женю, — взмахнул кнутом Авдоня. — Так омоложу, что год на зад не присядешь!

— Предложь ему Опалиху! — орали прицепщики. — Старушка древняя, в самый раз! Самого Адама еще без порток, когда гулял, видела!..

Все покатывались с хохота. Качнув головой, Авдоня вдруг присоединился своим залихватым тенорком. Потом, по-гусачьи вытянув шею, он опрокинул раз за разом три рюмки, подошел к вставшему из-за стола Якову, обнял его, три раза поцеловал в губы и шагнул к Игнату. За ним потянулись прощаться с трактористами и все остальные.

Комкая в руках концы фартука, не мигая, широко раскрытыми, удивленными глазами смотрела Арина на всех, запоминала. Последней подошла к Якову Ксюша, и мать услышала ее голос. Горячий и тихий, он сразу проник в ее сердце, и Арина задрожала, сжимая на груди руки.

— Спасибо тебе, Яшенька, от всех ребят, спасибо! Глаза ты нам на машину открыл, на ноги всех поставил, каждого человеком сделал. Не могу я больше — реветь хочется. Бейте с Игнашей немцев — газов ползучих! Бейте, чтоб духу их пеганого на нашей земле не было! Эх, Яшка...

Она замолчала, прикусив нижнюю губу, и, поймав настороженный взгляд серых глаз Павла, подумала: «Скоро и твой черед подойдет. Не миновать и вам с Ивушкой...»

Арина легонько тронула девушку за рукав и, устало опускаясь на лавку, попросила:

— Сядемте чуток. Может, и правда, к счастью да удаче это...

Затем, словно сговорившись, все встали и вышли из избы, оставив Якова одного с матерью. Он присел рядом с ней на лавку, обнял ее когтявые, сгорбленные плечи и, как в первый день приезда, молча гладил седые материнские волосы, ощущая ее теплое дыхание на своей шее.

Она прислонилась к сыну, ни о чем не думала, только хотела, чтоб они сидели так долго-долго и никто не тревожил бы их. Она не подняла головы и ничем не выдала себя, услышав задумчивый, странно спокойный голос сына:

— Приедет с завода — прими ее. Видно, судьба нам вместе жизнь коротать...

Он притянул мать к себе, дотронулся губами до ее сухих тонких губ и еще долго держал ее в руках, словно не в силах был оторваться от ее родимой теплоты.

Она вышла из избы следом за ним, увидела толпившихся у ворот людей, важного на кучерском месте Авдонию, не помня ничего, спустилась по ступенькам крыльца. Теперь она видела одно посуровевшее лицо сына и мучительно думала о том, что не сказала ему чего-то самого важного и главного, и нужно обязательно вспомнить, пока он еще не уехал, пока еще не поздно.

— Я-ще-е-нь-ка! По-о-сто-о-й! — закричала она, кинувшись к телеге, и, плача, припадая губами к его руке, навзрыд досказала: — Береги себя там, родненький, не застудишь!..

И, поняв, что сказала глупость, заплакала еще сильнее, и уже не чувствовала, как крепкие руки трактористок обняли ее и повели за телегой. Лицо сына расплылось в накатившихся слезах, она вытирала их, а они все текли и текли по щекам...

Когда ветер обвеял ее мокрое лицо и глаза стали сухими и будто уг-

рожали кому-то, телега была уже далеко на взгорьи, и на ней маячила синяя, как небо, рубаха высоко сидевшего Игната Журы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Поздними августовскими сумерками Федор Кудин подходил к родному селу. Низко стлался над избами полынно-горький дым, лаяли собаки, ревели по дворам коровы. Тягуче скрипели колодезные журавли.

«Должно, бабы в огородах возятся», — подумая он и вздохнул. С угрюмой робостью ожидал он встречи с первым односельчанином и потому не прибавлял шагу, надеясь добраться до дому в полной темноте. И, хотя пробыл в отлучке Федор три с лишним месяца, ему казалось, что не видел он родных мест долгие годы. Всю дорогу тревожила его сердце саднящая боль, и он, часто останавливаясь, смотрел до слез в глазах на шумящие волны хлебов, комкая скрюченными пальцами рубаху на груди, думая о неуютной своей судьбе.

На ближнем к селу пригорке он передохнул, сердито срывая налипшие на штанины колючки. Потом, хмурясь, прислушался: мягкая пыль дороги глушила цоканье копыт. Не прошло и полминуты, как из-за крайних плетней вынырнул верховой, и Федор сразу признал темногнедую с белым пятном на лбу лошадь. Он выпрямился и молча поджидал, пока верховой поравняется с ним.

Но еще издали, видимо, узнавая его, лошадь вскинула голову и заржала. Федор вздрогнул, подался было вперед, но лишь сдернул с головы фуражку и вытер вспотевшее лицо.

— Знакомого приветствуешь, Стрелка! — услышал он глуховатый голос и, отступив, взгляделся из-под руки на вросшего в седло человека и подумал: «Тоже разъезжают всякие на чужих-то лошадях!»

— Откуда шагаешь, товарищ?

— Оттуда! — в тон ему ответил Федор.

— Ага, — сообразил незнакомец, — сидел, значит?

— Всяко приходилось, и сидел и

лежал, а коли охота была — и бегал. Всаднику было видно: из полурасстегнутого ворота пестрой рубахи у пешехода торчала худая темная от загара шея, на веснущатом лице его, окаймленном редкой бороденкой, удивленно были раскрыты мягкие на выкате глаза.

— Ну, и много тебе дали?

— Никто мне ничего не давал. Я сам себе дал, — буркнул Федор и вдруг, вскинув на незнакомца злые сузившиеся глаза, закричал: «А ты чего меня пытаешь? Откуда такой выискался? Псшел, пошел своей дорогой!..»

— Чего был зря тратишь? — сдерживая горячившуюся лошадь, спокойно спросил незнакомец. — На большую мозоль я тебе наступил?

— Ишь че...на мозоль, — словно удивляясь своей недавней злобе, тихо сказал Кудин. — Нагляделся я на всяких — душа не терпит. Пристанут — кишки на кулак выматывают...

Он хотел было еще крикнуть этому человеку — кто дал ему право разъезжать на чужих лошадях или уж не осталось в колхозе ни одного хозяина? — но только махнул рукой, перекинул на другое плечо котомку и зашагал дальше. Не все ли ему, Федору, равно, если и так он числится отрезанным ломтем в хозяйстве!

Но, видно, не суждено ему было незамеченным, без помех прокрасться к своему двору. На шатком мостике его догнала грузовая машина, и он, навалив грудью на перила, показал ей спину. Когда машина, перебрав доски настила, прогрохотала мимо, Федор невольно оглянулся и тут же сплюнул. В кузове машины, повязанная черной шалью, тряслась на ящике тетка Андрона Макшаква.

«Вот ворона чортова, не сидится ей на старости лет-то! — заволновался Федор. — Дурное что-то сия дева мне предвещает. Лучше бы уж кошка дорогу перебежала, чем она...»

Бурьянистой тропкой, задами пробрался он к своему гумну. Здесь было тихо и сумрачно. Одиноко стоял свежий, нераспочатый стожок сена, жалась к плетню тощая рябинка,

убого красуясь редкими гроздьями ягод.

Перемахнув плетень, Федор присел к стожку, свернул цыгарку, не торопясь, выкурил ее медленными затяжками. Было уже совсем темно, когда он поднялся и пошел во двор. Перед новой, смолисто-пахнувшей, калиткой он недоуменно остановился: «Какая блоха ее укусила, заново стстраиваться начала! Ещё чего доброго и мужика себе другого подыскала, покуда я по производстам мотался. Приду на свои поминки — ни богу, ни чорту!»

Он зло рванул железное кольцо калитки, но она даже не подалась: «Вот, язва, броню себе стготовила — из пушки не прошибешь!» Лишь нашарив узкий ремешок, он открыл калитку и, пройдя во двор, несколько минут стоял под навесом. Даже в темноте чувствовалось, что двор чисто подметен и прибран. Смешливая догадка перерастала в ясное подозрение, и, кинув в сторону палку, он взбежал на крылечко.

Чем чорт не шутит! — думал он, барабаня в дверь.

— Кто там? — услышал он из сени голос Устиньи и, перестав стучать, молчал, будто у него отнялся на время язык: так разительна была перемена в голосе жены. Он не мог сразу понять, плохо это или хорошо, но явно пока было одно: голос точно подменили.

— Андрей Иваныч, ты, что ль? — снова, но уже более мягко, спросила Устинья.

Федор робко кашлянул, помолчал и опять загрохотал кулаками по двери, и чем больше бил, тем сильнее ожесточался.

— Вот нечистая сила! — крикнула, видимо, начиная злиться, Устинья, и Федор немного отошел, услышав в ее голосе знакомые, грубоватые нотки, — глухой и немой, что ли, явился?

«Небось, станешь немым», — подумал Федор и негромко попросил:

— Открывай, чего там!

— Да кто это? — настойчиво и полудиспуганно спросила Устинья.

— Не признаешь, что ли? — не

сдерживаясь, закричал Федор. — До сей поры мужем твоим считался, али уж с кону долой?

— Господи! Федор Митрич! — захлебнулась радостно Устинья и застучала щеколдой. — Чего ж ты притворяешься? Вот несознательность какая!

«По отчеству величает — вона! — отметил про себя Федор. — Нахвталась где-то баба городских слов. Я те покажу сознательность!» Высвободившись из крепких объятий жены, он прошел в избу, скинул у порога котомку и огляделся.

В избе было по-праздничному чисто и нарядно. Окна занавешивали вышитые шторки, стол застлан данной когда-то в приданое за Устиньей белой скатертью, лавки поблескивали, мытый до желтизны пол покрывали полосатые тканые дорожки.

— Гостей ждешь? — спросил он, все еще не отходя от порога и поглядывая, куда бы пристроиться в грязных сапогах.

— С какой это радости, — довольная тем, что муж заметил перемену в избе, пожала плечами Устинья. — Ты вот и будешь дорогим гостем. Собирайся и айда в баню, смой грязь. Сегодня топила, не остыла, поди, еще...

Пока она собирала ему белье, он присел на корточки у порога и молча обводил глазами стены, украшенные плакатами, картой, портретами каких-то героев.

«Вторую избу-читальню баба открыла, — подумал он. — Сдурела тут без меня чисто». Он только было собрался открыть рот, чтобы сказать ей об этом, как увидел рядом с собой на стене серую шинель.

— Гм, да-а-а! — сказал он и чуть не свистнул.

— На шинельку любиешься? — перехватила его взгляд Устинья. — Не супь брови-то, не супь! Сам председатель колхоза у нас квартирует!

— Что, боле места ему в деревне не нашлось? Сама, поди, напросилась?

— Не дури, не дури, — сунув в руки ему узелок с бельем, заговорила Устинья. — Человек он такой, что молиться нам всем на него надо!

— То-то я гляжу, что рядом с им,

ты сама в богородицу превратилась, — сказал Федор и хлопнул дверью.

«Видать, мне энтот Иисус и встрелся даве на коне, — подумал он, окунаясь в кроmeshную, пахнущую навозом темь».

* * *

Заслышав густой рев машины, Андрон метнулся к окну, чувствуя, как отливает от лица кровь и к сердцу ползет колющий холодок.

«Неужели дознались, сволочи? — как веткой, по глазам, хлестнула шальная мыслишка, и сколько он ни напрягался, никого не мог разглядеть около заглохшего у ворот грузовика. — Может очкарик тот на меня все свалил?»

— Анисьюшка, поди встреть гостей, — стараясь не выказывать схватившего его волнения, попросил он. — Может, из высокого начальства кто — скажешь, занемог я, в жару мотаюсь...

Едва захлопнулась за Анисьей дверь, как он вспомнил о пустышной одной улке, кинулся к цветочному горшку, нашарил заржавевшую бритвочку и опустил ее в щель под пол: «Еще вскроется, что у горбуна я порезал мешок». Стянув сапоги и верхнюю рубаху, он бросился на кровать, натянул на голову мохнатый тулуп и заляскал зубами, пытаясь вызвать воображаемую лихорадку. «Ни к чорту не гожусь, — горестно признался он, — сроду таким пужливым не был».

Послышались в сенцах тяжелые маркающие шаги, кто-то вошел в избу. Андрон хотел было застонать сквозь зубы, но, приподняв полу тулупа, раздумал: у порога, широко, чуть не за спину кидая руку, крестилась его родная тетка Аграфена.

— Здорово живете, — гундося, пропела она. — Хвораешь, племянничек?

— Здравствуй, хрѣсная, здравствуй! — разом повеселелев, отвечал Андрон. — А болезнь у меня известно какая — от перевыполнения нормы хвораю! Без этого теперь нельзя, иначе всем нам под сапогом у германца ползаты.

Он свесил ноги с кровати, подставил тетке небритую щеку для поще-

люя и, дивясь недавнему страху своему, подумал: «Все же не к добру она прилетела, не к добру».

— Уж в коммунисты не пролез ли ты? — спросил Аграфена. — Наловчился говорить-то по-ученому, ничего не скажешь!..

— Нет, дорогая хрёсная, для этого надо тверезую голову иметь и высокий идейной уровень. А я сейчас, как в ледоход посреди речки на льдине, скачу и не знаю, до какого берега ближе... У нас недавно, вот, один из города приезжал, тоже мне съездовала в партию подавать. Ты, грит, товарищ, для этого дела окончательно созрел..

— Не только созрел, а уж, поди, перезрел давно, — сказала Аграфена. — А все же повременить маненько не грех, племянничек.

— А ежели я утоплю, на фарватере-то мечась?

— Скорей другого кого утопишь, а сам цел будешь! — засмеялась Аграфена. — Тетка родная попадись, и с той не посчиташься. Весь в тятю удался!

— Не поминайте к ночи, хрёсная, этого кровопийцу и эксплуататора! — обидчиво вскинулся Андрон. — Понапрасну на меня чужие грехи валите. Я по сравнению с тятей, что ягненок рядом с волком.

— Шуткой я-то сморозила, чего к сердцу всякую дурь принимаешь? — заторопилась Аграфена, боясь, как бы Андрон не разбушевался и не отказал ей в помощи. Еще памятен был ей зимний, зряшный приезд к племяннику.

— Куда бидоны-то ставить? — спросила, входя в избу, Анисья.

— Какие бидоны? — поинтересовался Андрон.

— Карасинчику я захватила, — поспешно объяснила тетка. — Уехала машина-то? Ну и слава богу! Две четвертных содрали, прощальги этикие! В сенцах, я думаю, можно карасин оставить. Не скрадут, поди?

Андрон промолчал и стал одеваться. Когда он нагнулся, натягивая за ушки сапог, в голову ему вдруг пришла одна непутевая, до озноба пробравшая его мыслишка. Он даже перестал натягивать сапог и покоился на тетку. Аграфена, сбросив с

головы шаль, гляделась в зеркало. С кровати Андрон видел сплюснутое со щек, птичье лицо ее и черные, как деготь, косы, стекавшие с плеч до самых колен.

«Досталось вороне такое богатство», — подумал он, любуясь литой, тяжелой вязью кос, а вслух полюбопытствовал:

— Жидким товаром теперь пробаваешься?

— Ничем, племяш, не брезгаю. Беру, что в руки плышет, разбираться не приходится, не магазин...

— Керосин парасхват пойдет, — сказал Андрон. — Вплотьмах люди сидят... А взамен скромное увезти хочешь?

— Мед и масло наказывали.

— Омыть торговлишку будет чем? — Андрон уже шел на поводу неотвязной своей мыслишки, распая в себе годами зреющую злобу.

— Попотчую, чего там! — трянула косами Аграфена. — На целую свадьбу хватит.

Пока Анисья ставила самовар и собирала на стол, Андрон молча вышагивал по избе, пыхая трубкой, и как будто не замечал присутствия тетки. Только за столом, гулко глотая горячий чай с блюдца, он, казалось, вспомнил о ней и оторвался от захватившей его мыслишки. Окнув взглядом скудный ужин, он строго прищурился на жену.

— На погребок-то, Анисьюшка, лень было сходить? Что, для родной тетки у нас, акромя огурцов и картошки, другого угощенья нет? Эх, ты, куль-ту-ра!

Ни слова не говоря, Анисья засветила огарок и вышла. Довольная щедрой заботливостью племянника, Аграфена достала из мешка пол-литра водки и поставила на стол.

— Для такого хресничка ничего не жалко! Мало нас макушаковского роду на земле осталось, — на одной руке пальцы лишние будут...

Она скривилась, готовая выжать из глаз скуные слезинки в память грешных и праведных своих родственников, но Андрон, обхватив рукой за талию, усадил ее рядом с собой. Молча налил он два стакана водки, чокнулся и выпил свой стакан раз-меренными глотками. Понюхав го-

редую корочку, он угрюмо придвинулся к тетке и так неожиданно улыбнулся скопленным на сторону большим ртом, что Аграфене стало немного не по себе от такой веселости племянника.

— Не печалься, хрёсная,—сказал Андрон.— Взойдет еще махшаковское семя, дай срок. Не беда, что господь бог меня бесплодной бабой награждал. Обидно вот сорняки нас глушат...

— Без сорняков в жизни нельзя! — смеялась захмелев, Аграфена.— И много их у тебя развелось?

— Ни много, ни мало, но один в самое сердце корни пустил,— скрипнул зубами Андрон.— Днем и ночью соки дорогие сосет... Уж хоть бы ты что ли, его сглазила!

— Я наговором не действую. Это который же? Не комбедовец ли беспартийный? Неужто он не унялся еще?

— Какой там! грозится в порошок стереть! Злой, как собака, стал.

— Плохо ты тогда целился...

— Жалею,—на всю жизнь в тот раз промахнулся...

Они замолчали, как только на пороге показалась Анисья. Непонятно, как она ухитрилась держать в руках две кринки и несколько тарелок. На столе стало сразу тесно. Появились соленые грибки, ломтики сала, сметана, мед...

«Скажи дуре, так перестарается»,— подумал Андрон, но подвигая поочередно тарелки, гостеприимно упрямивал тетку:

— Не побрезгуйте нашим соленьем-вареньем, хрёсная, кушайте! Не обессудьте за скудость — не прежнего режиму время... Пробуйте, грибки вот, рыжички нынешние...

— Запотчуеть, Андронца, запотчуеть, — тянула нараспев Аграфена, не узнавая раздобревшего племянника.— Поднеси вон бабе-то с устатку!.. Да что же твой сорняк? Чего он хочет-то?

— Извести меня задумал, чтоб духу мово здесь не было!

— Перед властью, поди, выслуживается, не иначе,—заражаясь въедливой родственной злобой, выпрашивала Аграфена.— Награды ищет? Что же! Видать, придется отличить его.

— Ах, хрёсная, — жалобно затянул Андрон.— По гроб жизни за вас богу буду молиться. Да пустяшная это затея. Куда вам? Не с вашей бабьей силушкой. Я и то робею. Ведь он медведь чистый! Не таких под себя гнул... Анисья, подь закрой ставни!

— Большой у него курятник-то? — подождав, когда закрылась дверь за Анисьей, спросила Аграфена.

— Загадки гадаешь, — неудоменно уставился на тетку Андрон.

— Кур, спрашиваю, много у него водится?

— Да порядком, — серея в лице, выговорил Андрон, поражаясь теткой прозорливости и счастливому совпадению своей мыслишки с ее намерением.— Хватает ли курочкам одного петушка — хочешь знать?

— Экий догадливый! — навалясь грудью на стол, хрипучим шепотком выговорила Аграфена.— Не про то я. Нет ли у него лишнего белого петушка, чтоб обменять на моего красненького, понял?

Птичье лицо тетки скривилось, и теперь Андрону стало как-то нехорошо от ее хлипкого пьяного смешка.

— Только с головой меняй, хрёсная! — упираясь кулаками в лавку, приподнялся Андрон и сухо доскалал: — Чтoб без свидетелей. Ну, не мне тебя учить...

...На рассвете, когда Аграфена еще спала, он оседлал лошадь и уехал в район.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Луга коптились. Конь ступил на твердое, хрустящее желтоватым песком шоссе и стремительно пошел в гору. Чуть наклонясь к луке седла, Булатов отдался упругому ощущению полета: казалось, вылетит он из седла, и воздух удержит его на своих крепких руках.

Показалась река, закачалась в гуще тополей белая колокольня церкви, красными заплатами замаячили в зелени крыши домов, и широкая улица районного села открылась, как на ладони.

«Заеду сначала на базар»,—решил Булатов и свернул узким проулком к гомонившей людьми, заставленной

возами площади. Вначале ему показалось, что все люди на базаре не разговаривают, а что-то бубнят себе хором под нос, но постепенно, входя в душный водоворот толпы, он различил отдельные голоса, смех.

Ударял в нос горячий запах навоза и конского пота, веяло духовитой свежестью сена, пробивался тонкий аромат сомлевшей на солнце земляники, терпкий запах укропа, огурцов. На длинных прилавках, под тенистым навесом дразнили алые язычки перца, грудями лежали морковь, свекла, первые пухлощекие помидоры, поскрипывали, как снег, голубоватые кочны капусты-скороспелки. И над всем этим природным сибирским изобилием, перебивая друг друга, то стихая, то вновь разгораясь, метались взбудораженные, злые и насмешливые, спокойные, озорные, деловитые и просто бесшабашные голоса.

— Сердитая цена!..

— По цене и скусу!.. Цена, что буря — никакого порядку!

— Гражданка, давай сменяем — хорошая мужская рубашка!.. Сколько даешь? Нашла дураков, как же!..

— Здравствуй, нос красный! Опять с козой стоишь? Ну, ну, стой!..

— Да что ты на подметки смотришь? Ты на корпус гляди, как зеркало! Товар-то какой, товар, дурья башка! Сам проносишь и сыну оставишь!

— Сын в новых ходит.

— Кому что ндравится!

— Эй, эй, подходи, а не то домой уйду! Налетай, по дешевке отдам!.. По чем? По деньгам!

В одном углу базара несколько человек окружили сидевшего на телеге, грузенной молодой розовой картошкой, курчавого колхозника, кричали ему:

— Эй, дядя, уступай, и дело с концом! Чего рядишься? Штаны протрешь, слази!

Взмахнув черными ресницами колхозник ничего не ответил.

— Уступит он, как же! Держи карман шире,— донимал его молодой насмешливый голос. — Что ты, дядя, рыжий, что ли? Верно?

— Бык упрямый, — сказала баба в зеленом платке.

— Ну и бык, а тебе дела нет! — заорал, наконец, колхозник и привскочил на колени. — Рас-сту-у-пись! Чего взгалдели? Не свое продаю — колхозное! Мне за эту дешевку намылят дома шею! А, впрочем, дьявол с вами — становь в очередь!

В другом месте Булатов видел, как подошел к чернявой женщине широченный в плечах парень и, смахнув ладонью льняной чуб на сторону, взял из ее рук гармонию. Сколо него теснились его друзья, восхищенно следившие за каждым движением гармониста. Склонив набок голову, парень развел гармонию на согнутом колене, и она пискнула в его узловатых руках, как беспомощный щенок.

— Басовита, — нечего сказать! — загоготали дружки. — Пробуй, Петр, на все лады! Жарь!

У крайних телег закивал Булатову заведующий райзо Кашемиров. Тучный, белокурый мужчина в синем пиджаке и белой вышитой косоворотке держал в руках бутылку, следя, как тягуче тянется сквозь воронку янтарно искристая струя меда.

— Сладенького захотелось, — сказал он, облизывая крупные, кроваво-красные губы. — Беда с ребятами — не хочешь да разорнишься. У меня ведь их трое.

С Кашемировым Булатов познакомился на одном из недавних совещаний, и чем дальше узнавал его, тем сильнее напоминал тот ему сытого, добродушного кота. Когда накалялась атмосфера какого-нибудь совещания, Кашемиров, как никто, умел во-время улыбнуться, сделать пару пустяковых предложений и предотвратить назревавший скандал, или, уведя самого спорщика в дальний конец коридора, охладить его смешливым анекдотцем. Районное начальство его любило, постоянно ставило в пример многим. Веселое балагурство семьянина быстро располагало к нему людей.

— В райком вызвали? — спросил он, похрустывая в руках новенькими червонцами. — Слышал, слышал о твоих делах! Ну, секретарь часа через два будет. Пойдем ко мне, попьем чайку, потолкуем. Бери лошадь.

Он подхватил Булатова под руку и дорогой, похохатывая, рассказывал, как во время сенокоса в одном колхозе правленцы решили позабавиться игрой на бильярде. Проигравшие партию стазиили победителям литр водки. Через три часа игроки так перепились, что ни один из них не мог уже попасть кием в бильярдный шар.

— Постой, Платон Викентьич, что же здесь смешного? Ведь это же позорная история!

— Э-э, батенька! — покачал головой Кашемиров. — Без тебя знаю позорная, да что бестолку волноваться? Если все, милый мой, к сердцу принимать, так тут нужно иметь всревошные нервы. Вздуют их как следует, и ладно.

В доме Кашемирова голубые подоконники были тесно заставлены цветущей геранью в оранжевых, облитых глазурью горшках. Сквозь белоснежный тюль на окнах пестрела улица.

У порога светлой горенки Булатова и Кашемирова встретила пышногрудая блондинка в ситцевом полосатом платье. Тряхнув пушистыми волосами, она поздоровалась, и под белесыми ее ресницами сверкнули темноскарие глаза. Рядом с нею стоял и смотрел исподлобья на Булатова белокурый, краснощекий мальчука — вылитый отец.

— Подай нам чайку, Тонечка, — Кашемиров тронул жену за пухлый подбородок.

В горенке на тумбочке, покрытой кружевной салфеткой, стоял патефон, высилась у стены белая кровать, с пухлыми, чуть не до самого потолка подушками.

Жена принесла на подносе чай. Помешивая в стакане ложечкой, Кашемиров начал тоном дружеского участия:

— Хочу предупредить тебя, Андрей Иванович. Будь поосторожнее в райкоме-то. Правда, секретарь теперь новый. Что за человек, пока неизвестно. Сразу в душу не влезешь. Все же осторожность не мешает. Старый-то секретарь не очень хорошо был настроен к тебе.

— А чего мне бояться? Я за собой никакой вины не чувствую. Ме-

ня ведь по поводу этой заметки вызвали.

— Эх, батенька! — укоризненно протянул Кашемиров. — Сам такой был, бушевал, а потом махнул на все рукой — лбом стенки не прошибешь!

«Никогда ты не бушевал, а сразу обабился, — думал Булатов, уже с неприязнью вглядываясь в розовощекое лицо с отвалившейся нижней губой. — На фронт бы тебя, борова».

— Я, милый мой, как только сюда приехал, пять лет тому назад, — бархатно звучал голос Кашемирова, — тоже первое время по всякому ничтожному случаю возмущался, старался все по-своему повернуть. Да жизнь — она такая идиотская штука: как захочет, так и распоряжается тобой, и сколько ты не буйствуй — все бесполезно! Правда, иной раз и сейчас закипит в душе, а потом подумаешь: «А что это кому даст?» — И через месяц — другой будто так и надо, не тревожит уже тот фактик-то.

«Какая гадость! — подумал Булатов. — Какая гадость...»

— Впрочем, как хочешь — дело твое: можешь и кипятиться и фыркавать. Забудь в таком случае, что я тебе тут говорил: плохой я советчик, да и каждый живет, как ему вздумается...

«Нет, я никогда не забуду тебя!» — Булатов отставил недопитый стакан и поднялся.

— Уходишь? — робко спросил Кашемиров, обиженный и смущенный тем, что гость никак не откликнулся на его завидную откровенность.

Но Булатов, не отвечая, не слушая, уже шагал к двери.

* * *

Дорога шла узкой просекой. Бил в ноздри густой, смолистый запах хвои, смешанный с грибной мшистой сыростью леса. Булатов дремно покачивался в седле и, с трудом раскрывая слипающиеся веки, видел табунившийся по обеим сторонам дороги темный лес, холодную россыпь звезд над ним и перебирал в памяти дневные происшествия.

Секретарь райкома сидел за столом задумавшись, погруженный в

бумаги и, казалось, не слышал, как открылась в кабинет дверь и на пороге в нерешительности остановилась фигура в сером запыленном костюме.

— Дружище! — воскликнул он, поднимая голову и протягивая руку навстречу вошедшему Булатову.

— Чаузов! Вот не ждал, что здесь встретимся, — бормотал удивленный Булатов.

— Ну, садись, садись, друг, рассказывай, — говорил секретарь, обняв одной рукой Булатова и усаживая его в широкое кожаное кресло возле стола. — Давненько не виделись... Так не рассчитал, значит, корреспондентик погоды? Взопли, говоришь, овсы-то? Так, так...

Прочитал твое послание... Жаль, очень, что кончился твой фронтный отпуск, — поработали бы вместе. Почему о броне слышать не хочешь? Ты полезен здесь. Довольны твоей работой. Быстро восстановит колхоз хозяйство-то, если и дальше пойдет работа так же. А ведь это был один из самых трудных здесь... И люди в колхозе выявились...

— Что ж, обратно, значит, в часть тянет? — спрашивал еще раз под конец беседы секретарь райкома. — Да... Эх, кабы и мне с тобой туда же... — Чаузов вздохнул, задумался, потом, точно окончательно решившись на что-то, добавил: — Пойдем, Андриуша, я провожу тебя...

— Да, надо, надо ехать... ехать надо, — шептал Булатов, покачиваясь в седле и стряхивая с лица ладонью липкие паутинки сна.

И хоть он и рад был тому, что все так закончилось, что в своих начинаниях, — в трудной работе в колхозе, — он получил полное одобрение и поддержку со стороны райкома и, что особенно для него ценно, услышал это от человека, которого глубоко уважал и ценил, — все же неволью какая-то печаль заползала в душу. Ему становилось грустно: ведь через несколько дней снова нужно будет вживаться в иной быт, родниться с неизвестными людьми. Правда, ему знакома была эта влекущая, возрождавшая человека новизна встреч и впечатлений; все же не хотелось сразу, напрочь отрывать

от себя тех, с кем так удачно сложилась его судьба в последнее время.

«И еще вернусь, обязательно вернусь», — думал Булатов. Он пережил уже однажды это тревожное и вместе с тем окрыляющее чувство расставания, уезжая учиться на рабфак из шахтерского поселка, в котором пробежало его босое, запорошенное угольной пылью детство. Было в этой глухой привязанности нечто большее, чем будничная привычка к товарищам детских игр, к некрасивой, изуродованной земле, на которой лепились шахтерские землянки, к низкому грифельному небу над ними. Тогда ему казалось, что от каждого шахтера в поселке он увозит что-то в душе для себя на всю жизнь.

Внезапно дорога расщепилась, темный коридор просеки начал валиться на сторону, Булатов вырвался на луговую тропу, и тут только заметил, что конь мчит его во весь опор мимо сенокосных полей. Кружились около крутых копен молодые осинки и, казалось, заломив руки, падали в душные объятия трав, прыгали комками грязи с дороги лягушки.

Когда вырос вдали обрывистый берег Чарыша, Булатову ни с того, ни с сего, вдруг, представилось, что у въезда в деревню кто-то обязательно должен подкарауливать его. Ему даже почудилось: знакомая фигура в брошенной на плечи вязаной шали перебежала дорогу у мостика и спряталась под развесистым тополем.

«И зачем я бегаю от нее, как мальчишка? Смешно... Дал я на духу обещание кому, что ли? Действительно!»

Он подъезжал, сдерживая предавшего ушами коня и мысленно отрешаясь от ненужной своей стеснительности. Равняясь с тополем, он натянул поводья и тут же почувствовал, что все лицо его от ушей до скул заливают горячий румянец: из-за корявого тополиного ствола, выглядывая, клонилась к дороге курчавая березка.

«Фу ты, чорт, что это сегодня со мной! — недоумевал он, награждая коня ударами каблучков в бока. Он

досадовал и вместе с тем стыдился чего-то, словно сию минуту уличил себя в чем-то недозволенно мелком и вредном.

В Горячие Ключи он въехал при полном звезд небе. Деревня уже спала, укутанная в пыльную зеленую палисадов.

«А почему бы мне и не заглянуть к ней?» — неожиданно для себя подумал Булатов, миновав первые, приксернувшие в тиши избы. Мысль была проста и неотступна, и, сворачивая к опалихинскому двору, он понял, что она зародилась у него еще в то время, когда он покидал районное село.

У завалинки он нагнулся с седла и постучал согнутым пальцем в крестовину окна. Его охватывало полузабытое чувство томительной тревожности, испытанное им когда-то в юности, и, замирая, он еще раз нерешительно звякнул пальцами по стеклу.

Что-то большое, белое похожее на птицу, встрепенулось в сумраке за узенькими окнами, скрипнула дверь в сенцах, знакомый голос окликнул:

— Вам бабушку Опалиху? Нету дома ее. Она в Заречье, к родне своей ушла.

«Пожалуй, я сдурил, — смутился Булатов, — бужу ночью человека, сам не знаю зачем». — Но дальше молчать было как-то неловко, и он гозвал:

— Валентина Сергеевна!

— Кто это? — в голос ее уже просочилась затаенная мягкость.

Распахнув ударом сапога калитку, Булатов ввел коня во двор, и женщина на крыльчке испуганно вскрикнула:

— Что случилось, Андрей Иванович?

— Ничего, решительно ничего, немного поздний гость, да? Вы уж меня извините...

— Нет, почему же, пожалуйста...

Она спохватилась, что стоит на крыльчке босиком, в одной рубашке, и стремглав кинулась в сени.

— Сюда, сюда, — сдавленным шопотом звала она оттуда.

Привязав коня, он нырнул вслед за ней в темноту. В избе, поймав ру-

ку Булатова, Валентина минуты две стояла, горячо дыша ему в лицо.

— Присидите немного, я оденусь.

Она смеялась. И смех ее отдавался в ушах Булатова родниковым звоном. Пальцы его скользнули по ее голому плечу, и сразу густая теплота обняла его грудь, ощутило, как кровь, хлынула в ноги.

— Не надо огня, — не узнавая своего голоса, выдал Булатов. — И вообще ничего больше не надо...

Он притянул ее за плечи и сжал в объятиях... Валентина замерла на миг и вдруг гибко выскользнула из его рук, зашептала:

— Андрей Иванович, родной... Я так ждала, давно ждала вас... а вы пришли, когда осталось жить здесь считанные дни... Я не хочу обманывать себя. Пусть теперь останется еще, как было, пусть...

Булатов грузно опустился на повернувшуюся в темноте лавку. Валентина ушла за ситцевую занавеску около печки и оттуда что-то торопливо, сбивчиво, точно оправдываясь, говорила ему. Он не слушал ее, испытывая странное, противоречивое чувство.

Самолюбие мужчины перебарывалось в нем чем-то иным, и он боялся сознаться самому себе, что это ему даже в какой-то мере приятно. Еще совсем недавно его только забавляло наивное своеволие этой женщины, решившей наперекор горьким бабим ухмылкам, во что бы то ни стало добиться своего. Теперь он с улыбкой признал, что, переплавляя свой характер в знойной тяжелой работе, она как-то влияла и на его волю. Часто ему сопутствовала удача, может быть, потому, что, догадываясь о близком ее присутствии, он не хотел быть посрамленным в ее глазах. Обманув его в последнем ожидании, она становилась какой-то незнакомо тревожной.

— Неделя назад совсем чудиле... — Он вникал уже в ее низкий, с затаенными придыханиями голос. — А почему не встретились раньше, давным-давно, когда я еще была девушкой?.. Странно как-то все в жизни... Вот теперь вы уезжаете, и по-другому уже нельзя, правда? Хотя

ничего не случилось, а мы какие-то другие... Верно ведь?

— Да... да... — машинально соглашался он, теряясь в догадках о близком ее будущем.

— Скучно вам? Глупости я болтаю?

Она клыхнула занавеской, вышла в чем-то светлом и быстро задвигалась по избе.

— Ничего, сейчас я поставлю самовар, будем чай пить... Я хочу обо всем, обо всем с вами поговорить.

Валентина подошла к кадке с водой. Звякнула конфоркой, открывая самовар. Булатов слышал, как булькнул, утоная, ковш и зажурчала вода в гулкой брюхо самовара. В мерцающей цинковой глубине второго ковшика, когда Валентина поднесла его к трубе, внезапно вспыхнул, мгновенно расцветая, оранжевый цветок. Пораженная, она оглянулась, и в ту же минуту, озаряя всю избу, упал на белую печь алый отблеск.

Ковш выпал у нее из рук и покапался по полу. Она видела, как, упираясь руками в подоконник, Булатов распахнул лбом створки окна и выскочил на улицу. В тишину ночи, сломанную частыми стонущими ударами в рельсу, ворвались истошные голоса баб, тягучий, муторный рев скотины... Деревню охватывал пожар.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Под вечер, приучая корову к упряжке, Авдоня пригнал ее вместе с быком к озерку. Гладкий, точно отлитый весь из красных и белых плит, бык картинно постоял на бугорке и, сбивая хвостом слепней, полез в воду. Он уходил все дальше и дальше в глубь озерка, и Авдоня, присаживаясь на коряжине, беспокойно покосился на него. «Зайдет, бугай чортов, не вытащишь потом!»

Бык уже был по брюхо в воде и, как только он остановился, в отражении рядом с ним, казалось, улегся другой бык, сытно посапывая, рздувая ноздрями мутные волнишки. Пестрая корова с гнутыми, как ухаг, рогами лениво помахивала хвостом у бережка и не ршалась двинуться вслед за ним. Вытянув ло-

бастую голову, она тяжело промычала, прислушиваясь к тягучему ответному эху, и надолго припала к воде.

И, словно потревоженная на миг, снова повисла над озерком тлеющая предзакатная тишина. Неумолчно, надоедно ныла мошкара, стыли над водой синеватые стрекозы, чистились на зеленой лужайке гуси, ероща клювами перья.

Блаженно жмурясь, Авдоня развалился на коряжине, задрал выше головы пыльные чирки. Но вдруг, вспомнив, что старуха еще с утра показывала ему в этот вечер пораньше возвращаться домой, проворно вскочил на ноги и закричал:

— Ти-и-шка-а-а!..

Корова испуганно шарахнулась в сторону, а бык даже не пошевелился.

— Бог чортова скотинка!—выходил из себя Авдоня.—Навязали тебя на мою шею! Чтоб ты сдох, бугай проклятый! Цы-ы-ля, цы-ыля!

То упрашивая и зовя быка ласковыми именами, то понося и проклиная всю бычью породу, Авдоня метался с хворостиной по берегу, надсаживался от крика, а бык попрежнему окаменело и равнодушно торчал в воде и, казалось, даже сладко подремывал.

«Так с ним, пожалуй, всю ночь до свету промаешься»,—отчаиваясь, подумал Авдоня и вдруг, воровато оглянувшись, стал торопливо разуваться. Оставшись без подштанников, он сразу покрылся гусиной кожей, зябко передернул плечами и, жмурясь, ступил в холодную воду.

«Ну, погоди... по-о-го-ди-и, бродяга, дьявол ненасытный,—шептал он, держа в одной руке подол рубахи и сжимая в другой толстый прут.—Я тебя сейчас проучу... Ты у меня узнаешь...»

Угрожающе размахивая кнутом, увязая ногами в тинистом дне, Авдоня забрел в глубину; вода защекогала его по животу, он перевел дух: «Еще утопнешь с тобой, холера беспонятная!»

— Цы-ля-я!..

Бык словно врос в дно озерка и не двигался. Он безучастно относился к сыпавшимся на его спину ударам и не обращал никакого внимания на

бесновавшегося вокруг него Авдоню. Наконец один крепкий удар пронял его, он переступил с ноги на ногу, норовя выбраться из воды, но в эту минуту послышались голоса бегущих к озерку баб, и Авдоня обмер. Он кинул на сторону прут и, когда различил совсем близко знакомые голоса, присел по горло в воде, прячась за широкий бычий бок.

— Утоп, бабоньки! Ей-богу, утоп! — кричала, подбегая к берегу, Марфуша Тарабрина.

— Оглашенная, да кто утоп-то?

— Не слышала разве? Авдоня благим матом орал! Не иначе, как на помощь звал!

— Глядите, бабоньки, подштанники! — изумленно вскрикивала Лукерья Каданцева. — Чьи бы это?

— Да его, авдониньи! — охая, заговорила Марфуша. — Вон коленка прохудилась, пуговки ни одной нет, на веревочке держались. Его! Я их уж в который раз вижу. Старуха их на нашем плетне развешивает.

«Вот язва, — стуча зубами от холода, думал Авдоня. — И скажи, откуда у этих баб глаз такой стреланный?..»

— Чего ж вы стоите? — засуетилась Мария Непомнящих. — Зовите мужиков скорей, найдут, может, откачают?..

«И хоть бы одна с места тронулась», — отметил Авдоня, не замечая в бабах спасительной прыти.

— Поздно уж теперь, — протянула Лукерья Каданцева. — Чего вечером сыщешь, завтра утром быстрее выловят...

Бабы зашушукались между собой, и через минуту Авдоня услышал их тяжелые вздохи, тихие, жалкующие голоса.

— И какой мужик был, золото!

— И до чего, бабоньки, душевный да сердешный был, рассказать нельзя. Комара не обидит, не то что человека!

— Об лошадях пекся, как о детях родных...

— Другому бы давно пора ноги протянуть и ничего ему не делается, а хорошие люди иной раз так вот и гибнут ни за что, ни про что...

Кто-то из баб, не сдерживаясь,

так горестно всхлипнул, что Авдоня даже стало жалко самого себя.

— Ладно, бабоньки, не ревите, — успокоила всех Марфуша Тарабрина. — Как-никак — старик был, пожил, пора и честь знать...

«Нечего сказать, пожалели», — лаяская зубами, с горечью признал Авдоня.

— Старуху вот жалко, — отозвалась Лукерья, — убиваться будет, сердешная.

— Обрадуется, небось, — перебила ее Мария Непомнящих. — Люди сказывали — цапались они больно. Старуха его иначе как душегубцем и не звала. Вздохнет, поди, после смерти.

— Хвастунишка, брехун был, — не приведи бог какой! К раю его и на три версты не подпустят!

— Ничего, он и богу зубы заговорит!

«Вот чешут, бабы, — думал Авдоня, закрывая глаза и чувствуя, что все тело его немеет и он уже не может двинуть ни рукой, ни ногой. — Назло вам, кикиморы, еще сто лет не подохну!»

— В позапрошлом годе — приходит он как-то к нам, — картаво затапаторила Марфуша. — Пьяненький — в дым, а сам чуть не плачет. Тятя его и спрашивает: «Чего ты, Авдей Евсеич, загоревал?» А он руками машет, кулаком себя в грудь бьет: «Всю СССР объехал, все скрозь вижу, а меня на выставку не пускаете? У кого молоко на губах не обсохло — тем первый черед, а меня в утильсырье списываете?» Тятя возьми и спроси его тогда: «А тебе, Авдей Евсеич, в Горячих Ключах не приходилось случаем бывать?» Авдоня хорохорится: «Разве упомнишь всю СССР, мало ли где я не побывал! Но такой местности, боюсь соврать, не видал, кажись...» Ну, мы тут прямо катались со смеху! Старик сразу протрезвел и понял, что в конец заврался...

«Ни стыда, ни совести, вот кроет, язва!» — удивился Авдоня, пытаясь пошевелить окоченевшими пальцами. — Утопнуть со сраму так можно! Ладно, хошь выставку вдоль и поперек исходил, райских фруктов доотвалу наелся».

— Что ж, бабоньки, — вздохнула Лукерья Каданцева. — Кому смех, а кому и горе. Берите подштанники, отнесем бабе.

— Я вам отнесу, халды! — заорал Авдоня, выскакывая из воды и хватаясь за бычью спину.

Бабы, как подкошенные, задыхаясь от хохота, повалились на траву. Перенуганный бык взревел и одним махом вылетел на берег, вынося на своей спине дрыгающего ногами Авдошо. На бугорке Авдоня сорвался и плюхнулся в мягкую пыль. Бабы визжали, катаясь по траве.

— Ой, бабоньки, умру! Ой, согрешу! — выкрикивала сквозь слезы Марфуша Тарабрина.

Как зачумленный, сидел Авдоня на бугорке, дико вытаращив глаза, дрожа синеватыми губами. Поспешивший на гвалт Никита выручил его. Еле сдерживаясь от смеха, он кинулся к бабам, вырвал у них подштанники, замахал руками:

— Кыш, кыш, горластые! Марш отселева!

Охая, утирая слезы, бабы поднялись и пошли от озерка. У Авдоши не поподав зуб на зуб. Путаясь ногой в штанине, он одевался, не в силах унять дрожь в руках.

— Ославился на старости лет, — сипло выговаривал он прыгающими губами. — На весь район теперь пойдет...

— Да с чего ты в воду-то полез? Тишка, что ль, загнал?

— Бык тут ни при чем. По дурасти... сам виноват... Третьего дня заходит на конюшню Булатов да и говорит: «Сейчас первейшая наша задача коров к упряжке приучать. Как думаешь, кого бы нам к этому делу приставить?» А меня будто чорт за язык потянул. Известно — кто б дятла знал, если бы не его длинный нос? Мне, говорю, это дело знакомое, спереди бычок, позади буренушка — вот тебе и полный курс науки. Ну, он за меня и ухватился. А тут еще Костыка, стервец, подвернулся: «Знаешь, грит, ты конский начальник, какой породы у нас бык имеется? Немецкой, чистокровный», Меня аж в пот бросило! Да, неужли, говорю, немецкий? Тогда давайте, я ему бока обломаю! Так они меня на

этом чортовом бугае и женили. Он из меня за два дня всю кровь высосал. Бьешь его, гада, а он хоть бы в толк взял. Неужель вся немецкая порода такая?.. Да беда еще — я и других стариков в это дело втравил, клянут они меня, на чем свет стоит..

Из сумрака берез, обступивших озерко, выбежала босоногая, просто-волосая девочка и закричала:

— Ба-тенька-а! Ты здесь?

— Парася? Ты чего?

— Бабонька в баню кличет!

— Выкупался я уж, — сокрушенно вздохнул Авдоня. — Не токмо нынешняя, а, кажись, и прошлогодняя грязь отмокла. Ты не думаешь, Никита Лектеич, попариться?

— Отпустил я всех. Один на стане остался.

— Ну тогда прощевай! Парася! Вороти бугая с роши.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Никита долго стоял на бугре, вслушиваясь в удаляющиеся голоса.

Из степи быстро шла ночь. Невслышно подкрался к березам гулевой ветер, атласно зашелестел в темноте листвой, квакнули в озерке лягушки. От этого хора на душе Никиты стало тоскливо и холодно. Последние дни он избегал одиночества, больше старался быть на людях. Будничной непоседливостью глушил он берсидвиною сердце тревогу. Он знал, что где-то снова идут тяжелые бои, но теперь работа односельчан и его собственные хлопоты по хозяйству не казались ему такими ненужными, как прошедшей зимой. Вас依ий и Степан часто слали письма; в письмах их угадывал Никита знакомое чувство злого упрямства, и поэтому не жалел себя в работе.

Побуянив, ветер улегся в листве, бархатная темь накрыла озерко, и черное стекло воды прокололи светлые иголки звезд.

«Пойду полежу, — решил Никита. — Все, гляди, быстрее время пройдет». — В душной избе терпко гахло полынью, разбросанной на топчанах от клопов и блох, сверлил тишину трудолюбивый сверчок.

Устроившись на скрипучих досках, Никита сложил руки на груди.

Но не дремалось. Стоял перед глазами пыльный, крикливый день, всплывали в памяти забытые и ненужные теперь мелочи.

«И чего я сегодня добрый такой сделался? — размышлял он. — От бани отказался... Петюньку боле недели не видел, дурак старый».

Через часок его снова потянуло на волю под звездное, залитое текучей мглой небо. Тихо перешептывалась и вздыхала лежавшая за буграми степь, не долетал от деревни ни один привычный уху звук.

«Что они, вымерли там сегодня?» — тревожно подумал Никита и вздрогнул.

Березовая роща вдали, заслонявшая избы, вдруг кружевно вырезалась на трепетном зареве. Никита выскочил на бугор, схватил зачем-то попавшуюся под ноги палку, вернулся обратно, обошел хранилище с горючим, заглянул под навес, где чернели машины, и снова застыл у крыльца.

— Эх, досада какая, угораздило меня домовничать, — сминая в кулаке жесткую бороду и глядя на метавшийся за рощей огненный хвост пожарища, — шептал он. — Как привязанный, господи! Ну, хоть бы мальчонка какой сопливый был при мне!...

Каждый удар по рельсу отдавался болью в сердце Никиты, будто кто подбрасывал его вверх на крутой доске качелей и стремительно кидал вниз. Потом он подумал, что, может быть, горит его изба. Подсказанная, казалось, безошибочным чутьем мысль эта скоро переросла в уверенность, и Никита не выдержал. Вздернув по-стариковски плечи, спустив вдоль тела длинные руки, он побегал, но за бугром остановился.

«Что это со мной делается» — перебирая пуговицы рубахи, думал Никита. — Хозяйство как бродяга какой бросил и бегу к своему корыту. А вдруг лиходеям того и надо?»

Он трусом поспешил обратно, поминутно оглядываясь назад. Подбегая к озерку, он услышал позади себя глухой конский топот и отчаянный разбойный свист. Он только ус-

пел отскочить в сторону, но через минуту, схватывая под уздцы черного, как уголь коня, уже кричал:

— Запалишь лошадь, стервец! Как гонишь-то! А? Кто тебя, дурака, послал?

— Авдоня... Гони, грит, что есть силы, — перепуганно выпалил Костя. — Две избы уже полымем полыхают... Анисимова первая зачалась, а потом ваша...

— Председателя видел? Там он?

— Не разглядывал, не до этого было!

— Ну, смотри здесь, Костя, — закидывая ногу в стремя, строго наказал Никита. — Не маленький, поди... Чтоб полный порядок был.

Конь смаху взял крупной рысью, обогнул освещенную, притихшую рощу и ворвался в пламенеющую стеклами окон улицу. Первое мгновение Никите показалось, что пожаром охвачена вся деревня, но встал над знакомой крышей багрово-черный столб, и он сразу забыл обо всем. Ошалело носились перед горящими окнами люди, боясь подступиться ближе к огню, брэнчали пустые ведра, сшибались оголтелые голоса...

— Багром, багром захватывай!

— Эй, ты, слепошарый! Разуи глаза — под носом горит!

— Фё-ёкла-а! Фё-ёкла-а! Куда ты, чорт тебя дери...

— Во-о-ды-ы! Воды-ы! Во-о-ды-ы!

Уже занималась третья изба. Казалось, на черный гребень ее крыши прыгнула огненно-рыжая косматая кошка, и к ней, цапааясь, по фибристу углу сруба, начали взбираться игривые котята. Вот они добрались до карниза, умылись розовыми лапками и резво побежали по дымящемуся скату крыши, гоня перед собой оранжевые клубки пряжи.

— Сю-ю-да-а! Ре-е-бята-а! — кричала, размахивая ведром, Ксюша Новоселова. — Па-а-шка-а! На крышу лезь, на крышу!.. Не давай огню ходу-у!..

«Вот чумной парень, а? — подумал Никита. — Свою избу оставил и чужую стал спасать».

Кинув первому попавшемуся парнишке вожжи, он заорал:

— Па-ашка-а! Куда? Куда-а, я спрашиваю? Уши оборву-у!

Слепо натыкаясь на людей, запрудивших улицу, не узнавая никого, Никита размахивал кнутом и, не переставая, кричал. Потом он сразу остыл и даже устыдился своего необузданного гнева: к избе его возвращалась Ксюша, а за ней от самого овражка тянулась черная, раскачивающаяся цепь людей. Уже летели в оскаленные розовые пасти окон первые ведра воды.

Расталкивая ребятишек, Никита бросился к воротам, но налетел на копошившихся у насоса людей. С черным, забрызганным грязью лицом лежал на земле Булатов и, скрипя зубами, отвинчивал гайку. Около него сутился Авдоня, подавая инструменты, на рычаге насоса вис Илья Дикарев.

— За грехи наши терпим, — хрипел он, выпучив глаза на огонь. — Забыли бога... Водку окажнную хлещем без ума! А она до хорошего не доводит. Налакался до бесчувствия человек, бросил, поди, пустяшную цыгарку, сам чуть живьем не сгорел, да еще полдеревни спалит!..

— Отправили его в больницу? — спросил Авдоня.

— Увезли. В себя пришел. Буйствовать начал, связали.

— Никита Алексеевич! — закричал, приподнимаясь на колени, Булатов. — Чего ты стоишь? Спасай, добро-то! Спасай!

Перед воротами билась в руках у баб раскосмаченная Поля, вздохлев причитала:

— Ой, Петенька! Ой, сыночек!.. Родненький!..

У избы Никиту опередил рослый колхозник, закутавший голову мокрым мешком, и окунулся в горячие сени. Когда он выскочил оттуда, бабы выхватили у него из рук завернутого в одеяло мальчишку, испуганно закричали:

— Одежа на нем горит, одежда!

Обхватив плечи смельчака, Никита подмял его под себя, придавливая тяжестью своего туловища к земле. Их окатили несколькими ведрами воды. Сдернув обгорелый мешок с головы колхозника, Никита в упор

встретился с удивленно вскинутыми на него глазами.

— Федор Митрич?

— Старуха там, — пересохшими губами выдавил Кудин. — Обматывайся, ползем.

Описывая свистящую дугу, хлынула из брандспойта струя воды. Сквозь обуглившиеся пазы еще плескался, как расплавленный металл, огонь. Но уже парила черная обгоревшая стена, рушился под хлесткими, как бичи, струями истлевший карниз, и Авдоня, оседлав угол сруба, направляя медное дуло брандспойта в полыхавшие окна, орал:

— Врешь, стерва-а! Отступиши-и!

Он сбил с гребня соседней крыши рыжую кошку, спугнул с карниза игривых котят, и опять ударил по окнам родионовского дома, со звоном вышибая стекла.

Кудин поднялся с земли, натянул на голову парусиновую тужурку и молча двинулся к сеним. У крыльца Никита обогнал его и первым шагнул в густой, едкий дым. Ударом сапога он выбил в покосившихся дверях горенки обе половинки, и сразу наткнулся на жену. Она ползла в угол и, мыча, шарила руками по горящим полавицам.

На улице, укладывая старуху в бричку, Никита нагнулся над ее обожженным лицом и чуть не вскрикнул. Закрытые глаза ее с опаленными бровями и ресницами краснели, как две свежие ножовые раны. Он зачерпнул ладонью воды из ведра и смочил их. Старуха тихо застонала.

Никита не сразу обратил внимание на выплясывающего перед избой иноходца. Сдерживая косившегося на пламя жеребца, привстав в стреленах, Андрон кричал:

— Не туда, рази-и-ня-я! С наличников сшибай, с наличников!

— Не учи ученого! — горланил в ответ Авдоня, сидя верхом на потолочной балке и поливая струей направо и налево. — Больно ярый ты командовать, когда делать нечего!

— Граждане, вот как мы бережем нашу дорогую колхозную собственность, — не отвечая на задиристые выговоры Авдоня, гнулся в седле Андрон. — И сколь мы терпим от этой самой стихии! И все потому, что

нет у нас должной бдительности. И это в данный момент, когда коварный враг, можно сказать, берет нас за самую глотку!

Никита приподнял голову, угрюмо блеснул глазами.

— Ну? — сурово и требовательно спросил он. — Чего опять принес? Каркай!

Андрон сполз с жеребца и, разминая затекшие ноги, направился к бричке.

— Я, граждане, не вещая птица, сообщаю то, что мне доподлинно известно! Отступают наши... Гонит нас

немец к Волге... На Кавказ прет... И нет ему никакого останова...

Никита оторвался от брички и медленными шагами двинулся навстречу Андрону, держа навесу сжатые кулаки.

— Врешь, подлец поганый! Будет ему останова!... — Брехня твоя!.. — и он наотмашь хлестнул Андрона по лицу. И, словно сам не выдержав силы удара, он опустился на траву перед бричкой и грубо, по-мужски заплакал... Как будто смеялся до трясучего кашля в гулкую, пустую бочку...

(Продолжение следует)

Песнь о Давиде Гурамишвили

Главы из поэмы¹

КАК ГУРАМИШВИЛИ БЫЛ ПО- ХИЩЕН ЛЕЗГИНАМИ И БЕЖАЛ ИЗ ПЛЕНА

Жатвой дышали кубанские дали.
Горцы тебя у ручья захватили
И через тридевять гор перегнали.
И наглотался ж ты горя и пыли!

Бросили в яму тебя, заподозрив
Умысел бегства, унизив жестоко.
Ночью из ямы увидел ты в звездах
Жизни своей огонек одинокий.

Как от родного гнезда оторваться?
Как примириться с ямою темной?
Молвил ты: «Мимо мира эти
мчатся,
Вне меня реют рекою огромной...»

Плесень могил одевала рассветы,
В небо глядел ты со дна
гробового.
Был под землей ты и грезил, что
где-то
Лето и пламень жнивья золотого.

Яму минуя, не слушая пеней
Пленника,— мимо шли дни и
недели.

Слезы твои на крылах песнопений
К звездам высоким ночами летели.

Вспыхнул костром ты в своем
заточенье,
Горьким ключом твои слезы
струились,
Думы, надежды твои и сомненья
К небу, как пламя, из ямы
стремились.

Родины шолот услышал ты
скорбный:
«Время отрадной жатвы вернется.

Смерть лучше этой ямы
позорной,—
Встань же, мой светлый! Выйди
на солнце!»
Вылез из ямы, от страха и счастья
Весь замирая еще, как ребенок.
Яма зевала раскрытою пастью,
Кашлянул глухо сторож
спросонок.

Шепотью пальцы сложил ты, как
будто
Хлеба взял крошку,—
перекрестился
И по тропинке, змевшейся круто,
В горы скользнул ты и в сумраке
скрылся.

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ ПОД ДОЖДЕМ

Видел сквозь книгу тебя темной
ночью я,
Ливнем исхлестанного,
одинокого, —
Душу, напастей цепом
обмолоченную,—
Только укрыть от страданий не
мог ее:

Буря затмила пути неисходные,
Дождь затопил их в полуночной
темени.
Боже! Ты капля, иль вервие
водное?
Древо спасения дай, не убей
меня!

Пенящаяся потоками бешеными
Бурная ночь тебе стала
прибежищем,
Выла она, словно мать
безутешная.
Скрыться тебе от врагов было
где ж еще?

Ни дерева, ни пещеры
зброшенной,
Долгие поиски были напрасны.

¹ Первые главы поэмы напечатаны в журнале «Октябрь» за 1944 г. № 5—6. О Давиде Гурамишвили см. там же статью Е. Лундберга «Переключка в веках».

МЕЛЬНИК

Дай мне, господи, дожждаться лета,
Смолотой на мельнице муки.

В глазах все гуще море темноты,
Ты плакал ивою в ночи туманной.
И ночью шум воды услышал ты
В гремучих шлюзах мельницы
желанной

И колесо и жернов пели слито,
Как громкий крик несмазанных
осей.

В илотине под луной сверкало
хвито¹,

И ник седой тальник в густой
росе.

О бедах Картли колесо гремело...
То мельница иль сходбище

друзей?
Свеча ль, живое ль чувство в ней
горело?

Метался жернов или сердце в ней?

Вода ли, низвергаясь, бушевала?
Судьба ли воздвигала свой
престол?

То мысль твоя иль мельница
зывала,
Гремя, зерна просила на помол?

И стих из Иоанна Дамаскина
Твои ресницы пламенем ожег.
И ожил корень твой в реке
пустынной,
На мельнице стоял ты, как
пророк...

Во тьме неслышно мышка
пробегаёт,
Пока в глубоких думах ты сидишь.
Под гулким полом тайна обитает,
Шуршит в норе незримая, как
мышь.

И сплел паук густую паутину,
Как гороскоп страдальческих
годов.

И в щель стены, в густую тень
кувшина
Уносит мышь кусок твоих стихов.

Возьми же вещей, миру
незнакомый,
Творимой песни свиток разверни,
Укрой, привычный к засухе и
грому,
Горячий стих в спасительной тени;

Разбуженный воды могучим
звоном,
Ты встал среди глубокой тишины.
Сам стал ты судеб мельником
бессонным,
Целителем скорбей родной
страны.

ТЕНЬ САБЫ¹

Цвет юности моей увял от бега времени,
Изнемогла душа от тягостного бремени.
Саба-Сулхани Орбелиани

Запас рассказов за зиму разросся,
Им друг внимал, на мельницу
пришед.
Арагвы рокот из-за роц донесся.
Пылал очаг, даря тепло и свет.

Ты двинул мельницу водой
бессмертья.
Произнося творящие слова,
Не ты ли сам,— могучий,— полн
усердья,
Как водопад ворочал жернова?

Ты мудрость вымысла среди мглы
и гула
Познал в гремучем мельничном
кругу.
Тень Сабы в памяти твоей
мелькнула—
В Москве, в косматом северном
снегу.

Сквозь вьюгу нес он спелые
колосья,
Держал в руках снопы грузинских
слов,
И сердце сказку зимнюю сплело с
ним,
С поборником, щитом страны
отцов.

Какая статья, какая мощь была
в нем!

¹ Хвито (груз) — заколдованный драгоценный камень, по старинному народному поверью, приносящий счастье тому, кто его найдёт.

¹ Саба-Сулхани Орбелиани — грузинский классик-прозаик XVIII века, общественный деятель и дипломат. Участвовал в переговорах о союзе Грузии с Россией и был с посольством царя Вахтанга VI в Москве.

Из воспоминаний

ЧАСТЬ I

1. Семья Домонтович

Маленькая девочка, две косички, голубые глаза. Ей пять лет. Девочка как девочка, но если внимательно взглянуть в ее лицо, то видишь настойчивость. Старшие сестры говорят про нее: «Что она захочет, того всегда сумеет добиться». Девочку зовут Шура Домонтович. Эта девочка — я.

Живу я благополучно в обеспеченной семье, где не знают бедности. Большой казенный дом. Здание принадлежит кавалерийскому училищу. Светлые большие комнаты, длинные коридоры. Есть и сад, и манеж, и много лошадей. В манеже учатся молодые юнкера. В это училище попадают только дворянские дети. Я люблю смотреть, как юнкера скачут через препятствия, и иногда мне позволяют давать лошадям сахар. Но, чтобы достать до лошадиной морды, юнкера поднимают меня на воздух, и мне немножко страшно, как бы лошадь вместе с сахаром не откусила и мою руку. «Шура, — говорят юнкера, — разве ты такая трусиха, что боишься лошадей? Посмотри, какие умные глаза у Арапчика». Я отвечаю: «Я люблю Арапчика и вовсе его не боюсь».

Из окна моей светлой детской, за откосом, видны длинные скучные здания, выкрашенные в желтую краску. Окна узкие и темные, на окнах толстые решетки. Я не люблю эти дома и особенно их жуткие черные окна. Моя няня-англичанка со мной согласна. Да, эти здания очень мрачные. Это военные склады, но они похожи на тюрьму.

Что такое тюрьма?..

Мой отец — инспектор по учебной

части в кавалерийском училище. Училище расположено в северной части Петербурга. Чтобы попасть в центр города, обычно едут на конке. Трамваев тогда и в помине не было. Вагоны тащат худые, заморенные лошади, совсем не такие холеные и живые, как в манеже училища. Мне жалко лошадок, которые везут конку. Я прошу разрешения дать им сахару, но взрослые только смеются надо мной. Меня редко берут в город. Мой мир ограничен садом и двором училища. Я дружу с вестовыми и денщиками. Зимой они для меня скатывают снежную бабу. Весной приносят мне голубые цветочки, которые растут на откосе. Странно, что в этих огромных зданиях было так мало детей. Или мне не позволяли с ними играть?

Прошло много лет. В Стокгольме, в 1935 году, ко мне приехал с визитом мой коллега по дипломатическому корпусу — иранский посланник Бахадор. Он, как и многие другие сыновья дворянских семей Персии, был прислан из Тегерана в кавалерийское училище, чтобы получить образование русского кавалерийского офицера. Мой новый коллега знал кавалерийское училище, помнил манеж и сад за нашим домом. Он знал военные склады с их темными окнами, он знал имена лиц, о которых я часто слышала в детские годы. Неужели это была я, удивляясь иранский посланник, — девочка, которая когда-то принадлежала к миру, связанному с кавалерийским училищем?

Семью Домонтович считали передовой семьей. В ней чувствовалась атмосфера того, что в семидесятых годах называли европейским просве-

шением. В доме нашем не было излишеств, но мать моя соблюдала порядок и чистоту.

Она сама вела хозяйство и заставляла нас, девочек, следить за своими платьями и бельем. «Не смейте застегивать двойными булавками свои юбочки. Пришивайте пуговницы. Убирайте вещи на полках». Мама одевалась просто, она не любила «тряпок», как другие дамы, и удивлялась, когда ее приятельницы тратили столько времени на туалеты.

Мой отец и мать происходили из очень далеких друг от друга социальных слоев. Мой отец, Михаил Домонтович, был украинец из старинной помещичьей семьи. Отец очень интересовался ее генеалогическим деревом. Но, повидимому, род Домонтовичей ничем не знаменит ни в истории Украины, ни в истории России, за одним исключением: в XV столетии Домонтовичи имели среди своих родичей одного святого. Звали его Святой Довмонт, и мощи его находились в старом Псковском монастыре. Что он действительно сделал для того, чтобы стать святым, мне неизвестно, но, повидимому, монастырь нуждался в притоке верующих и средств, а старый монах Довмонт был тихим и покладистым человеком. Его и произвели в святые.

Отец мой, как и многие сыновья украинских дворян, кончил полтавский корпус и стал офицером в одном из гвардейских полков в Петербурге — кажется, в гренадерском. Молодые офицеры того времени вели жизнь, которая описана в романах Толстого. В те годы было модно среди гвардейских офицеров бывать в государственной Итальянской опере. На одной из премьер мой отец впервые встретил мою мать. Моя мать, ее сестра Надя и моя бабушка очень любили музыку и имели свою абонированную ложу в Итальянской опере. Многие посетители оперы любовались «тремя северными красавицами», как их звали. Но моя мать не принадлежала к тому светскому кругу, в котором вращался мой отец. Она была дочерью простого скупщика и продавца леса из Финлян-

дии. Мой дедушка был сыном бедного финского крестьянина из Нишлотта. Восемнадцатилетним юношей он, как мне рассказывали, босиком пришел в Петербург и начал заниматься скупкой и продажей леса жителям Петербурга и государственным учреждениям. Это были годы, когда Петербург сильно обстраивался. Повидимому, мой дедушка, которого звали Александр Масалин, был энергичным и предприимчивым человеком. Он быстро сумел сколотить себе состояние на поставках леса. Женившись на русской девушке, Крыловой, он вернулся в Финляндию, где — на Карельском перешейке — купил себе усадьбу и построил чудесный деревянный дом в стиле Александра I, с белыми колоннами и вышкой, — дом, напоминающий декорацию первого акта «Евгения Онегина». В доме были особенные, художественные паркетные полы. Архитекторы приезжали смотреть на них из Выборга и Петербурга.

Дедушка Масалин был гордый человек и не позволял, чтобы легкомысленные гвардейские офицеры ухаживали за его красивыми дочерьми. Он боялся, что русские дочери не свысока будут смотреть на дочерей простого крестьянина, и поэтому дедушка нашел для моей матери другого мужа в то время, когда мой отец был послан на австро-венгерскую войну. Только через несколько лет мои родители снова встретились на общественном балу. Они с первого взгляда страстно влюбились друг в друга, и мать моя настояла на разводе, что в то время было крайне трудным делом. Развод мог тянуться много лет, если не было «руки» в Священном Синоде. То, что моя мать, имея трех детей от первого мужа, решила на развод, было в то время актом большого мужества. Многие, кто даже лично не знал моего отца и мать, с интересом и симпатией следили за их романом. В ожидании развода моя мать и ее дети жили в Куузе, в дедушкиной усадьбе, но роман кончился удачно: моя мать и отец поженились и любили друг друга до своих последних дней. Отец пережил мать всего на год. Оба умерли в пожилых годах.

* * *

Я благодарна моим родителям, за то, что хотя они меня очень любили, они мало хвалили меня и не баловали. Моя мать и воспитавшая меня няня-англичанка были требовательны. На все были свои порядки: самой убирать свои игрушки, складывать белье на ночь на маленьком стуле, самой аккуратно умываться, во-время учить уроки, с уважением относиться к прислуге — этого требовала мама. Она говорила: «Твой дедушка был простой крестьянин и очень бедный. Ты этого никогда не забывай».

Если я отказывалась доест суп или кашу с молоком, мама напоминала, что есть много детей, которые были бы счастливы получить половину тех блюд, от которых я отказываюсь. «Помни, сколько сейчас сирот павших воинов».

Я не возражала, но думала про себя: «Так пусть же дадут этим детям мою кашу. Зачем меня заставляют есть то, что я не хочу».

Но взрослые люди почему-то не умеют разрешать простые вопросы.

Моя мать всем руководила в доме, и все в семье, даже мой отец, слушались ее. Никто не смел нарушать ее приказаний. И я подчинялась, но в душе бунтовала против маминых правил.

2. Война 1877—1878 годов

Конец семидесятых годов был годами войны России с Турцией, и это большое событие в жизни нашей страны отражалось и на нашей семье. Мой отец был на войне, и в доме только и говорили, что о Болгарии, о зверствах турок.

На стене моей детской висели картины, изображавшие турок, резавших маленьких детей огромными саблями. Этим турок звали башибузуками. Я их глубоко ненавидела и боялась. А на другой стене висел портрет русского генерала Скобелева на белой лошади, с надписью, что он освобождает болгар-единоверцев.

Мой отец в чине полковника генерального штаба был отправлен на фронт. Я не помню его отъезда, но крепко запомнилась та атмосфера

напряженного ожидания, которая наполняла наш дом после отъезда отца. Мама бывала часто грустной и тревожной. Она всегда ожидала телеграмм. И если телеграмма приходила, собирала всех нас, чтобы прочесть ее громко. Но бывали и долгие периоды без телеграмм. И тогда все в доме ходило «повеся носы», и тетушки, и бабушки шептались, но замолкали, когда мать входила в комнату. Она искала газету «Новое время», в которой, говорили, печатаются самые последние новости. Случалось, что тетушки и бабушки прятали газету от мамы, а мама плакала. Я считала, что бабушки и тетушки очень злые и нарочно мучают маму.

* * *

В доме все ненавидели турок. Иногда я говорила о них с моей няней, доброй мисс Годжон...

— Почему вы, русские, так ненавидите турок? Турки такие же люди, как и мы.

Но я знала. она так говорит потому, что она — англичанка. Англия — это я не раз слышала — не желает, чтобы Россия дружила с болгарями. Все же я спрашивала у своей няни:

— А почему турки убивают маленьких детей и мучают болгар?

Мисс Годжон отвечала:

— Русские бы лучше смотрели, что делается в их собственной стране. Русский народ угнетен не меньше болгарского своими собственными тиранами.

— Какие тираны, где?

Это были новые для меня мысли. Я старалась понять, где угнетение, где тираны.

* * *

Счастливая маленькая девочка, которая живет в благополучной семье... Но Россия в войне. Война идет за освобождение братьев-славян от турецкого ига, рассказывают о добровольцах. Во всех семьях кто-нибудь на войне.

Вокруг много говорят о политике. Подъем патриотизма.

Меня интересует слово «панславизм». Что такое «пан» и что такое «славизм»?

«Пан», — объясняют мне тетушки, — это по-польски, «господин», ну, а «славизм» — это так, приставка».

Войне сочувствуют даже нигилисты. А кто такие нигилисты — это я уже знаю. Это студенты, которые ходят в очках и, вместо пальто, как кухарка Маша, носят шаль. Или девушки, которые стригут волосы. Бабушки говорят: «Лишают себя главной женской красоты — длинных кос». Я как-то спросила: «А не могут ли они прицепить фальшивую косу?» — на что тетушки замахали руками.

Много говорят о героях войны: Гурко, Радецкий, Драгомиров. Имя Драгомирова стало мне очень близким и дорогим в последующие годы.

Все знакомые дамы, молодые и старые, вязали носки или шипали корпию. Много было карикатур, показывающих, как турки бегут с фронта, как только появляются русские войска.

Однако осада турецкой крепости Плевны затягивалась. Слово «Плевна» повторялось с утра до вечера. Как подвигается осада? Где сейчас турки? Где наш фронт?

Моя мать сердилась. Интенданты снова воруют амуницию и наживаются за счет народа. Скоро ли конец войны? Скоро ли Михаил Алексеевич вернется домой?

Зима 1877/78 года была холодной. Шли сражения на Шипке. Привозили огромные эшелоны раненых, которых помещали в учебных залах кавалерийского училища. И мамы друзья, жены офицеров, в своих кокетливых шляпках, завязанных бархатной ленточкой под подбородком, ездили на вокзал встречать раненых.

* * *

Мама беспокоилась о моем отце, который плохо переносил холода и всегда скучал об украинском солнышке. Отец был в ставке Черкасского, а эта ставка находилась на передовых позициях.

Раз вечером к нам приехал офицер с фронта. Офицер был ранен в руку, и рука висела на черной по-

вязке. Он остался у нас до поздней ночи, рассказывая о жизни на войне. Моя мать, сестры и старушки сидели и слушали. Но рассказы его не были веселыми. Он говорил о том, как солдаты замерзают на фронте и как плохо организован подвоз. Всякий, кто может, крадет казенное имущество. На фронте больше умирают от болезней, чем от пуль. Военное снабжение постоянно опаздывает, а наши генералы дуются в карты и напиваются шампанским. Нет врачей, пища гнилая.

Я спросила:

— А много ли там белых лошадей?

Но офицер только засмеялся:

— Какие там белые лошади. Мы и клячам бываем рады, чтобы пушки перевозить.

Рассказы офицера мне не понравились.

В доме и во всех других зданиях кавалерийской школы царило радостное ожидание и волнение. Прислуга бегала и покупала свечи. Город должен был быть иллюминирован, так как ходили слухи, что Осман-паша готов сдать и Плевна падет. Но вечером дано было распоряжение отменить иллюминацию. Слухи о падении Плевны не подтвердились.

Моя мать ходила из комнаты в комнату и убирала с окон свечки, которые собирались зажечь для иллюминации. Она аккуратно складывала свечки в буфет.

Однако Плевна пала. Осман-паша сам вышел из крепости вместе со своей армией и пошел на безоговорочную капитуляцию. Это было 28 ноября 1877 года, и на всех окнах Петербурга в этот вечер горели свечки. Мне позволили не ложиться в обычное время и полюбоваться иллюминацией. Но из окна нашей большой столовой я не видела ничего, кроме кучки пьяных, которых полиция вела в участок.

Одни говорили: «Это был великий день». Другие прибавляли: «Но Плевна обошлась нам дорого: сорок тысяч убитыми и четыре с половиной месяца осады».

3. Мои первые друзья

Каждую неделю к нам приходили полотеры, чтобы натирать полы в наших больших комнатах казенной квартиры. Полотеры обычно были молодые мальчики, пятнадцати-шестнадцати лет. Они-то и стали моими первыми друзьями.

Я очень любила смотреть на их работу: мне казалось, что это вроде танцев. Забравшись на книжный шкаф моего отца или на буфет, я с удовольствием следила за их ловкими движениями. Но больше всего я наслаждалась беседой с полотерами.

Они говорили со мной, как со взрослой: спрашивали у меня о войне, и мое мнение—когда она кончится, падет ли Плевна, удастся ли русским солдатам взять Шипку—было для них серьезным мнением. Я не помню, каковы были мои разъяснения, но хорошо помню, что полотеры никогда не говорили о царских генералах как о героях, и не проливали слез, как бабушки и тетушки, называя имя Скобелева. Полотеры говорили о солдатах, о крестьянах, которым царь повелел идти на войну и которым пришлось оставить свою землю, своих голодающих матерей и детей. В деревне не осталось мужчин, чтобы убрать урожай.

Все это было очень грустно, и мне очень хотелось помочь полотерам, как бы сделать так, чтобы мать и дети были сыты и корова не погибла.

Больше всего мне нравилось, что полотеры со мной не шутили. Они звали меня «барышня», как звали моих сестер. Значит, я уже взрослая. После беседы с полотерами у меня всегда бывало много новых мыслей, и я не понимала, почему взрослые, смеясь надо мной, говорили: «Иди, Шура, к твоим друзьям-полотерам». Да, они были моими друзьями,—не то, что надоевшие старые бабушки и тетушки.

Однажды мой любимец-полотер, веселый мальчик, которого звали Андрюша, не пришел. Я спросила:

— Почему?

— Он умер.

«Умер»? Этого я не могла понять:

— Почему умер?

— Потому что у него износился кафтан, а когда вспотеешь от натирки полов, ветер прохватит, тогда легко и на гет свет отправиться.

— Но почему у него не было кафтана?

— А потому, — ответили мне полотеры, — что одни ходят в золоте, а у других рубище.

Вскоре после этого с фронта приехал мой отец. Повидимому, это было тогда, когда он был произведен в генерал-майоры и должен был куда-то ехать «представляться». Вся семья собралась в кабинете, чтобы полюбоваться на вновь испеченного генерала в золотых эполетах и орденках. Но тут произошло что-то странное. Когда я увидела все золото на мундире моего отца, я вспомнила слова моих друзей-полотеров: «Одни в золоте ходят, а другие в рубище». Я не бросилась, как обычно, на шею отца, а остановилась на пороге. Кругом старшие говорили:

— Посмотри, какой папа нарядный и сколько золота.

Я хотела убежать, но меня остановили.

— Это совсем не мой папа. Зачем у тебя столько золота, папа? Одень свой серый халат. Я ненавижу золото.

Никто из взрослых не понял, что я хочу сказать. Тетушки заворчали, что я капризный ребенок, а мама решила, что у меня жар и что меня надо поскорее уложить в постель. Сестры хотели меня насмешить, но я расплакалась. Не могла же я им объяснить, почему я ненавижу золото.

Меня уложили в постель и заставили принять касторку.

* * *

У меня было мало друзей детского возраста. Сестры мои были много старше меня, и я была единственная дочка от второго брака моей матери, с Михаилом Алексеевичем Домошниковичем. Было еще двое детей, но они умерли в раннем возрасте. Поэтому мои родители очень берегли меня, и мама вечно боялась заразы. В то время по Петербургу ходил дифтерит и всякие детские болезни. Но иногда моя мать брала меня в

приют для сирот павших воинов. Она участвовала в комитете помощи семьям и детям воинов и любила это дело. Она жалела сирот: ведь ее любимый муж тоже был на войне.

Я не особенно любила ездить в приют для сирот. Комнаты казались мне слишком большими и пустыми. У девочек головы были бритые, и все носили одинаковые серые платица в полоску и черные передники. Личики у них были бледные, в глазах всегда испуг. Когда моя мать входила в комнату, они вставали, словно по команде. Моя мать раздавала им игрушки, но игрушки их не радовали. Потом их заставляли петь хором и показывали картинки с генералами на белых конях.

Моя мать меня упрекала:

— Почему ты не играешь с детьми? Славные дети. Ты бы их пожалела: их отцы убиты на войне.

Но меня это не трогало. Я не могла себе представить, чтобы мой отец мог погибнуть на войне. Матери я объяснила:

— Они не умеют играть по-моему.

Это сердило мою мать.

— Ты сама глупая девочка, которая хочет, чтобы с ней играли только взрослые сестры.

4. Мы едем в Болгарию

После перемирия в Сан-Стефано мои родители решили, что теперь семья может, наконец, поехать к отцу в Болгарию. Отец был назначен сначала губернатором Тырнова, а затем управляющим делами русского наместника.

Моя мать, сестры, няня, мисс Годжон и я выехали к отцу.

По дороге в Болгарию мы остановились в Крыму, в Ялте, и жили в красиво расположенном доме болгарского наместника Дондукова-Корсакова.

Я хорошо помню сад с розами и магнолиями и веранду, вокруг которой росли виноградные лозы.

В Болгарию нас отправили на военном крейсере. Капитаном этого крейсера был прославившийся позднее Макаров.

На крейсере кофе подавали в маленьких красивых турецких чашечках. Эти чашечки мне очень нравились, и я, повидимому, выпросила себе одну. Моя мать сказала, что я должна эту чашку сохранить потому, что она имеет историческое значение. Она принадлежала турецкому паше.

Когда наше судно проходило через Босфор, меня забыли разбудить. Я была этим очень обижена: я так хотела увидеть Босфор и старалась представить себе Дольм-Бакче — дворец, о котором мои сестры особенно много говорили. Я столько раз воображала этот дворец по рассказам, что позднее, когда меня спрашивали, видела ли я Босфор, я описывала этот дворец, созданный воображением.

Мы прибыли в Болгарию. Переваливать через болгарские горы нам пришлось на лошадях, под эскортом солдат. Война официально была закончена, но продолжались неофициальные бои между болгарскими партизанами и турками. Иногда нам приходилось останавливаться и ждать, пока прекратится пальба где-нибудь за горой. Мисс Годжон в это время кормила нас бутербродами.

Одно время мы ехали вместе с главнокомандующим русской армии Тотлебенем и его штабом. Мост был взорван. Мы ждали, пока мост будет восстановлен над кипучей горной речкой. Тотлебен посадил меня к себе на плечи и перенес по неустойчивому мосту. Мне понравилось смешное имя Тотлебен: Тот и Лебен — смерть и жизнь, и я запомнила главнокомандующего.

Война была окончена. Россия победила. Турция была разбита. Предварительный мирный трактат признавал самостоятельность всей Болгарии. Но на берлинском конгрессе 1878 года, где решающей силой являлся Бисмарк, переговоры были сманеврированы так, что русские требования были значительно урезаны.

Вместо почетного и блестящего мира — мир 13 июля отдавал полити-

ческие преимущества Австрии и Англии.

Люди, меня окружавшие, все время обсуждали вопросы Берлинского конгресса, политику Бисмарка, судьбу Македонии, будущность освобожденной Болгарии и как избавиться от неумелых, слабых, корыстных чиновников и дипломатов России или от немецких баронов, окружающих царский трон, в том числе от Тотлебена.

Они говорили:

— Это немецкие бароны, друзья Бисмарка, продали интересы России.

Все вместе было непонятно, много было новых слов, но разговоры давали пищу для недоумений, вопросов и запомнились надолго маленькой девочкой, слушавшей разговоры и споры в кабинете отца.

* * *

Мы жили в Софии, столице освобожденной Болгарии. София скорей была похожа на большую деревню с пыльными улицами и одноэтажными домами, но вокруг домов было много садов, и семья Домонтовичей жила в двухэтажном доме, окруженном садом, очень запущенным, но с чудесными старыми деревьями и кустами роз. Из окон нашего дома и особенно из комнаты, где я жила вместе с мисс Годжон, видны были белые стройные силуэты турецких минаретов на лиловатом фоне горы Витош. В долинах ходили стада овец, пасомые живописно одетыми болгарскими пастухами.

По дороге в Софию мы остановились на короткое время в Филиппополе. Улицы вдоль высоких стен, за которыми прятались дома, были пусты. По улицам бегали голодные, беспризорные собаки, мои всегдашние друзья. За домом находилось турецкое кладбище и росли кусты красного перца. Мне нравился красный перец: он так хорошо щипал язык.

Филиппополь я не любила, но София мне сразу понравилась. Большой, почти пустой дом. Никто не ругал меня за то, что я, когда бегаю, натыкаюсь на мебель и нарушаю порядок, — мебели было мало. Но осо-

бенно мне нравился сад и переулочек около дома, где можно было встретить прелестных маленьких осликов.

В Софии я начала наблюдать и думать и стал складываться мой характер.

5. Ослик

В Софии мне пришлось впервые столкнуться с вопросами интернационализма и усомниться в правильности шовинизма. Маленький грязный ослик заставил меня задуматься.

Ослик, по словам сестер, принадлежал мне. Его мне подарил папин секретарь, болгарин Словейко, который был всегда очень любезен со мной. Он здоровался со мной за руку, а не так, как другие взрослые, которые не замечали меня, потому что я была только маленькая девочка.

Словейко говорил со мной об оккупации, о том, почему и как возникла война, и как турки угнетали бедных болгар, пока русские братья не пришли к ним на помощь. Мне очень нравилось, когда Словейко говорил о русских братьях.

Он был сыном болгарина, которого турки повесили.

— Почему?

Словейко объяснял:

— Потому что он занимался разведкой для болгарской армии и турки его считали предателем.

Все это было не очень ясно, но я ненавидела турок, особенно за то, что они повесили отца такого хорошего человека, как Словейко.

Но все это еще более запуталось, когда Словейко сказал мне, что он, Словейко, получил орден от русского наместника за то, что занимался разведкой в пользу русской армии. Я осведомилась:

— Но вас не повесят за это? Или это только турки вешают за шпионаж?

— Нет, — ответил Словейко, — мы бы также повесили любого, кто занимается разведкой в пользу турок.

Вот это не умещалось в моей голове. И когда я начала расспраши-

вать Словейко, он посоветовал мне не задавать вопросов, которых я все равно не могу понять. Это меня удивило и обидело. Раньше он на все отвечал.

Я больше не спрашивала Словейко, но думала обо всем, что слышала. Наша дружба не порвалась. Я любила Словейко за то, что и он и я одинаково заботились о моем ослике. Словейко гладил его и давал ему смешные имена.

За осликом смотрел болгарский мальчик, также ухаживающий за лошадьми. Этот болгарский мальчик презирал ослика, и я видела, как он однажды ударил его сапогом. Я бросилась защищать своего любимца.

Я хотела, чтобы мой ослик выглядел таким же чистым и холеным, как и наши лошади, и если я сама не могла его чистить, то во всяком случае я любила повязывать вокруг его шеи голубые и розовые ленточки, которыми заплетали мои косы. Но ленточки пропадали. Я спрашивала мальчика, смотревшего за лошадьми и осликом, где мои ленточки, он пожимал плечами и ничего не отвечал. Мне, конечно, не хотелось, чтобы мисс Годжон бранила меня за то, что я ежедневно теряю свои ленточки. В конце концов я поняла, что не ослик теряет ленточки, что их берет себе ухаживающий за осликом болгарин. Я увидела, что моя голубая ленточка торчала из его кармана.

Как это могло случиться, что болгарин, который должен был быть нашим другом, крал ленточки, которые принадлежали русским?

Все это меня очень взволновало и огорчило.

Словейко выслушал мой рассказ и согласился со мной, что болгарский мальчик не только лгун, но и вор. Он заметил, что мальчик не только брал мои ленточки, но и продавал часть овса, который полагался лошадям.

Мы решили его наказать. Мы не повесим его, но отправим назад в его деревню, а уход за осликом возложим на старика-турка, который убирал наш сад. У турка была большая семья, и он был очень беден. Я спросила Словейко, сможет ли турок

смотреть за осликом и будет ли он делать это лучше, чем болгарин, который должен быть благодарен своим освободителям.

Словейко меня успокоил:

— Конечно, турок может хорошо ухаживать за осликом, он—честный человек.

— Но ведь он турок.

— Бедный крестьянин-турок так же страдает под турецким игом, как и болгары. Бедных людей—болгар и турок—богатые турки угнетают одинаково.

Мой первый вывод: значит, не все турки—изверги.

Заключение второе: бедных людей, турки они или болгары, одинаково мучают богатые люди.

Турок, убиравший наш сад, оказался на высоте. Он лучше кормил лошадей и моего ослика, и ослик стал выглядеть более счастливым и холеным.

Я подружилась и с турком. Я часто играла с его маленькими мальчиками с блестящими черными глазками и училась у них турецким словам. Я скоро стала их понимать.

Таким образом, национальный вопрос и классовые противоречия стали проявляться. Это только взрослые люди не умеют разобраться в сложных вопросах.

6. Дипломат

В Софии было мало невоенных людей—все больше офицеры русской армии или болгарские офицеры. Их много приходило в наш гостеприимный дом, в котором моя мать и мисс Годжон умели создать уют, и в который привлекали гостей мои сестры: старшая, Адель, хорошенькая кокетливая девушка семнадцати лет, и младшая, Женя, будущая певица государственного Оперного театра в Ленинграде, любимица студентов в девятых годах. Она держала себя несколько гордо, не так, как веселая Адель. Но если Женя садилась за рояль и начинала петь, трудно было не влюбиться в нее. Так говорили все. И даже те, кто ухаживал за Аделью, таяли от жениного голоса.

Моим сестрам жилось весело в этой стране, еще полной крови, ран

и горя после тяжелой войны. Страна была оккупирована, и царский наместник князь Дондуков-Корсаков управлял страной.

Военные всех родов оружия, военные разговоры, веселые поездки на лошадях и пикники, в которых участвовали мои сестры и сопровождающая их военная молодежь, или пикники в горах, откуда меня, сонную, приносили домой... И здесь много новых слов, которые не сразу были понятны, но заставляли много думать: «предварительный договор о перемирии», «оккупация Болгарии», «конституция», «народное представительство».

В Берлине сидел Бисмарк, который делал вид, будто он наш друг, а на самом деле Австрия, с позволения Бисмарка, протягивала руку Дизраэли над головой старика Гладстона. Я себе живо представляла, как это они делали, но что это значило — мне было трудно понять.

Много говорили о возможности новой войны.

«Россия не должна уступать. Возмутительно то, что Дизраэли позволил в отношении изменения Сан-Стефанского мира. Бедные болгары. Но мы, русские, мы не потерпим этого унижения. Мы выиграли войну, и мы не позволим туркам властвовать над болгарями. Война не кончена. Мы будем ее продолжать».

Как я уже сказала, в Софии было мало штатских людей, но был один, уже не молодой господин, который часто приходил к нам и ухаживал за Аделью. Он носил монокль в правом глазу и нарядную палочку подмышкой. Мисс Годжон говорила, что он хорошо одевается, что он очень вежлив и что он — дипломат. Что это слово значит, я не старалась понять, но я-то считала его дураком.

У него была странная и, я считала, глупая манера здороваться со мной. Если он встречался со мной на улице и на моих руках были белые варежки, он ловко стягивал варежку с правой руки, прежде чем поздороваться со мной, и делал вид, что варежка исчезла, а сам прятал ее в свой рукав. Я каждый раз должна была удивляться исчезновению ва-

режки и всякий раз радоваться, когда дипломат мне ее возвращал. Тот же фокус он проделывал с моими ленточками в косах. Мне казалось, что он очень доволен своим фокусом и действительно верит в то, что я не замечаю его хитрости. Вот почему я считала его дураком.

Прошло много лет.

В Тифлисе, в чудесном парке, я встретила дипломата, который крал в Софии мои варежки и ленточки. Он посидел, а мне было семнадцать лет, и меня можно было назвать хорошенькой девушкой.

Дипломат спросил меня, помню ли я его фокусы в Софии. Я ответила, что помню. Он засмеялся.

— Я вижу в вас качества, которые полезны дипломату. Я всегда знал, что вы угадывали, в чем состоит мой фокус, и меня интересовало, выдадите ли вы себя как-нибудь и покажете ли, что вы действительно думаете обо мне и моих манерах. В ваших глазах я иногда читал: «Какой дурак», но маленькая девочка в Софии продолжала улыбаться и делать вид, будто она ничего не понимает. На это нужна выдержка и самообладание. Жалею, что женщины не могут быть дипломатами.

В то время я презирала царских дипломатов, которые, по моему мнению, обманывали народ в угоду царской политике. Но и тогда, в великолепном саду в Тифлисе, я не выдала своих чувств и продолжала любезно улыбаться дипломату, который мог вообразить, что я могу желать стать дипломатом.

7. Партизаны

По нашей улице вели партию пленных. Вооруженные солдаты окружали их. Пленные выглядели очень несчастными. Они шли, низко опустив головы.

Мне было тяжело глядеть на этих несчастных людей. Был серый день. Ветер нес с собой едкую пыль. Словейко и я стояли на пороге нашего дома.

— Кто это? — спросила я Словейко. — Турки?

— Нет, — ответил он, — большинство из них болгары, но есть и рус-

ские. Это партизаны, дезертиры, бродяги и воры.

— Куда их ведут?

— Куда-нибудь за город, чтобы там расстрелять.

— Расстрелять? Этих людей? Но ведь они живые! Как можно расстреливать живых людей?

— Это преступники. По нашим законам, во время оккупации нельзя быть партизанами. Это преступление.

— Но кто смеет их расстреливать? Словейко, будь добр, послушайся меня. Останови солдат и скажи, чтобы они не смели их расстреливать.

— У солдат имеется распоряжение, и меня они, конечно, не послушают.

— Кто дал такое глупое и скверное распоряжение?

— Комиссар.

— Князь Дондуков?

Я была удивлена. Он всегда был так добр ко мне.

— Ты неправду говоришь, Словейко. Он не мог этого приказать.

— Нет, он приказал. Он собственноручно подписывает все смертные приговоры.

Страшная мысль заставила забиться мое сердце. Что, если мой папа написал этот документ?!

Все документы пишет генерал Домонтович, а царский наместник только их подписывает.

— Этот документ написал мой папа?

— Наш генерал? Нет. Наш генерал не имеет никакого отношения к документам, относящимся к военному суду.

Я облегченно вздохнула.

Облако пыли заслонило партизан.

— Словейко, — я дернула его за рукав, — будь моим другом. Побегла все-таки к солдатам, скажи, чтобы они не стреляли. Скажи, что это болгары и русские, а не турки.

Словейко улыбнулся.

— Солдаты — дисциплинированный народ. Им даны указания, и мы с тобой не можем вмешиваться.

Мы молча стояли с Словейкой в дверях нашего дома, и оба думали. Когда пленники окончательно скрылись из виду, я вернулась домой.

Весь этот день я была очень глупой. Я сидела и думала. Я была не-

счастлива. И в первый раз поняла, что значит смерть.

Когда мы ехали в Софию, я видела убитых по краям дороги, и слышала, как сестры говорили: «Это ужасно. Столько людей сегодня убито».

Но это меня не трогало. Убитые лежали неподвижно. Они уже были мертвые. А в этот день я поняла другое: пленников вели на расстрел. Я была несчастна. Жизнь показала мне свое суровое лицо.

Ночью я проснулась от горькой обиды.

Что случилось?.. Ах, да. Пленники...

Мне показалось, что я в этом виновата. Конечно, это моя вина. Никто бы не расстрелял партизан, если бы я не была такая дура. Почему я не побежала к моему отцу? Он бы написал другой приказ или свел бы меня к князю Дондукову. Я бы все им объяснила. Если нужно, я бы встала на колени перед князем и просила бы помиловать партизан-дезертиров. В сказках это всегда помогает.

Почему я не догадалась сразу? Я впала в настоящее отчаяние.

Я плакала и душила рыдания подушкой. Но мисс Годжон услышала.

— Что случилось, Шура? Я весь день уже замечала, что у тебя что-то есть на душе. Скажи своей старшей няне.

Я призналась ей, что виновата в том, что партизан и других пленников расстреляли, и все потому, что я — дура. Мисс Годжон со своим обычным терпением расспросила обо всем, напоила меня сахарной водкой, и я заснула, держа ее руку.

На другой день я играла в саду под окном маминной комнаты и слышала, как мама и няня говорили обо мне.

— Шура — нервный ребенок, — говорила мама, — и мы должны уберечь ее от тяжелых впечатлений. Я все думаю, как она с таким чутким характером преодолит трудности жизни. Ведь нас с вами уже не будет, чтобы ее побереечь.

Няня отвечала:

— Нам нечего беспокоиться о Шура. Она вовсе не нервный ребенок.

Напротив, это нормальная девочка, и у нее есть самодисциплина. Многие взрослые могут ей позавидовать. Она сумеет справиться с трудностями в жизни, но дайте ей самой найти, как их преодолеть.

Через несколько дней я слышала, как мои сестры расхваливали доброе сердце наместника Дондукова. Он пожертвовал такую-то сумму в пользу болгарских сирот.

— У вашего князя, — вмешалась я в их беседу, — вовсе не доброе сердце. Он изверг, жестокий и скверный человек, хуже турок!

Мое заявление удивило сестер.

— Что за глупости ты говоришь, Шура?

— Нет, это не глупости, — возразила я. — Я знаю, что он дал приказ убивать людей и подписал документ собственной рукой. Я видела тех людей, которых он велел расстрелять.

— Каких людей? — спросили сестры.

— Партизан, — ответила я.

— Ах, этих преступников, — ответили сестры.

Меня бросило в жар от негодования.

— Они не преступники. Это партизаны. Они борются, чтобы болгары были свободны, и будут бороться против турок и всех, кто хочет над ними командовать.

Сестры накинулись на меня.

— Замолчи, глупая девчонка. Это все потому, что ты целыми днями играешь с уличными мальчишками. Мы потребуем от мамы, чтобы тебя не пускали без присмотра.

Но я продолжала играть с уличными мальчишками — болгарами и турками. В доме некогда было следить за мной.

Мисс Годжон была права.

Если я не понимала какого-либо вопроса, я должна была сама в нем разобраться, и я сидела и думала о партизанах: надо или не надо их убивать.

Я узнала, что такого рода явления происходили ежедневно в Болгарии. «Мирный договор подписан, но страна еще не свободна», — говорил Словейко.

Помню, как стояла я под кедровым деревом в нашем саду и смотре-

ла на гору Витош. Белые облака покрывали верхушку Витоша и плыли куда-то вдаль. Облака двигались так быстро, что мне казалось, что плывут не облака, а горы.

Я все думала, надо ли болгарам продолжать бороться за свободу? Я не знала, что сделать, чтобы взрослые люди стали умнее. Куда они годятся, если они даже мне не могут объяснить, почему и после заключения мира всё еще в Болгарии нет свободы.

Меня очень мучили партизаны, особенно, когда я узнала, что у многих остались дети в деревнях в горах. «Может быть, и на Витоше есть деревня, откуда отцы ушли в партизаны. Берут ли их детей в детские приюты? Но ведь это несправедливо: убить отцов, а потом взять детей в приют.

И вдруг точно дверь распахнулась передо мной: «Когда я сама и все дети партизан вырастут, мы уничтожим всякие жестокости и все глупости взрослых. А на улицах городов напишем: «Никто не смеет убивать партизан».

Хорошая надпись! Я рассмеялась и вновь почувствовала себя счастливой.

8. Занятия моих родителей

У взрослых было мало времени в Софии смотреть за мной, и это было чудесно. Я наслаждалась свободой. Мать и мисс Годжон заняты были хозяйством. У нас вечно были гости: обеды, ужины. А продовольственный вопрос в стране, разоренной войной, был не изжит. Мисс Годжон часто ворчала на трудности, но моя мать была полна бодрости и желания оставить в Болгарии память о русской культуре. Она собрала комитет болгарских женщин для организации школ для девочек.

И действительно, первая женская гимназия была открыта в Софии по почину моей матери.

Болгарские женщины часто приходили к нам. Обычно серьезные и молчаливые, одетые в черные платья, они усаживались вокруг стен в столовой и подолгу разговаривали, все об одном и том же: какой будет школьный дом, какие учителя, кто

будет платить учителям, кто достанет книги и прочее. Моя мать терпеливо, через переводчицу, объясняла.

Отец мой был еще больше занят, чем моя мать. Мы редко его видели. День он проводил в канцелярии наместника. Если отец оставался дома — это значило, что к нему придут болгары, чтобы советоваться с ним о «важных делах». Приходил профессор Дринов, маленького роста, с острой бородкой. Он потирал свои маленькие белые руки и низко кланялся всем, кто входил в комнату, даже мне. Приходили два известных в Болгарии передовых человека, как говорил папа, Цанков и Каравелов. Мой отец больше всего радовался, когда они приходили, и шел им навстречу. Он дружелюбно брал их за руки, за плечи и вводил в свой кабинет. Но если Цанков или Каравелов сидели у отца, он непременно закрывал дверь своего кабинета и даже мне говорил: «Уходи, уходи, Шуринька». Я знала, что они сейчас начнут говорить: «народное собрание», «конституционные гарантии», «новый режим». Иногда мой отец, перед тем как идти в канцелярию, гладил меня по голове и спрашивал с рассеянным видом:

— Тебе нравится жить в Софии?

Я отвечала утвердительно. На это папа улыбался и говорил:

— Я рад, что тебе нравится в Софии, — но я всегда видела, что он не слышит моего ответа.

Папа всегда думал о другом, когда говорил со мной или моими сестрами. Мы точно не существовали для него.

9. Моя первая публичная речь

Меня редко брали на спектакли, где играли мои сестры, но раз мама решила взять меня на представление новой пьесы, где Адель играла главную роль. Бедная Адель, по пьесе, хотела выйти замуж за молодого человека, но злая тетушка, у которой она жила, всячески ей мешала.

Меня посадили в первых рядах среди публики. Мисс Годжон была занята за кулисами, помогая сестрам костюмироваться.

В пьесе злая тетушка заперла Адель на ключ, чтобы она не пошла

на свидание к своему жениху. Адель горько и громко плакала и брала тетушку. Мне стало очень жаль Адель: она так же плакала, когда собака разорвала ее котенка. Я не выдержала, вскочила на скамейку и громко обратилась к Адели:

— Адель, Адель ты не плачь. Не слушайся ты старой ведьмы-тетушки. Она все врет. Ты думаешь, она тебя заперла? Неправда. Я за ней следила. У нее даже не было ключа. Вместо того чтобы сидеть и плакать, ты пойди к двери, толкни ее хорошенько, — она откроется, ты выйдешь на свободу и будешь счастлива.

Публика сначала с удивлением смотрела, что это за фигурка в синем платье с белым воротничком влезла на скамейку и уговаривает артистку, но когда я предложила Адель самой освободить себя и выйти на свободу, публика рассмеялась и громко зааплодировала. Слова «выйти на свободу и быть счастливым» были лозунгом болгарского народа в то время.

Я не обратила внимания на аплодисменты, серьезно села на свое место, одернула платье и приготовилась смотреть пьесу.

После спектакля многие спрашивали мою маму, буду ли я учиться петь, так как у меня чистый и ясный голос, но мама сказала, что я не музыкальна.

Больше, однако, меня на спектакли не брали.

10. Моя приятельница Зоя

Мою первую подругу-девочку звали Зоей, и подружился мы с ней в Софии. Дружба эта длилась всю жизнь и порвалась только со смертью Зои, незадолго до начала нынешней войны. Рука об руку с Зоей мы шли в революции, вместе пережили годы политической эмиграции, вместе помогали нашей великой партии строить великий Советский Союз.

Зоя была для меня самым дорогим человеком в мире после моего сына.

Где мы в первый раз встретились? Как будто бы на елке в Софии. У Зои было еще две сестры, моложе нее. Из них младшая, Вера, сейчас

заслуженная артистка — Вера Юрнева. Жили три девочки в Софии в скромном домике, их сад граничил с нашим садом.

Зоин отец, Шадурский, был членом военного суда. Мать ее была молоденькой. Она вышла замуж пятнадцати лет и в Софии дружила не с моей матерью, а с Аделью и Женей. Мама обращалась с ней, как с одной из своих девочек: иногда бранила, чаще давала советы.

Зоина мама мало занималась своими девочками. Она участвовала в любительских спектаклях, ездила с моими сестрами верхом, вместе с ними танцевала в офицерском клубе.

Я быстро подружилась с Зоей. Раньше мне всегда приходилось играть с мальчиками, а мальчики любили драться, и это не всегда было приятно. С Зоей же можно было разговаривать. Она уже умела читать, и сама читала в газетах то, что было написано большими буквами, и рассказывала мне о политике. Многие слова, которые я заучила на слух, не понимая смысла, Зоя мне разъяснила.

Из взрослых мы с Зоей признавали только: я — своего папу, она — своего.

У Зои было славное детское личико с розовыми щечками, большие карие глаза и золотисто-каштановые волосы. Она всегда умела выдумывать новые, интересные игры, в которых надо было быть смелыми и убивать всех злых людей и врагов. Мы всегда в играх защищали бедных и стояли за справедливость.

Зоя вообще была смелая девочка, и даже уличные мальчишки ее за это уважали. Она влезала на самые высокие деревья и никогда не убегала, если встречалось стадо коров.

В тот день, который мне запомнился, мы не играли. Мы разговаривали и, как мы это называли, думали. Я не любила допекать взрослых вопросами: их ответы меня редко удовлетворяли. Но у Зои я охотно спрашивала обо всем, чего не понимала. Мне казалось, что Зоя все знает. Она мне рассказала про луну, что это такая же планета, как земля, о том, что в Америке негры были рабами,

но президент Авраам Линкольн пошел войной против тех, кто стоял за рабство, и теперь в Америке все свободны. Зоя рассказывала мне также об очень храбром итальянце в красной рубашке, который собрал партизан и освободил Италию от угнетателей-австрийцев. Звали его Гарибальди.

Мне очень нравилось, что Зоя разговаривала со своим отцом, как взрослая. Зоин папа слушал, когда Зоя с ним говорила, и честно отвечал на ее вопросы. Она провожала своего отца каждый день на работу, и по дороге она его обо всем расспрашивала.

Я уважала Зою за ее большие знания. Качаясь на самодельных качелях, я решила спросить Зою, что такое «конституция», Зоя отвечала без запинки:

— Конституция—это синяя длинная тетрадь, которая лежит на столе у моего папы, и в ней записаны все правила, как болгары должны жить, чтобы стать свободными и быть счастливыми. Папа мне все это объяснял. Турки уничтожили все болгарские законы, но русские вернули эти законы болгарам, и теперь на народном собрании длинную синюю тетрадь русские подарят болгарам, и народное собрание будет жить так, как написано в конституции, и все будут слушаться правил, какие там записаны.

Я не очень верила, что все будут слушаться правил, записанных в синей тетрадке. Я помнила Словейко. Но Зоя уверяла, что правила и законы — это одно и то же. Зоя говорила: «В синей тетрадке они очень хорошие». — Так сказал ей папа.

Много раз потом, в последующие годы моей жизни, когда я слышала слово «конституция», я невольно вспоминала каштановое дерево и самодельные качели, на которых Зоя и я обсуждали применение конституции в жизни. Когда качель взвивалась вверх, мы над верхушками деревьев могли видеть минареты на фоне голубого неба.

В Болгарии все дышало политикой. Болгары боролись за свою свободу против царских чиновников и

бюрократов, против полицейского режима.

Неудивительно, что даже маленькие девочки вели политические дискуссии.

Моя мать говорила, что всю подготовительную работу по конституции провел мой отец, и радовалась, что отец взял за образец финскую конституцию. Я плохо помнила Финляндию, но знала, что дедушкина усадьба, Кууза, находилась в Финляндии, там был хороший большой сад, росла вкусная, сладкая малина, и можно было играть в прятки,— так что я была на стороне мамы.

Однажды Словейко мне сказал:

— Скоро проект конституции будет обсуждаться в народном собрании. Если этот проект будет принят, то наш генерал останется в Болгарии как военный министр.

Эта новость мне понравилась, но Словейко добавил:

— Это еще не совсем решено. Весьма возможно, что конституцию не примут. Стоилов со своей партией против этого проекта.

— Разве Стоилов стоит за турок?

— Нет,— ответил Словейко,— но Стоилов не желает, чтобы Болгария была демократической страной. Он идет рука об руку с царскими чиновниками.

Все это было трудно понять.

— А мой папа? Хочет ли он, чтобы Болгария была свободной и демократической страной?

— Конечно, он этого хочет,— ответил Словейко.— Наш генерал— истинный отец демократической конституции. Но другие могут ее провалить.

Для меня было важнее всего, что папа за эту хорошую конституцию. Какое мне дело, что она не понравится царю или Стоилову...

* * *

Была ранняя весна, воздух был насыщен ароматом фиалок. На всех столах стояли вазы, горшечки с букетами фиалок. Это был солнечный, светлый и радостный весенний день. У рояля Женя и Зоин отец разучивали дуэт из «Русалки», звучал же-нин чистый голос.

Зоин отец был главным режиссером любительского театра. Он дирижировал правой рукой и пел вполголоса, чтобы лучше слышать Женю. Я прибежала в дом и остановилась в дверях гостиной. Меня почему-то переполняло чувство необычайной радости. Кажется, я никогда не была так счастлива. Была ли это весна и фиалки, или женин красивый голос? Я чуть не заплакала от радости. Как жизнь хороша!

А между тем в этот момент трагедия переступала порог нашего дома. Рассыльный в военной форме постучал в кабинет моего отца. Он принес телеграмму. Словейко принял телеграмму и плотно закрыл дверь папиного кабинета.

Все оставалось тем же, но мне казалось, что с приходом рассыльного в форме что-то переменялось.

Через несколько минут мои мать и отец вышли из кабинета, разговаривая вполголоса. У отца было очень серьезное выражение лица. Красные пятна горели на щеках моей матери. Это был признак, что мама волнуется.

— Но если народное собрание одобрит конституцию,— сказала она,— не может же царь взять назад уже внесенный в собрание проект?..

— Царское правительство поддерживает Стоилова,— ответил отец. И мои родители ушли в сад.

В тот же день мой отец уехал в Тырново, а мама очень нервничала. Мисс Годжон советовала мне поменьше болтаться в доме и не слушать разговоры, которые я все равно не могу понять.

Даже если я не все понимала, одно мне было ясно: царь был против папиной конституции, и это меня очень сердило. Мне было жаль маму, которую я еще никогда не видела такой нервной и нетерпеливой.

11. Конец счастливым дням

Пикники в горах были одним из самых любимых удовольствий в Софии. Дамы ехали обычно в колясках, в маленьких шляпах, с красивыми зонтиками. Молодые офицеры верхом сопровождали коляски с дамами. Мой отец и его друзья ехали от-

дельно в больших колясках. За нами следовали телеги с провиантом, винами и минеральными водами.

Нас, детей, редко брали на пикники, но я не жалела, что мы оставались дома. Нам, детям, казалось, что когда взрослые уезжают, дом принадлежит нам. Но была одна приманка на пикниках: банки с конденсированным молоком, сладким, как конфеты. Дома мы получали только парное молоко. На пикниках нас также угощали вкусным печеньем Хантлея-Пальмера. Мисс Годжон гордилась: «Эти печенье — лучший продукт в мире». Я с ней вполне соглашалась.

Запомнила я один пикник. Это был момент, когда в народном собрании обсуждался проект конституции, предварительно рассмотренный в Тырнове.

Расстилагось большие ковры на лугах, откуда открывался красивый вид. Над нами росли высокие старые деревья с молодыми, нежными листьями. Играла военная музыка, а при раскупоривании бутылок с шампанским пробки стреляли не хуже ружей.

Саша, сын лекаря, и я на этом пикнике были очень заняты: мы старались языками вылизать из жестяных баночек остатки конденсированного сладкого молока. Все же мы оба заметили, что что-то произошло. Офицеры вскочили с земли и побежали навстречу всаднику на взмыленной лошади. Кто-то крикнул: «Новости из Тырнова», и все окружили приехавшего.

Какие новости? По царскому указу, наместник арестовал несколько членов народного собрания.

Это произвело ошеломляющее впечатление. Правильно ли было такого рода распоряжение в тот момент, когда все симпатии Болгарии были на стороне России?

Доволен был дипломат, который прятал мои варежки. «Этот акт, — говорил он, — острое, направленное не против Англии, а против Австрии, и это в данный момент полезно».

Разгорелся спор, но мой отец сказал, что пора ехать домой. Он считал излишними такого рода споры.

Сестры были огорчены: пикник был испорчен.

Все поспешили к своим экипажам. Зоин отец сел с нами.

Темная теплая ночь. Очень черное небо с яркими звездами. Я смотрю на звезды, но слушаю, что говорят старшие.

— Такая политика, — сказал мой отец, — уменьшит наше влияние в Болгарии. Мы потеряем многих сторонников. Чиновники в Петербурге, все эти немецкие бароны из Риги, советники царя, не понимают, что происходит в Болгарии.

Зоин папа добавил:

— Да давно пора погнать из России всех этих Адлербергов и фон Дризенгов. Болгары — упрямый народ. С ними надо знать, как обращаться. Арест народных представителей — это не просто правовое нарушение, это — политическая глупость.

Мне хотелось знать, что сделают с теми, кого арестовали. Словейко говорил мне, что тех, кого арестовывают, обычно расстреливают. Я хотела спросить об этом, но не решилась, а мама все ко мне приставала, не хочу ли я спать...

Большой день 22 апреля 1879 года настал. Народное собрание приняло проект конституции. Принц Баттенберг был избран князем автономной Болгарии. Был образован болгарский кабинет.

К нам пришли многие болгары, целые делегации, чтобы поздравить моего папу, а болгарские женщины приносили вкусные турецкие сладости в подарки маме и нам, девочкам. Зоин папа обнял моего отца, поцеловал маму в обе щеки, расцеловался с моими сестрами и пытался обнять мисс Годжон, но она нашла это очень неприличным и убежала в кухню.

* * *

Приподнятое настроение этого дня длилось недолго. Я вбежала в столовую с сознанием своей вины: из-за веселой игры в саду я опоздала к завтраку. Но на меня никто не обратил внимания, и я поняла, что что-то случилось. Мама плакала. Сестры погнали меня из комнаты. Словейко

тоже не хотел со мной разговаривать. Он только коротко сказал:

— Они своего добились. Теперь я с вами расстанусь, и мы больше никогда не встретимся.

Я действительно после отъезда никогда больше не встречала его. Он участвовал в каравеловском заговоре и был расстрелян при Баттенберге. Я искала мисс Годжон, чтобы она мне объяснила, что случилось, а она была в кухне, очень сердитая: все опоздали к завтраку, и завтрак был испорчен.

— Ничего еще не случилось,— говорила она,— все попросту нервничают.

Но что-то все-таки произошло в этот день. Отца моего не назначили военным министром в Болгарии, и царское правительство отозвало его немедленно в Петербург. Позднее я узнала, что царские чиновники обвиняли моего отца в том, что он был вдохновителем либеральной конституции в Болгарии и поддерживал прогрессивные круги болгар против консерваторов и друзей царского режима. Нечего было поддерживать Каравелова: за это он и поплатился.

Жизнь в нашем доме изменилась. Гости не приходили, сестры не ездили больше верхом в горы. Ни любительских спектаклей, ни пикников. Все были заняты только упаковкой своих вещей. Всюду стояли ящики, валялось сено и оберточная бумага. Словейко ходил по дому с веревками и гвоздями.

Дети вообще любят, когда в доме занимаются уборкой или упаковкой. Можно очень весело проводить время, но в эти дни я старалась никому не попадаться на глаза. Все на меня ворчали и сердились, точно я была виновата в том, что папа поддержал Каравелова, а не Стоилова.

В те дни я решительно невзлюбила царя, особенно, когда я заметила, что папа выглядит грустным и бледным. Он целовал мамину руку и говорил:

— Ты не беспокойся, все уладится.

За эти дни я услышала много новых слов: «лишение всех прав»,

«ссылка», «разжалование». Я записала эти слова, чтобы кого-нибудь спросить, что они значат, и спрятала их в карман моего передника.

В мае мы покинули Софию. Когда наша коляска, выезжала за ворота знакомого дома, слезы потекли из моих глаз. Адель тоже плакала, но Женья говорила:

— У Адели глаза на мокром месте. Я ее слезам не придаю значения.

Главное, что меня мучило,— это то, что мне придется оставить своего ослика.

Я распрощалась со своими подругами, с Зоей и ее сестрами, крепко пожала руку Словейко и сказала, что никогда его не забуду. Он тоже обещал не забывать меня.

Потом я пошла в конюшню, чтобы попрощаться с моим другом осликом. Я поцеловала его пушистую мягкую щечку и погладила его длинные уши. Этого он не любил. Я попросила старого турка не забывать кормить моего ослика. Он обещал, но я сомневалась. Что он сделает с моим другом? Я очень просила мою маму взять ослика с собой в Петербург, а она об этом и думать не хотела.

Расставание с осликом было первым горем в моей личной жизни.

Мы прожили несколько дней в черноморском порту Варне в ожидании парохода, который повезет нас через Черное море в Россию. В Варне было очень жарко. Мы там покупали очень вкусные черешни — желтые и розовые. Мне кажется, что таких вкусных черешен я никогда в жизни не ела, но дни в Варне были грустные. Все казались озабоченными. К нам приходили болгарские женщины, большинство из них тоже грустные. Они рассказывали маме, что их мужья были арестованы по распоряжению нового князя, Баттенберга. Не может ли папа им помочь? Но папа ничего не мог сделать.

Сестры все время шептались.

Поздно вечером нас водворили на обыкновенный пассажирский пароход, а не на военный, на котором мы приехали в Болгарию год тому назад.

12. Возвращаемся в Россию

Было жаркое лето, когда семья Домонтович вернулась из Болгарии в Россию.

После войны с Турцией, в глубине русского населения закипало глухое беспокойство, вспыхивали бунты крестьян, подымалось рабочее стачечное движение.

Идем Маркса и I Интернационала захватывали молодые умы России.

По внешности Россия была такой же, как мы ее оставили, уезжая в Болгарию, но если внимательнее присмотреться к тому, что у нас творилось, то можно было увидеть все расширяющиеся трещины в, казалось, незыблемом строе жизни семидесятых и начала восьмидесятых годов.

* * *

Как я уже сказала, в Петербурге было душно и жарко. Вернувшись из Болгарии, мы поселились в чужой квартире. Хозяином ее был полковник, находившийся еще в Болгарии. Комнат было много, но они годами не убирались. Всюду лежала пыль. Мебель была покрыта грязными чехлами. Солнце беспощадно обнаруживало пятна на стенах и на диванах и пыль на полу. В лампах не было керосина. Всюду стояли ящики и сундуки.

Мисс Годжон сердилась, если я спрашивала, когда мы будем распаковывать свои вещи. Я спала на жестком маленьком диване. Подушка ночью сползала на пол, и я не любила тухлый запах этого дивана. Все было непохоже на Болгарию, и мне хотелось назад в Софию. Здесь не было ни моего ослика, ни Словейко, ни моей подруги Зои.

Окна выходили на узкую серую улицу. Нигде ни деревца. Только дома да крыши. Что можно было делать в таком городе?

Сестры мои не жили с нами. Их послали жить к их настоящему отцу, Мравинскому. Я впервые поняла, что мои сестры не были мне родными, так как моя мать была вторично замужем, и мой папа был только Михаил Алексеевич, а не папа для моих сестер. Все это мне не нрави-

лось. Без сестер в доме было пусто и скучно. Нехорошо было и то, что мама все время чего-то ждала, и, когда мой отец приходил домой, они без конца ходили взад и вперед по комнате в обнимку. Никто не обращал на меня внимания. Говорили придушенными голосами, точно боялись, что я услышу, о чем они говорят.

По вечерам зажигали свечи, которые вставлялись в горлышко бутылки, так как подсвечников не было. Свечи горели тускло. Из кухни по полу наползали черные и бурые тараканы, которых я терпеть не могла.

Мне особенно запомнился один вечер.

Родителей не было дома. Свечка в зеленой бутылке почти догорела, но мисс Годжон не хотела заменить ее другой. Она сказала:

— Новые свечи стоят денег, а мы не знаем, насколько хватит наших сбережений из Болгарии. Сейчас каждая копейка дорога.

Что-то очень плохое может случиться, но никто не объяснял мне, что именно. На мои вопросы отвечали неизменно: «Ты еще слишком мала, чтобы это понять». Но я знала: это все потому, что царь недоволен моим папой за то, что народное собрание приняло папину конституцию, а не ту, которую хотели царь и Стоилов. Я доказывала мисс Годжон:

— Папа прав, а царь совершенно не прав. Он такой же, как и турки, несколько не лучше. Я его ненавижу.

Мисс Годжон махала руками:

— Не говори глупостей. Еще скажут, что это я тебя научила. За такие слова твоего папу могут посадить в тюрьму.

— Но ведь это не папа сказал, а я. Маленьких девочек в тюрьму не сажают.

Я решила: что бы с папой ни сделали, я пойду с ним и буду всегда с ним; чтобы облегчить себя, я выругала царя всеми ругательствами, которые могла вспомнить.

Я долго плакала ночью, намокшая подушка сползла на пол прямо на

тараканов. Я боялась ее поднять, чтобы тараканы не залезли ко мне на постель.

* * *

Однажды все переменилось. Позднее мне рассказывали, что рапортом моего отца военный министр Милютин был доволен, и отец продолжал работать в генеральном штабе, но «он остался под подозрением, как говорила мама, и нам надо быть очень осторожными в смысле знакомств и не болтать лишнего».

Мы переехали в свою квартиру на Екатерининском канале.

13. Женя и ее учительница

По возвращении из Болгарии сестра Женя решила, что она серьезно возьмется за уроки и подготовится к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, перескочив два класса гимназии, пропущенных ею, пока мы жили в Болгарии. Она твердо решила учиться пению и стать оперной певицей.

Моя мать требовала, чтобы мы все закончили среднее образование и были снабжены аттестатами на случай всяких неожиданностей в жизни.

Моя мать сомневалась, хватит ли у Жени характера засесть за учебу после веселого времени в Болгарии. Но она напрасно беспокоилась: у Жени был настойчивый характер. Она решила стать оперной певицей и для этого, чтобы играть разные роли, решила основательно изучить историю. Она засела за книги.

Сестра Адель одна вела жизнь барышень того времени, то есть ездила на балы в красивых легких платьях со шлейфом, кокетничала с молодыми людьми и вообще делала все то, что тогда называлось «выезжать в свет». Женя до позднего вечера сидела за своим школьным столиком и готовилась к экзаменам.

Иногда случалось, что моя мать вместе с Аделью уезжала на вечер или на бал,—тогда Женя закрывала свои книжки и шла в гостиную к роялю. Поиграв недолго, она подходила к одному из больших зеркал в гостиной и начинала петь арию из «Фауста» или из «Риголетто». Она не просто пела, она играла, и мне было интересно за ней следить. У

Жени был чудный голос, который не забывал никто, когда-либо ее слышавший: чистый, мелодичный, напоминающий звук виолончели. Иногда Женя обращалась ко мне и просила меня помочь ей в работе над ролью. Я должна была изображать Фауста в сцене в саду, для чего влезала на стул, чтобы Женя могла поднять свои руки и обнять меня за шею. Иногда я изображала шута Риголетто, а Женя садилась у моих ног и глядела на меня грустными глазами. Она даже целовала мне руку. Все это было очень весело, но мы никому не рассказывали о наших оперных занятиях.

Мама договорилась с учительницей, которая должна была помочь Жене подготовиться к экзаменам. Звали учительницу Мария Страхова. С первых же дней мамыны тетушки («черные вороны», как звала их Женя) невзлюбили учительницу. Они называли ее нигилисткой. Она одевалась в очень простые платья, носила толстые сапоги и гладко зачесывала волосы. Всем своим обликом Страхова отличалась от всех тех, кого я раньше видела. Ко мне она была всегда внимательна. Вместе с тем в ее манерах было что-то такое, что заставляло уважать ее и немножко бояться. Адель говорила:

— Страхова хочет показать, что она нас презирает.

Но Женя отвечала:

— Ничуть, просто она умнее всех нас и не может скрыть своего чувства превосходства.

Моя мать говорила про Страхову, что она хорошая, трудовая девушка:

— У нее была нелегкая жизнь и не следует придавать значение ее манерам и некрасивой прическе.

Отец же мой, который редко говорил с дамами, любил беседовать со Страховой и каждый раз, когда она оставалась обедать, он говорил с ней о Болгарии, о македонском вопросе, кригиковал вместе с ней Бисмарк и его стремление через немецких баронов втянуть Россию в политику Пруссии. Отец и Страхова обсуждали реформу земства. Иногда они спорили. В таких случаях мой отец говорил:

— Берегитесь, Мария Ивановна, у вас опасные мысли. Вас когда-нибудь заберут и сошлют.

Я думала: «Кто заберет? Кто сошлет?» И мне было жалко Марию Ивановну, которую Женя так полюбила. Я многого не понимала из разговоров моего отца с Марией Ивановной, но уважала ее за то, что она умела спорить с папой.

Однажды, когда моя мать и Адель уехали на вечер, Страхова решила посидеть вечером со мной и Женей. Это было ранней весной. Меня часто удивляло, почему вечера в Болгарии сразу делаются темными, и небо похоже на бархат, тогда как у нас в Петербурге — небо серое, и вечера долгие и бесцветные. Я решила спросить объяснения у Женю в тот вечер, когда Страхова осталась с нами. Я была уверена, что она даст мне объяснение, но Мария Ивановна только повернула ко мне голову и внимательно взгляделась в мое лицо.

— Вас, Шура, начинают занимать законы мироздания? Когда-нибудь я вам их объясню.

«Мироздание» было не все слово для меня. Оно мне понравилось: такое длинное и хорошо звучит. Я ждала терпеливо, когда же Страхова мне объяснит, что такое мироздание.

Однажды, когда мы сидели с Женей в комнате, где она училась и где на столе стоял глобус с маленькой серебряной луной, которая вертелась вокруг на тоненькой спирали, Страхова подозвала меня и сказала:

— Сейчас я объясню вам, Шура, самые первые законы мироздания.

Ее объяснения были более захватывающие даже, чем обычная сказка, и многое стало мне ясно. Я сказала это Марии Ивановне. Я хотела ее поцеловать за хорошие объяснения, но целоваться она не хотела.

* * *

Женя блестяще сдала свои экзамены, и ее учительница гордилась ею. Страхова пришла попрощаться со всеми нами.

— Осенью,— сказала она,— я надеюсь, что вы будете моей ученицей.

— Но,— отвечала я несколько разочарованно,— разве я не пойду в школу? Мама обещала мне, что я буду ходить в школу.

Мария Ивановна промолчала.

— А вы правда хотите в школу?— спросила Страхова.— Это было бы очень хорошо для вас. Такая замкнутая семейная атмосфера не хороша для одиноких детей. Вам будет полезно, Шура, познакомиться с другими детьми. Я поговорю с вашей мамой.

— Помогите мне,— просила я Страхову, и она обещала.

Но моя мать и слышать об этом не хотела:

— Шура легко простужается. Осенью посмотрим.

Шел год за годом, в школу меня мама не пустила, и я училась дома, под наблюдением Марии Ивановны. Ко мне приходили педагоги по разным предметам. Когда мне минуло шестнадцать лет, я сдала экзамен на аттестат зрелости и получила диплом учительницы.

Почему меня не послали в школу? Мне кажется, моя мать боялась, как бы я не заразилась опасными политическими идеями. Я слышала, как она об этом говорила со старыми тетушками.

— Эти опасные идеи,— говорили тетушки,— насыщают весь воздух. Многие девушки из хороших семей бросили свою семью и ушли «в народ». Они хотели поднять революцию и убить царя. Ужасные нравы. Надо все сделать, чтобы уберечь Шуриньку от таких ужасов.

Моя мать хотела как можно дольше сохранить меня под своим крылом и в то же время — чтобы я получила основательное образование. Одно время меня посылали в школу рисования, но меня несколько не заинтересовало срисовывание геометрических фигур и классического профиля Аполлона. Я больше интересовалась молодыми студентами и студентками, приходившими в школу. Таланта к рисованию у меня не было, хотя в Эрмитаж я любила ходить с Марией Ивановной, которая объясняла мне различные школы рисования, связанные с эпохой разви-

тия данной страны. Особенно интересовал меня Рембрандт и голландский народ, который так смело и дружно боролся против негодяев-католиков и Филиппа Второго Испанского...

Меня заставляли также учиться играть на рояле, но и эти уроки мне надоедали. Я любила музыку, только когда мама играла свои красивые вальсы, или Женя пела из опер. Когда же я играла сама, то нарочно, чтобы позлить учителя, брала фальшивые ноты.

Одно время я брала уроки танцев. Мне нравилось ходить на цыпочках перед зеркалом, и я иногда думала: «Если Женя будет оперной певицей, почему бы мне не стать балетной танцовщицей?»

Мисс Годжон сшила мне балетную юбочку из старых занавесок, и мне этот костюм очень нравился, но учиться танцам было скучно. Надо было считать: раз-два-три и помнить, как ставить ногу.

Мама с грустью говорила:

— Шуру ничего не интересует, кроме книг.

Одно время моя мать насильно отнимала у меня книги и прятала их.

Но если у меня отнимали книги, то никто не мог отнять у меня моего воображения. Я могла ходить часами из комнаты в комнату и сама себе рассказывать сказки и интересные истории. Только бы старые тетушки не приставали со своим: «Ходи осторожнее, чтобы не запутать мою шерсть», «Не толкай стол, ты опять пролила мою чашку кофе». Поскорее бы наступило лето, мы бы тогда уехали в Куузу. В усадьбе дедушки в Куузе я пользовалась свободой.

14. Царя убили

— Царя убили. Подлецы нигилисты бросили бомбу в его карету. Какое несчастье, убит царь-батюшка!

Так причитали тетушки. И во всем доме — испуг и уныние.

— Кто осмелился поднять руку на царя? Большого греха быть не может. Только эти мерзавцы, разбойники-студенты могли покушаться на

царя. Это все оттого, что студенты перестали верить в бога и слушаться властей. Их надо всех сослать и повешать.

Старушка-прислуга, закутанная в платок, пришла с другими новостями.

— Нет, царь не убит,— говорила она,— бог его спас, но он тяжело ранен. А подлецы, которые покушались, уже арестованы и отправлены в тюрьму.

С этой же новостью приехал к нам сильно взволнованный родственник моего отца, молодой офицер, и он утверждал, что вся вина на стороне студентов. У них такие вредные идеи. Они против монархизма, но чем станет Россия без самодержца?

Мне было интересно послушать, что говорят на кухне. Все столпились вокруг поварихи, которая доказывала: царя убили не студенты, а помещики, за то, что царь велел освободить крепостных.

— Я сама была крепостной,— говорила повариха,— и помню, как помещики злились.

Но горничная сказала:

— Какую же нам дали свободу? В моей крестьянской семье живется хуже, чем раньше. Плати налоги да налоги, и весь доход уходит тем же помещикам. Какая же это свобода?

Папян лакей Митрофан поддерживал горничную. Я спросила его:

— Значит, не студенты убили царя?— Меня беспокоила судьба студентов.

Митрофан объяснил:

— Студенты или другие — это неважно. Среди студентов много помещичьих сынков, но правда та, что крестьянам живется теперь не лучше, чем когда они были крепостными.

Было уже темно, а папы все еще не было дома. Мама волновалась. В те годы не было телефона и автомобилей, и нельзя было быстро добиться каких-либо новостей.

На улицах было много народа и толпы кричали: «Повесить убийщ!» По улицам разъезжали патрули полицейских и жандармов.

Поздно вечером вернулся отец. Он рассказал, что царь умер от ран.

Старушки-тетушки снова начали плакать и креститься. Меня послали спать, но я не могла уснуть. Столько было новых мыслей и впечатлений и во всем хотелось разобраться.

Царь умер. На другой день его сын, Александр III, был провозглашен царем России. Процесс против террористов, которые посмели поднять руку на царя, подходил к концу. По всей стране стелилась мрачная реакция.

Среди приговоренных к повешению была Софья Перовская, порвавшая со своей привилегированной семьей и примкнувшая к революции. Впервые в России женщину приговорили к повешению, и даже люди со старыми взглядами находили это решение слишком жестоким.

Моя мать в эти дни часто молилась за мать Софьи Перовской.

— Что бы Софья Перовская ни делала, она не должна была забывать о своей матери,— говорила мама,— это тоже преступление — доставлять такое горе своей матери. Раньше чем участвовать в злоумышлении против царя, она должна была поговорить с матерью.

Адель была целиком на стороне моей матери и осуждала Софию Перовскую, но Женя молчала. По ее лицу я видела, что ей жаль Софию. Женя часто говорила:

— Нельзя всегда поступать так, как этого хотят родные. Каждый должен сам найти свой путь в жизни.

За это я поцеловала Женю.

Мисс Годжон осуждала постановление суда о повешении:

— Это жестоко, в особенности в отношении женщины. Если бы она действительно совершила преступление—например, задушила бы своего собственного незаконного ребенка, это я еще поняла бы. Но ведь даже не она бросала бомбу. Она только участвовала в заговоре. Русские ужасно жестоки.

Суждение мисс Годжон задевало мой патриотизм.

— Русские несколько не более жестоки, чем англичане. Это вы огрублили голову красной королеве Марии Стюарт.

— Но это было очень давно,— ответила мисс Годжон. В те времена английский народ еще не был образованным.

На это я поспешила заявить:

— Когда все русские научатся читать и писать, тогда больше не будет жестокостей и тогда все будут счастливы.

Мисс Годжон меня прервала:

— Никогда не следует повторять чужих слов. Это ты слышала от учительницы Страховой, а в устах маленькой девочки это звучит смешно.

Мне не хотелось спорить с мисс Годжон, но по ночам я много думала о Софье Перовской. Тюрьма, в которой она сидит... не похожа ли на тюрьму в четвертом действии оперы «Фауст»? Может быть, и Перовскую спасет Фауст в последнюю минуту?..

Это был большой и тревожный день, когда участников покушения повели к месту казни. Их сопровождали жандармы и кочная полиция, народ стремился к Семеновской площади.

Женя сидела у рояля, но не пела и не играла. Я ее спросила:

— Ты не собираешься петь?

Женя ответила:

— Я не могу петь сегодня.

Мы с ней слышали, как мимо наших окон галопом пронеслась конная полиция, и Женя сказала:

— Они спешат на место казни.— Она опустила свое лицо на клавиши рояля, и я видела, что она беззвучно плачет. Я погладила ее по голове, так же как я это делала, когда избражала ее отца в «Риголетто».

Кто-то позвонил в передней. Я поспешила туда. Это была Мария Страхова, бледная, без очков... Она только успела сказать:

— Это свершилось!-- и тут же без чувств упала на пол.

15. Усадьба Кууза и ее обитатели

Усадьба Кууза, или, как ее звали по-фински, Куусан-хоби, принадлежала моему дедушке. Это была молочная ферма в глухих лесах Финляндии. Озера и зеленые луга, ржаные поля, орошенные канавками, куда стекали обильные дожди, а на горе — желтоватый дом в стиле

александровских времен: четыре белых колонны по фасаду, широкие ступени, ведущие в цветник, большой фруктовый сад, кончающийся быстрой речкой Каниллан. Речка шумно пробивала себе дорогу между гранитными скалами. На западе сад граничил с дедушкиной сосновой рощей. В роще масса птиц, белок и зайцев, летом много земляники, а белки скачут по кустам орешника.

Справа и слева от большого дома два маленьких домика; потолки в этих домах низкие, а изразцовые печи огромные. Зато зимой тут чудесно-тепло. На окнах горшки с геранью, на полу домодельные ковры. В этих флигелях обычно жили старые тетушки, и поэтому здесь всегда пахло табаком и камфарой.

В большом доме царил другой запах — запах сушеных розовых листьев: в саду росли кусты роз, их листочки летом сушили на рояли и на всех столах.

В большом доме потолки были высокие и комнаты большие, но особенно хорош был паркет. Дедушка умел выбрать лучшее дерево. И сделали паркет, как шахматный столик: желтые и черные шашки чередовались.

Мой дедушка был агентом по продаже леса. Его звали Александр Масалин. Он был сыном бедного крестьянина и пешком пришел в Петербург. Дедушка занялся экспортом финского леса в Петербург. То был период, когда Петербург быстро рос и обстраивался. Энергичному, волевому молодому человеку, каким был Масалин, нетрудно было найти пути к сбыту хорошего финского леса. Если судить по портрету масляными красками, который висел в куузском доме, — это был высокий, красивый юноша с светлыми волосами и большими голубыми глазами. Все выражение лица говорило о настойчивости и энергии. Он женился на русской девушке Крыловой. Она тоже была очень хороша со своими тонкими белыми руками, но в выражении ее глаз не было доброты, как у Масалина. Дворянского рода, она не могла примириться с тем, что вышла замуж за простого крестьянина и постоянно давала своему мужу чув-

ствовать, что он из простых. Но, по видимому, Масалин любил свою красивую жену. Это для нее он купил усадьбу Кууза и роскошно обставил ее, потратив на это скопленное им состояние. Дедушка умер молодым, и тогда выяснилось, что кроме долгов, он ничего не оставил. Перед моей матерью встал вопрос: либо продать Куузу и заплатить долги, либо взять на себя бремя хозяйничанья на куузовской молочной ферме и, заплатив долги, сохранить Куузу. Энергии и предприимчивости у матери было для этого достаточно.

Бабушка недолго оставалась вдовой после смерти Масалина. Она вышла замуж за русского помещика-дворянина и уехала куда-то на юг России. Это было еще в те годы, когда в России существовало крепостное право, и, если судить по рассказам разных наших тетушек, моя бабушка принадлежала к худшему типу помещицы-тиранки. В одной из комнат в Куузе висел ее портрет — в голубом платье, с высокой прической, на ручках кресла покоились ее ярко вырисованные красивые белые руки. Я не любила бабушки и ее белых рук.

Для меня Кууза была раем свободы. Каждый раз, когда мы подъезжали к ней и я видела знакомую вышку с золотым шаром наверху, сердце мое радостно билось.

«Здравствуй, Кууза!»

Первое, что делают обычно дети, приехав туда, где они жили раньше, — осматривают, все ли на месте, все ли так, как было в прошлое лето...

В доме, запертом на всю зиму, пахло по-особенному — завядшими розовыми листьями, деревом и застоявшимся теплым воздухом, прогретым весенним солнцем.

Прежде всего надо осмотреть весь дом. Весна, все окошки раскрыты, но в печках пылают березовые дрова, потрескивая и выбрасывая искры. Мимо столовой, где уже шумит самовар, я бегу в залу, там стоит моя любимая качалка. С этой качалкой надо поздороваться. Она будет моим развлечением и другом в многочисленные дождливые дни, пре-

вращаясь в моем воображении то в быстро несущийся поезд, то в корабль, плывущий в Америку. Я по дороге ее раскачиваю, чтобы услышать, попржнему ли она говорит «так-так, так-так», и глазу ее полированную спинку, чтобы она не обиделась, — ведь сегодня мне не до нее.

В столовой мне больше всего нравились старые часы колонкой. Если их завести, они играют грустные песни и веселые танцы, но сегодня мне и не до часов. Надо осмотреть весь дом.

В дедушкином кабинете здороваясь с картиной масляными красками, изображающей старика Авраама с огромной бородой, который собирается зарезать своего сына в угоду богу Саваофу, но в серых тучах появляется сам бог Саваоф и останавливает руку Авраама. Я считаю, что бог это сделал во-время, и Авраама не одобряю.

В дедушкином кабинете шкафы с книгами, много интересных детских журналов и книг с картинками. Сколько хороших часов проводила я в этой комнате и сколькому я научилась в библиотеке моего дедушки.

— Здравствуйтесь, книги! Я опять приехала и скоро вами займусь. Но сейчас мне некогда. Я хочу поздороваться еще с чердаком и садом.

По крутой лестнице взбираюсь на вышку. Знакомый вид во все стороны: озера, луга, роща, на горизонте шпиц финской церкви, а внизу вьется и журнит знакомая речка, в которой холодно будет купаться даже в жаркие дни.

Но меня уже ищут. По всему дому слышно, как зовут:

— Шура! Шура! Куда запропастилась эта несносная девчонка? Чай готов!

На столе, возле самовара, целая гора сладких свежих булочек, — только сегодня булочки меня не соблазняют. Я незаметно выскальзываю на балкон, а оттуда в сад. Раньше поздравляюсь с моими любимыми деревьями и речкой.

— Здравствуйтесь, друзья! Видите, я опять к вам приехала.

Что бы сказал дедушка Масални, если бы увидел, что его внучка заинтересовалась лесоэкспортом? Его, вероятно, удивило бы, если б он услышал, как его внучка часами ведет переговоры с основными лесоэкспортерами на мировой рынок.

Это было в начале 30-х годов, когда я только что была назначена посланником в Швецию. Советский Союз начал экспортировать свои лесные товары на мировой рынок и сразу столкнулся с жесточайшей конкуренцией шведов и финнов. Конкуренты были серьезно обеспокоены: советский лесоэкспорт по качеству не уступал их товарам и продавался по более нормальной цене, не повышенной искусственно в годы мировой депрессии. Шведские и финские экспортеры, наши конкуренты, пошли на нас торговой и политической войной. Какую только клевету ни возводили они на Советский Союз по поводу лесоэкспорта: демпинг, каторжный труд. Все средства были хороши, чтобы выбить лесной экспорт Союза с мирового рынка. Пока шла эта война с конкурентами, нечего было и думать об установлении нормальных дружеских отношений со Швецией. Газеты изо дня в день вели против Советского Союза злейшую клеветническую кампанию, враждебно настраивая всю шведскую и финскую общественность. Было ясно, что пока мы не разрешим лесной вопрос, работа в Швеции не даст результатов, не будут установлены дружественные отношения между странами. И я взялась за возложенную на меня задачу: добиться лесного соглашения. Я предпочитала иметь дело с секретарем шведского объединения лесоэкспортеров, Экманом, потому что, не в пример другим, он не терял времени за завтраками, в пустых разговорах о том, что русский язык трудный, что все русские удивительно талантливы в отношении изучения языков, а балет, виденный им в Москве, прекрасен. Нет, секретарь Экман был человек солидный и дело свое любил. Съев первый же бутерброд с икрой, он упирался в меня глазами и настойчи-

во спрашивал, что сказали русские лесоэкспортеры по поводу новой квоты на 1935 год, или сообщал: «Финны приняли нормы наших стандартов. Давайте договоримся сегодня же об основных пунктах нашего договора». Завтрак был забыт, и деловые разговоры тянулись по нескольку часов.

Однажды после длинной беседы с Экманом, во время которой он незаметно для себя съел полбанки икры, запивая ее русской водкой, я решила ехать в Ленинград, чтобы получить указания от товарища Кирова по вопросу лесного соглашения. Товарищ Киров сказал мне, что мы не заинтересованы выбросить большое количество леса на мировой рынок, так как это означало бы хищническое хозяйничанье в наших лесах; для нас важнее договариваться не о повышении вывозимых Союзом стандартов и не об установлении высокой квоты емкости лесного рынка на 1935 год, а об установлении точной и реальной цифры экспорта трех лесоэкспортирующих стран. Мы будем давать самые высококачественные товары — это принцип Союза.

— Мы добьемся первенства на мировом рынке благодаря высокому качеству советских материалов, — сказал товарищ Киров. — Держите меня в курсе ваших переговоров.

И я ушла из Смольного окрыленная. Это было весной 1934 года.

После свидания с товарищем Кировым переговоры о лесном соглашении пошли много веселее. Осенью 1935 года соглашение было заключено, хотя и в несколько другой форме, чем мы задумали вначале. К тому времени мировая конъюнктура изменилась, лесное соглашение перестало быть таким значительным фактором в наших отношениях с северными странами. Другие задачи стояли теперь перед советским полпредом, Швеция сама искала сближения со своим великим соседом. Но вернемся к моему детству.

В Куузе моя мать занималась молочной фермой, а домашнее хозяйство вела Лизавета Ивановна, старая барышня бабушкин друг. Высокая,

с живыми черными глазами, в молодости она была недурна собой, но, бесприданница, замуж не вышла и всю свою жизнь прожила как подруга бабушки. Бабушку она иначе как благодетельницей не называла.

Лизавета Ивановна несла всю немалую работу по домашнему хозяйству, но никогда никакой платы не получала. Считалось достаточным, что она получает кров, харчи и старые платья бабушки или моей матери. Сама Лизавета Ивановна и все в доме говорили, что хотя она и бедная, но из дворянской семьи, и прислуга должна звать ее барышней. Она любила и умела рассказывать разные увлекательные истории про стародавнюю быль. Бывало, садилась в кресло около скана, чтобы оттуда видеть все, что делается на дворе, и в случае надобности открыть форточку и крикнуть: «Маша, неси молоко в ледник», «Митрофан, пора стол накрывать», «Кто это унес ведро, которое должно висеть на бочке? Позови сюда Прошку. Это он опять пошел ловить раков. Пусть возьмет старое ведро, а не новое», — и все в таком роде. Я усаживалась в другом кресле, напротив Лизаветы Ивановны, и старалась быть тише мыши. Она вязала чулок. Занятие это было серьезным, ее нельзя было перебивать, иначе она непременно скажет:

— Я плохой рассказчик для маленьких девочек. Пойди-ка лучше в сад, Шуринька...

Но я знала ее фокусы... Закончив подсчет петель, Лизавета Ивановна начинала тихим голлссом, не подымая глаз от вязанья:

— Это было давно, во время Крымской войны. Твоя бабушка была уж вторично замужем, и жили мы в то время близ города Переяславля...

Рассказы всегда были волнующими: о том, как Лизавета Ивановна с бабушкой ехали зимой на тройке в лесу, потеряли дорогу и попали в таинственную избушку к страшным мужикам с топорами. Это, очевидно, были или лесорубы или беглые крепостные. То Лизавета Ивановна рассказывала о бунтах крепостных

крестьян, о том, как их после бунтов забивали кнутами до смерти. По словам Лизаветы Ивачовны, второй муж моей бабушки был жестоким помещиком, да и сама бабушка не лучше. У нее была крепостная девушка—птичница Дуня—очень хорошенькая, высокая, стройная, с розовыми щеками. «Однажды мы неожиданно рано вернулись из гостей. Бабушка сразу прошла в спальню своего мужа. Что же ты думаешь? В кровати ее мужа лежала Дуня. Она страшно испугалась, увидев бабушку, бросилась перед ней на колени, но бабушка не стала слушать никаких объяснений, ударила Дуню в живот так, что та упала, таскала ее за волосы, била по щекам. И послала бедную Дуню на конюшню, чтобы ее там избивали кнутами. Дуня вскоре умерла».

Лизанька удивилась: почему, выслушав рассказ, я не расспрашиваю, как обычно, подробностей. А я вся похолодела. Откуда берутся такие ведьмы, как бабушка?

— Я ее ненавижу,— сказала я,— ненавижу всех, кто был несправедлив к крепостным.

Лизанька смугилась, поняв, что рассказала лишнее.

— Не говори глупостей,— строго остановила она меня. Но я ее уже не слушала. Я была полна гнева и возмущения. Молча слезла я с кресла и побежала в комнату брата, где в углу всегда стоял большой хлыст. Я схватила хлыст, побежала в гостиную, там висел портрет бабушки масляными красками, и бесшумно встала на стул перед портретом.

— Ведьма!— сказала я совершенно серьезно бабушке.—Злая ведьма! Я бы с удовольствием убила тебя за то, что ты убила Дуню.

И начала хлыстом бить портрет. Кусочки краски полетели на пол, а я сама чуть не слетела со стула.

16. Финские торпари

Кууза под руководством моей матери стала давать доход, и жилось в ней хорошо. Еды, простой, деревенской, свежей и здоровой, было много. Чего давали мало—так это са-

хару и конфет. Сахар был обложен пошлиной и считался в Финляндии роскошью. Не только я, но и мои старшие сестры никогда не получали на руки деньги. Моя мать говорила:

— Девочки имеют все, что им нужно. Нечего приучаться сорить деньгами!—И добавляла:— Хорошо приучить молодых девушек чего-нибудь желать. Надо уметь желать, это помогает в жизни. Впрочем, никогда не советую вам желать достать луну с неба.

Да, в Куузе жилось хорошо... Но стоило только выйти за крепкие ворота усадьбы, чтобы увидеть, что жизнь не была такой благополучной, как считали ее обитатели. За парком усадьбы были разбросаны финские избушки, серые и нищенские, с отверстием в потолке вместо труб. Вдоль стен стояло обычно несколько скамеек и стол. Крестьянин, у которого была корова, считался богачом и счастливцем. Дети ходили босиком даже в зимнюю стужу, белья ни у кого не было. Сорокалетние люди выглядели стариками. Еда финских крестьян состояла из черного хлеба и соленой рыбы. Земледельческие работы на каменистой почве были тяжелы, и земля не принадлежала крестьянам. По закону, в Финляндии не было крепостных, но эти безземельные крестьяне жили по существу в экономическом рабстве у помещика или богатого крестьянина. Когда я вспоминаю их, я понимаю, что именно эти впечатления детства заставили меня с особенной болью понять, что такое социальная несправедливость. Они не прошли бесследно в моей жизни: в свое время я написала книгу о жизни финских рабочих и безземельных крестьян-торпарей. Крестьянские ребята часто приходили в усадьбу продавать ягоды, орехи или грибы. Весной они приносили маленькие букетики фиалок без запаха, иногда они приносили в платке зайца, пойманного во ржи. Я обычно выплакивала медяки у Лизаветы Ивановны, чтобы купить у них зайца или молодую сову. Приходили ребята всегда гурьбой, садились на ступеньки террасы и терпеливо ждали, когда у

них купят их товар. Платили им, конечно, сколько вздумается, и дети не торговались, а благодарили за любую монету. Иногда я видела, что они ожидали лучшей платы.

Играть в фантастические игры ребята не умели. Особенно не удавались игры, где надо было драться по-настоящему.

— Ударьте же меня, — уговаривала я их, — бьете же вы друг друга, а я ведь злой разбойник, измена надо бить...

Дети были голодны, я пробовала приглашать их на террасу и угощать молоком, но это мне было запрещено не только Лизаветой Ивановной, но и мамой. Кухарки тоже отказывались давать детям свежие булочки и выбрасывали старые объедки хлеба.

Тогда я решила сама делать запасы булочек и другой вкусной еды, чтобы раздавать моим приятелям. Дети с удовольствием брали у меня булочки и леденцы. Я угощала их вареными раками и кусочками холодного мяса, которое не съедала за обедом, а прятала в свой карман. Так как не всегда мне удавалось отдавать свои запасы в тот же день, я решила устроить склад на чердаке: куски хлеба, жареных цыплят, красные вареные раки, куски сахара, свежие булочки складывались в определенном потаенном месте. А по вечерам я встречалась в саду с ребятами. Они ждали меня с нетерпением и улыбались мне навстречу. Сахар и леденцы они съедали тут же, раков просто не брали, остальное же складывали в свои платочки и шапочки и спешно уходили по пыльной дороге в деревню.

Вначале дети все принимали без замечаний, но постепенно они стали выражать свои пожелания.

— Этого ты не приноси, — говорили они. — Это нам не нужно. Главное — хлеб, даже если он черствый. Это вкуснее, чем раки.

Скоро стало мне трудно делать свои запасы. Весть о том, что я снабжаю детей хлебом, распространилась и по другим деревням. Детей стало приходиться так много, что мне

уже не хватало продуктов. Надо было изобрести новые источники провианта. Я обратилась к старой птичнице Елене, полуслепой старушке, которая носила красивые вышитые финские национальные костюмы. Она кормила цыплят и уток, и ей отдавали все остатки хлеба и картофеля. С ней, после долгих дипломатических подходов, я договорилась, что она будет уделять из корма мне корки черного хлеба и холодный картофель. Ее почему-то не удивила моя просьба, и она обещала давать мне часть своего провианта. Но и этой помощи было мало. Часто мне приходилось просить и умолять ее увеличить порции.

Пришлось перестать есть булочки с изюмом, которые я особенно любила, но их также было недостаточно, а ребят приходило все больше.

Однажды с детьми пришла взрослая крестьянка и принесла с собой большую корзину. Она сказала, что тоже хочет получить свою часть провизии.

— Разве ты такая голодная? — спросила я ее.

Крестьянка посмотрела на меня с неодобрением. Нет, она сама-то не голодная, но ее дочка Анна-Стина ушла на поле, помогать отцу, и поэтому пришлось ей самой притти за полагающейся порцией хлеба. Надо же было пригостить корм свинье.

— Свинье? Какой свинье?

Крестьянка тут же мне объяснила. Оказалось, что запасы хлеба и картофеля, а также сладкие булочки с изюмом, которыми я снабжала детей финских торпарей, шли на корм свиньям. Для крестьян свинья была главное.

Но я была потрясена. Так вот для кого я отказывала себе в сладких булочках! И только позднее я поняла всю глубину бедности, такой нищеты, когда полуголодные дети отказывались от еды или лакомства, чтобы был корм свинье. Свинья была главное. Я поняла также, что крошки хлеба не могли спасти крестьянских детей. Надо придумать что-то более серьезное, если хочешь им помочь.

17. Надо мечтать

Я была мечтательницей. Кууза была, конечно, раем для маленькой девочки, а я мечтала о жизни, не похожей на счастливые дни в Куузе с ее обильными обедами и завтраками, веселыми пикниками в лесу, игрою в крокет по вечерам, сплетнями старых тетушек и слезами молодой подгорничной, которую только что несправедливо выругали.

«Где-нибудь на свете,— думала я,— есть и другая жизнь, не похожая на нашу».

Мне хотелось больше неожиданных событий: как это было в Болгарии. К тому же я была одинока,— подруга Зоя в Туркестане и придет только зимой. И я сочиняла невероятные события: вот я каким-то особым подвигом спасаю бедных болгар от турок или спасаю белого человека от негритянского племени ашанти, которое собирается сварить в котле известного исследователя Африки.

В Куузе как-то был пожар. Мне нравились пожарные. Я думала, что это самые лучшие люди на свете, так как они постоянно рискуют жизнью ради других. В своих грезах я любила воображать горящий дом, в котором много маленьких детей. Я взбираюсь по спасательной пожарной лестнице до самого верха, выношу из пламени детей и передаю их в руки матерей. Иногда я спасала куузовскую усадьбу от разбойников. Я обращалась с речью к разбойникам и уговаривала их не убивать никого в доме и не искать денег или драгоценностей: «В Куузе ни у кого нет драгоценностей, только серебряные ложки, а это я вам могу и сама отдать». И своей убедительной речью я заставляю разбойников удовольствоваться одними серебряными ложками. Конечно, эти разбойники больше похожи на Дубровского из пушкинской повести. Они не любят богатых людей, но ведь и я богатых не люблю. Поэтому мы очень хорошо понимаем друг друга. Я дарю разбойникам свои коралловые бусы, и они уезжают на красивых лошадях...

Эта детская способность мечтать помогала мне во всей жизни: я видела не только то, что было в действительности, но и легко могла представить, как могло бы быть, если бы изменить жизнь. Эта способность мечтать помогала мне заглядывать в будущее, когда только лишь начинало строиться наше советское государство. Я могу о себе сказать, что жила интенсивно, что по натуре и по убеждениям своим была очень деятельна и широко и жадно брала жизнь, а своим воображением я эту жизнь делала еще интереснее.

Это было в январе 1918 года, месяца три спустя после Октябрьской революции, после взятия власти Советами. Ленин стоял во главе нашего государства и нашей партии, и его любимый ученик, помощник и друг, Сталин, страстно и настойчиво помогал ему. Я вижу, как молодой Сталин, с темными волосами, стройный и гибкий, в своей темной русской рубашке, подпоясанной ремешком, легкой и красивой походкой спешит по длинному коридору Смольного, разыскивая Ленина или направляясь в военно-революционный комитет. Я не помню в те дни Сталина нервным или возбужденным,— спокойный и неторопливый, он на окружающих действовал так, как действует капитан на пассажиров во время бури,— опытный капитан, знающий, что его корабль придет невредимым к пристани. А время было трудное, полное угроз для молодой советской республики.

Хотя Сталин и принадлежал к более молодому поколению, Ленин любил, чтобы именно он был поближе к нему, и часто с ним совещался. Во время заседаний Совета народных комиссаров Ленин не любил, когда комиссары затягивали свои речи.

— Говорите короче: время дорого,— обрывал он нас.

Но если Сталин просил слова, Ленин откладывал в сторону бумаги или документы, которые рассматривал во время заседания, и приготавливался внимательно слушать Сталина.

Сталин, всегда сдержанный и про-

стой, проводил намеченные решения с настойчивостью, которая свидетельствовала о воле, не знающей препятствий. Он творил действительность, претворял в жизнь великие решения, и Ленин даже поздней ночью, после всех заседаний, вызывал к себе Сталина и советовался с ним по самым сложным вопросам.

Это были горячие и решительные месяцы нашей революции. До победы было еще далеко. Мы были голодны, редкую ночь удавалось выспаться, сколько было трудностей, опасностей. Но мы работали со страстью, мы торопились строить новую советскую жизнь. Мы чувствовали, что все, что делаем сегодня, нужно обязательно — сегодня, пусть вчерне, — завтра будет поздно, завтра предстоят новые задачи. И мы закладывали фундамент новых экономических отношений, и новые аппараты государственной власти должны были охватить по-новому жизнь миллионных масс огромной страны.

Я была в числе народных комиссаров как комиссар государственного призрения, ныне социального обеспечения; первая женщина-народный комиссар в нашей стране.

Среди законов, которые были изданы советской властью в первые недели существования республики, был декрет об охране и обеспечении материнства. Годами я боролась за эту идею. Я писала книги, выступала с лекциями; моя мысль была: каждой женщине должна быть дана возможность совмещать свою работу и материнство. Материнство не частное дело — это социальная обязанность, поэтому государство должно обеспечить мать и ребенка, будь этот ребенок рожден в свободном или юридически оформленном браке. Все это можно провести только в новом мире, в социалистической стране. Так я писала в книгах. И вот настала пора — мои мечты, запросы и требования стали практическими задачами и легли в основу законов охраны и обеспечения материнства и детства, которые приняты советской властью. Я была счастлива:

мечта становилась действительностью!

* * *

Было нелегко женщине, не подготовленной к государственной работе, взять на себя ответственность управления комиссариатом государственного призрения. Комиссариат этот совмещал в те годы самые разнообразные функции: забота об инвалидах войны, выплата всякого рода пенсий, убежища для слепых, богадельни для стариков, разбросанные по всей России, лечебницы для душевнобольных, протезные мастерские, в которых была огромная нужда после войны, приюты для внебрачных детей, карточная фабрика, бывшая монополией государства.

Меня очень занимал дом для подкидышей. Этот дом был основан в Петербурге Екатериной II, по французскому образцу. Когда младенца приносили в приют и передавали через секретное окошечко, ребенок навсегда терял связь с матерью и даже свое имя. Младенцу надевали номер, с которым он позднее и выпускался в жизнь.

Могли ли мы терпеть такое учреждение? Советский Союз издал ряд декретов, охранявших мать и ребенка, но практической помощью мы еще не успели обеспечить матерей. А жизнь со всех сторон напирала на меня, нельзя было терять времени. Гжедневно в зале ожидания меня обступали десятки, сотни молодых матерей с младенцами на руках, ожидавших моей помощи. Они требовали практической помощи от своего правительства. «Наша власть, — говорили они, — она нам и поможет».

«Вы, большевики, обещали позаботиться о нас и наших детях. Вы говорили, что женщина, ожидающая ребенка вне брака, найдет приют и помощь, вы обещали снабдить детей молоком. Где приюты для матерей? Где молоко для младенцев?»

Бледные, голодные женщины осаждали комиссариат.

Сколько мы ни объясняли, что новую жизнь не построишь в три месяца, женщины и слушать не хотели.

Нужду и голод не отведешь логикой.

Матрос или красногвардеец, в полном вооружении, с браунингом за поясом, расталкивая народ, врывается в приемную, требуя свидания со мной. Если его останавливала моя охрана, он крепко ругался и заявлял: «Не будь ослом. Наши комиссары не прежние министры, всякий человек имеет к ним доступ». Пробравшись в кабинет, он громко доказывал мне, что идет на фронт сражаться за советскую власть, в Петербурге остается любимая девушка — хорошая девушка, крепкая, боевая. Она рядом с ним сражалась на фронте. Она ждет ребенка. Что будет с ребенком, когда он уедет? «Говарийш Коллонтай, возьмите ее в дом матери и ребеночка, тогда я со спокойной душой буду бить белых».

А домов таких у нас еще не было. Мы только приступили к их организации. Надо было спешить.

Мы решили большое старое здание дома для подкидышей переделать в настоящий дворец материнства и младенчества и тут же приняться за организацию таких же домов в провинции.

Перестройка старого екатерининского здания пошла быстро. Нам помог профсоюз строительных рабочих. Но тут мы столкнулись с контрреволюцией...

Комиссариату госпризнания, больше чем другим учреждениям в стране, приходилось иметь дело с насущными нуждами населения. С утра ко мне вламывалась депутация нянь из Дома подкидышей.

«Который день нет молока для младенцев!» «Где же конденсированное молоко, которое несколько дней тому назад мы отправили в склад дома?» Исчезло. Назначают комиссию для расследования. Выясняется, что запасы молока переданы в личное распоряжение заведующей домом, старой графине, а она его припрятала для себя.

Приходит депутация от стариков из богаделен. Перестали топить. Дрова исчезли. Старики умирают от воспаления легких. Мы спешим разобрататься, в чем дело. Оказывается,

просто старый заведующий хозяйством в богадельне разворовал дровяной склад. Виновных наказали, но новый запас дров не так-то легко найти в момент гражданской войны и саботажа.

Из детских приютов исчезла обувь, а на рынках появилось большое количество детской обуви.

С этой тучей мелких и крупных воров, саботажников, а по сути дела контрреволюционеров, приходилось бороться ежедневно, ежечасно. Иногда можно было впасть в отчаяние, если бы не вера в государство рабочих и крестьян, не большевистская закалка и энергия. Своре негодяев противостояли наши люди. Помню, как однажды откуда-то с юга, из приюта для слепых детей, к нам зывали о немедленной присылке денег. Почта не работала, банки закрыты, транспорт и сокращен и затруднен гражданской войной. Но деньги были нужны. Нельзя было допустить, чтобы приют для слепых детей распался. Вызвалась ехать молодая девушка. Наполнили простой мучной мешок двумя миллионами ассигнаций, дали Клавдии охрану — матроса с браунингом. И делегация уехала.

Прошло несколько недель. Делегация добралась до места назначения, приют получил необходимые деньги. Но на обратном пути обоих перехватили белые и расстреляли.

В Доме для подкидышей на Мойке вредительство принимало все более агрессивные формы. Дом этот был большим учреждением, с чиновниками, священниками, старыми нянями; во главе его стояла графиня. Она ненавидела большевиков, она возмущалась тем, что большевики хотят, чтобы младенцы, рожденные в «честном» браке, лежали рядом с детьми, родившимися без соизволения священника, она ненавидела девушек, родивших детей вне брака. Графиня делала все, чтобы затруднить нашу работу, и исподволь подготавливала свою месть.

Была холодная зимняя ночь. Конец января 1918 года. Первая зима Великой революции.

Мне пришлось поехать в Смоль-

ный на заседание Совета народных комиссаров. Вести были нерадостны. Германская армия продвигалась на юго-западе. Гражданский фронт был недостаточно устойчив, Красная Армия не сформирована. А буржуазия не думала сдаваться — напротив, предсказывала скорую гибель советской власти. Моему комиссариату, наряду с другими, немало доставалось от буржуазных «витий». Меня, в частности, обвиняли в том, что я старых опытных чиновников заменяю кухарками и рабочими.

В эту ночь председатель Совета народных комиссаров, Ленин, казался особенно озабоченным. Он не шутил, как делал это обыкновенно. Когда мы разошлись глубокой ночью, он остался один со своим секретарем — проверить исполнение протокола. Я ушла с заседания более удрученной, чем обычно. Все мы были голодны, мы устали и в комиссариате трудности, препятствия.

В пустых, темных улицах — выстрелы, один, другой. На выстрелы отвечал наш пулемет. Еще далеко до победы.

Я, мой сын и приятельница Зоя жили в скромной небольшой квартире на пятом этаже.

Я поднималась на пятый этаж с чувством непосильного бремени. Я думала о том, есть ли дома хоть кусок хлеба. Запасов не было. Я знала также, что в комнате будет очень холодно. Я невольно думала о тех годах, когда я не была комиссаром, когда рядовым работником посылалась партией по всем странам и горячо агитировала за грядущую революцию. Революция совершилась — значит, мужество, мужество без предела! Не важно, что в комнате холодно и что в шкафу даже, быть может, и хлеба нет. Но Зоя позаботилась обо мне. На столе шумел самовар, лежало несколько кусочков сахара и даже булка — торжество!

Завтра будет большой день. Завтра весь персонал Дворца матери и младенца, во главе с неутомимым доктором Королевым, займет переоборудованное здание.

Утром я была в нем и радовалась, что комнаты большие, светлые, и для

начала достаточно детских кроваток! Многого нехватало, но все-таки мы можем открыть дверь для всех ожидающих матерей по длинному списку, который лежит на моем столе. Вдруг телефонный звонок. Зоя взяла трубку. «Пожар? Где? Дворец горит».

Это сообщал доктор Королев, требуя, чтобы я немедленно выехала. Звоню в комиссариат по морским делам: «Выезжайте немедленно с отрядом матросов».

Опять едем по пустынным улицам. Патрулируют красногвардейцы с красной повязкой на руках. На небе красное зарево. Значит, пожар действительно большой. Мне холодно не столько от мороза, сколько от волнения и возмущения. Дворец горит! Сколько в него вложено труда рабочих, и как он сейчас нужен!

Когда мы подъехали к дому, пожар успел охватить все здание. Пожарные и сотрудники энергично боролись с пламенем, им начал помогать приехавший отряд моряков. Спасем или не спасем? Доктор Королев сомневался. Странно было то, что пожар охватил среднюю часть здания, именно ту, которую мы подготовили для приема матерей с младенцами. Наши лаборатории, ясли, библиотека — все горело, а оба примыкающих крыла, где жила сама графиня и куда мы временно переместили детей и нянь из воспитательного дома, не горели.

Один из сотрудников, задыхаясь от дыма, прокричал мне: «Пожар начался в разных частях здания, вот что странно! Это дело рук врагов, не иначе».

Доктор Королев повел нас к безопасному ходу, в ту часть здания, куда мы было перенесли детей.

И тут, в клубах дыма, появилась странная процессия. Человек тридцать нянь, раскосмаченные, страшные, с криками и ругательствами, спускались с лестницы, неся на руках младенцев. «Зачем вы спускаетесь сюда? Эта часть дома единственно надежная. Ступайте назад в свои комнаты!» — кричал Королев. Но, няни, во главе со своей старшей, неистово ругались, окружили меня тес-

ным кольцом: «Вот она Коллонтай, кровожадная большевичка! Это она подожгла наш дом. Она хотела сжечь нас с малыми детьми заживо, погубить христианские души! Комиссары зарятся на наш паек».

Мои уговоры не помогали. В комнате стоял сплошной крик истерических баб: «Не слушайте Коллонтай, она антихрист! Это по ее приказу убрали иконы. Воспитательный дом она хочет обратить в публичный дом». Одна из нянь схватила меня за горло и начала душить. Матросы и пожарные вмешались в возникшую драку и почти силой увели женщин в уцелевшую часть дома. Один из матросов доложил: «Все в порядке, товарищ комиссар. Дети и няни в безопасности». В этот момент я вспомнила, как маленькая девочка Шура, гуляя по дедушкиной усадьбе, мечтала о том, что спасет маленьких детей из горящего дома. Но как не похожи были детские грезы на действительность!

Расследование причин пожара быстро обнаружило злостный поджог.

18. Дедушкина библиотека

Назад в мое детство, в Куузу:

Во втором этаже дедушкиной усадьбы находилась библиотека, большая комната, окнами выходившая в сад. В жаркие солнечные дни здесь было всегда прохладно. Вдоль стен стояли книжные шкафы со стеклянными дверцами, и в них масса книг. Самые разнообразные книги и на разных языках. Классики: Корнель и Расин, Мольер, Тенисен и Байрон, Шиллер и Гёте. Русские классики в сереньких переплетах: Пушкин и Гоголь. На нижней полке более современная литература: недавно умерший Тургенев, нарядные издания русской поэзии под названием «Родные отголоски». Особенно любила я большую, тяжелую книгу русских былин.

Один из библиотечных шкафов занят русскими ежемесячными журналами, там стояли «Отечественные записки» и другие журналы. Но этот шкаф я полюбила позднее.

Любимым моим изданием был альбом гравюр «Вокруг света». Перелистывая его, мне казалось, что я действительно путешествую по Парижу и Китаю, взбираюсь на альпийские горы, переплываю океаны. Океан я в моей жизни переплыла шесть раз и, когда впервые увидела статую Свободы, вспомнила дедушкину библиотеку и альбом с гравюрами. Дедушкина библиотека была полна сокровищ. Именно здесь я прочла первый роман, который произвел на меня глубокое впечатление. Одно название чего стоило: «Ожерелье, или рибомоны белые и черные».

Я опоздала к чаю и обеду; мне досталось за это, но как я могла оторваться от рассказа, где два любящих сердца были разлучены католиками и герцогом Гизом. Я ненавидела Гиза и королеву Катерину Медичи за то, что они вероломно убили такого гордого честного человека, как адмирал Колинчи, боровшегося за протестантов и за свободу веры. Я полюбила героя романа Беранже за то, что он так мужественно боролся вместе с протестантами; я немножко ревновала его к его жене, и горько плакала, когда по роману выходило, что католики убили его в Варфоломеевскую ночь. Я решила стать протестанткой.

Много раз подряд читала я описание Варфоломеевской ночи и все крепче и крепче ненавидела партию гизов. Чем язычники хуже христиан? И какое право имеют католики считать, что только их религия угодна богу?

Много раз под ряд прочитала я «Ожерелье», и мне казалось, что я познакомилась с живыми людьми. И когда, уезжая на зиму в Петербург, я прощалась с книгой и ее героем, я дала торжественное обещание защищать веротерпимость. Слезы капали на замусоленные мною страницы «Ожерелья», и я аккуратно сложила все разрозненные части романа, поцеловав последнюю страницу. Потом я заперла дедушкин шкаф и ушла из библиотеки, на этот раз оставив в ней свое детство.

(Продолжение следует)

Дело чести

Р о м а н

ГЛАВА I

Все лето было насыщено пылью. Порой доходило до того, что люди надевали противогазы. Пыль в лагере обволакивала все. Она была в пище, на тарелках и мисках, на одежде... везде. На койках вечером, ночью, весь день. Во рту весь день и всю ночь. В воде. На поверхности всего, что имеет поверхность. Пыль стала синонимом летнего зноя; грязь на лице и теле отождествлялась с жарой. Казалось, что если смыть с себя всю эту пыль и надеть свежее платье, станет прохладно, несмотря на жару и духоту.

А кроме пыли, были еще пот и мухи, сырые ночи и холодные утра. Пот и мухи тоже стали синонимами, как пыль и духота. Стоит избавиться от мух, думали вы, и не будешь потеть. Чувствовать на лице влажное тесто из пота и пыли было очень противно. А раздражавшее спину ощущение мокрой пыльной рубашки не покидало вас, даже когда вы снимали рубашку.

Если же вам удавалось забыться и уйти от пыли, пота и мух, появлялись итальянские самолеты. Они всегда прилетали под утро, в начале второго, когда всходила луна. Сон, нарушенный налетом в эту пору, был подобен вдоху, который тянешь и тянешь и не можешь выдохнуть. Только сладко заснешь, и вдруг — налет. Оставаться в постели нельзя, так как сейчас посыплются зажигалки, и приходится лезть в щель. А когда возвращаешься на койку, то приносишь из щели еще больше пыли и грязи.

В то лето первая скрипка принадлежала итальянцам. События начались, когда командование принял Грациани. Он пустил в ход бипланы «КР-42», вооруженные пушкой с бронебойными снарядами против бронетанковых частей.

Задача подстергать и перехватывать «КР-42» была возложена одно время на истребители «Гладиатор», но это было безнадежное дело. «КР-42» обычно оставались невидимы, а если случайно и попадались вам, то были слишком близко к своим базам, а вы слишком далеко от своей, чтобы их преследовать. И настоящих сражений быть не могло, так как итальянцы имели приказ уходить после первой атаки. Это было очень разумно, хотя и подрывало их дух, поскольку им приходилось каждый раз обращаться в бегство. Ничего мудреного, если они всегда неважно держались в воздушных боях.

Иногда «Гладиаторы» с бреющего полета обстреливали итальянские позиции и скопления войск. Итальянцы строили дорогу между Сиди-Баррани и Мерса-Матрух. Дорога шла прямым ходом на протяжении двадцати миль. Два раза «Гладиаторы» вылетали обстреливать саперов, занятых на постройке. Несколько человек было убито, но это замедлило работы только на некоторое время.

А потом наступило такое затишье, что «Гладиаторы», один за другим, отправлялись в Гелиополис на разборку и проверку моторов. Пилот летел в Гелиополис и, пока его самолет был в ремонте, проводил два-три дня в отпуску в Каире; затем

возвращался в эскадрилью. Так обстояло дело в конце октября, когда итальянцы вторглись в Грецию.

Так как большинство самолетов восьмидесятой эскадрильи находилось в Гелиополисе, она получила приказ отправиться в Афины.

ГЛАВА 2

— Остановимся на двенадцати тысячах? — спросил молодой летчик.

— Да, примерно так, — кивнул Джон Квейль. — Греки уверяют, что заметили их на высоте десяти тысяч. Но наверное знать нельзя.

По зеленой смеси травы и грязи они прошли к самолетам в конце аэродрома.

— Держись вплотную за Гореллем, Тэп. Не позволяй ему увлекаться охотой.

— Ладно.

— И сам не увлекайся.

— Ладно, — еще раз сказал Тэп — Ты думаешь, у них есть истребители?

— Насколько мне известно, нет. Сюда они во всяком случае не долетят.

— Не знаю, Джон. Когда мы покидали Египет, у итальянцев появились эти новые «Ф-5».

Тэп задернул «молнию» на комбинезоне и начал натягивать тонкие перчатки, обтрепавшиеся и лопнувшие по швам.

— У них тоже небольшой радиус действия. Но, если они покажутся, постарайся прикрыть Горелля.

— Не нравится мне плестись в хвосте. Ты мог бы сам замыкать звено. — сказал Тэп.

— Привыкнешь. Ты только поглядывай назад. Следи, нет ли погони, это — твое дело. И смотри, чтобы Горелль не отставал от меня. Если не появятся истребители, он справится отлично.

— Ладно, только не делай слишком крутых виражей. Я не могу сохранять высоту, если иду в хвосте, а равняться должен на тебя.

— Хорошо. Присматривай же за Гореллем.

Летчики расстались. Квейль направился к самолету, который подкатывал по ветру к краю площадки. Он поднял руку, в которой держал

шлем. Самолет подрулил к нему. Сидевший в кабине молодой летчик повернул машину на полкруга и выключил мотор.

— Не отставай от меня, Горелль, слышишь? — крикнул Квейль.

— Хорошо.

— Мы будем иметь дело с «Савойями». Если будешь атаковать, старайся попасть в горб над задней кромкой крыла.

Горелль поправил ремни парашюта. — За тобой будет итти Тэп.

Квейль еще раз поднял руку и направился к другому самолету шагах в двухстах в стороне; двое механиков разогревали его моторы. По дороге он взглянул вверх и увидел водянисто-прозрачную синеву неба и белые, как мел, пятна облаков. Пожалуй, облака слишком высоко, чтобы прятаться в них. Тысяч пятнадцать футов и довольно реденькие при том. Возможно, что двенадцать тысяч недостаточная высота для атаки. Греки говорили, что «Савойи» держатся на высоте десяти тысяч. Но они могут подняться и выше, чтобы уйти от зениток. Грекам не следовало открывать огонь.

Все это пронеслось в голове Квейля, пока он шагал по аэродрому. Когда он подошел к небольшому короткотелому самолету, окрашенному в защитный оранжевый цвет, из кабины вылез летчик. Мотор самолета гудел приглушенно.

— Все в порядке, сержант? — обратился Квейль к низкорослой фигуре, остановившейся подле самолета.

— В полнейшем. В кабине еще осталось немножко масла, но рычаг управления я вытер начисто. Не шаркайте ногами по полу, тогда подошвы не будут скользить.

Стройный молодой летчик натянул на себя подбитый мехом непромокаемый комбинезон, укрепил ремни парашюта, поднялся на крыло и легко влез в кабину. Он надел шлем, пристегнул у рта микрофон, сильно нажал на тормоза и включил мотор. Затем он отпустил тормоза и нажал правый рычаг управления. Самолет сделал поворот и под гогочущие выхлопы мотора вприпрыжку поскакал по зеленым рытвинам взлетной пло-

шадки. Еще три самолета рулили по аэродрому с разных направлений. Все это были «Гладиаторы», как и самолет командира звена. Юный Горелль уже поставил свою машину носом против ветра и поджидал остальных. Один за другим они подходили к нему и становились в строй, образуя как бы наконечник стрелы. Квейль подошел последним, он был острием.

Обведя взглядом весь строй, Квейль нажал рычаг управления, включил мотор и вырвался вперед. Пять самолетов медленно запрыгали по аэродрому, набирая скорость; хвосты поднялись вверх, колеса постепенно оторвались от земли и касались дерна лишь на бугорках, но продолжали вертеться, пока земля не ушла из-под них окончательно. Широкой кривой пять истребителей развернулись над кольцом гор, окружавших аэродром и стали набирать высоту над Афинами.

Поднимаясь, Квейль мог видеть внизу новый город. На улицах не замечалось никакого движения — в городе была объявлена воздушная тревога. Акрополь плоским белым пятном лежал между городом и морем. А вокруг тянулись зеленые луга и сплошная шапка лесов.

«Вот мы и здесь,— думал Квейль, окидывая взглядом свое звено, следовавшее за ним в боевом строю.— Как все это просто случилось». Просто,— потому что чего же проще, если надо куда-нибудь ткнуться. В один прекрасный день, когда они стояли в Фуке и самом бушевал в пустыне, Хикки сказал: «Должно быть, нас пошлют в Грецию». И потом началось. Но наверное никто не знал, даже когда Квейль и Хикки покинули Фуку и вылетели в Гелиополис под Каиром. Хикки был командиром эскадрильи, и так как он направлялся в Каир, а остальные «Гладиаторы» уже собрались на ремонт в Гелиополисе, можно было догадаться, что предстоит перемены.

Хикки поджидала машина, чтобы свезти его в штаб. Финн и Джон Херси были на аэродроме. Они рассказывали, что отлично проводили время, пока их самолеты были в ремонте, а потом собирались вернуться в Фуку,

но штаб задержал их. Им очень хотелось знать, что все это означает. Вскоре вся эскадрилья знала о том, что Хикки тоже прибыл в Каир.

Днем летчики сидели и пили пиво в каирском баре в ожидании Хикки, застрявшего в штабе, на другом конце города. Вернувшись из штаба, Хикки пожал плечами и сказал: «Греция», и все молча погрузились в размышления. Им хотелось потолковать между собой, но приходилось молчать, потому что это была пока военная тайна. Все же вечером, когда Хикки и Квейль возвращались в казармы, Хикки сказал, что, кроме восьмидесятой эскадрильи, других истребителей в Грецию не пошлют.

— В Греции будут только наши воздушные силы,— добавил он. — Больше ничего, ну еще инстантские базы. Двести одиннадцатая эскадрилья, «Бленхеймы», уже там. И эскадрилья «Велингтонов», они делают ночные налеты на Италию. «Бленхеймы» бомбят Албанию. Мы будем их сопровождать. Первые несколько дней будем стоять в Фалероне, возле Афин, а затем, вероятно, переберемся в Ларису, в глубь страны. Там, говорят, собачья погода и высоченные горы.

А Херси уже рассказывал всем: «Афины — прекрасный город». Но никто не поверил и никто не обратил внимания, когда он сказал, что Афины — вполне современный город, а вовсе не древний... «И он был прав — действительно, современный», — думал Квейль... Херси рассказывал еще: там не говорят по-английски, зато говорят по-французски и по-немецки. В городе есть отличные кабары с венгерками — их много везде на Балканах. «Мы, вероятно, прилетим туда как раз под занавес», — сказал в заключение Херси. А он, Квейль, со свойственным ему оптимизмом, ответил:

— Они могут еще преподнести тебе сюрприз.

— Кто, греки? — спросил Херси. — Как бойцы, они хорошие повара.

Они вылетели из Гелиополиса на другой день звеньями по-трое.

Это был далекий перелет, и им пришлось сделать посадку в Канее,

на Крите для заправки. Хикки поджидал их в Фалероне с автобусом, который вместе с наземным техническим персоналом прибыл морем. На этом автобусе они отправились в Афины.

Они не ожидали разыгравшихся при этом сцен: население шумно приветствовало их, когда они въехали в город... Автобус еще был окрашен в песочный цвет, цвет пустыни, и по этому признаку нетрудно было распознать английскую военную машину. Греки встречали их радостными криками. А когда они подъехали к отелю «Атинай» и начали вытаскивать из автобуса свои пожитки, вокруг мигом собралась огромная толпа... Греки подхватили вещи... Вещевой мешок Квейля вырвали у него из рук. Его хлопали и гладили по спине, а кто-то стукнул по голове. Да, здорово было! Он сам слышал как толпа кричала: «Инглизи, инглизи айропланос!» Все были в приподнятом настроении и все соглашались, что греки — прекрасные люди.

Каждый раз, когда случалось идти по улице, за ними увязывались прохожие, которые радостно говорили им что-то по-гречески. Когда в первый же день в Афинах была объявлена воздушная тревога, а Квейль и Хикки продолжали шагать по тротуару, полиция приложила все усилия, чтобы втолкнуть их в ближайшее убежище, но они отказались. Греки недоумевали, почему они не поднимаются в воздух, чтобы прогнать итальянские самолеты. Но итальянцы не появились над городом, и греки ликовали, а один хорошо одетый грек сказал Хикки:

— Ну теперь эти мерзавцы сюда не прилетят. Не-е-т. Теперь мы можем быть спокойны. Вы надежные ребята. Мы так рады вам! Теперь эти мерзавцы не прилетят. О нет!

А вечером в шумном, ярко освещенном, шикарном кабаре, переполненном летчиками двух бомбардировочных эскадрилий, стоявших в Афинах уже с неделю, стоял дым коромыслом. Бесчисленные венгерки и гречанки попытались было выступить со своими номерами в зале, между столиками, но пришлось от этого от-

казаться, так как летчики позволяли себе вольности. Впрочем, девицы ничего не имели против, — они сами лезли к мужчинам, никого не обделяя своими нежностями. Кабаре было битком набито, — нельзя было ни пошевелиться, ни улучшить минуты тишины, чтобы сказать что-нибудь, ни разобрать, что говорят другие; так что никто не мешал девицам, и они делали, что хотели. Особенно буйствовала одна гречанка с маленьким шрамом над большим пьяным глазом.

— Инглизи, инглизи! — кричала она.

Она вылила кружку пива на пол, «чтобы было скользко и хорошо пахло». Ее платье было разорвано на спине — модное, дорогое платье. Кожа у нее была на редкость смуглая. Кто-то крикнул:

— У нее белье в крапинках!

— Нет, нет... — сказала она по-английски.

Она совсем завладела Хикки, вцепилась в его рыжие волосы и кричала: «Смотрите, смотрите: совсем красные!» Потом нагнула его голову к своей груди и, указывая на полосу материи во впадине между грудями, объявила: «Тот же цвет. Как раз для него. Красное к красному!» И Хикки, обычно сдержанный и холодный, нисколько не был смущен, так как успел уже захмелеть.

Это было какое-то безумие и напоминало кадр из фильма; но следующий день и ночь были не менее безумны и фантастичны, и фантастика продолжалась.

Из-за низкой облачности эскадрилья не снималась с аэродрома до этого дня: Это был их первый вылет. Хикки отправился в Ларису вместе с Херси и Стюартом, чтобы осмотреть аэродром. В ближайшие дни их могут туда перевести. Ну, что ж, не все ли равно, было бы только кино и тепло.

Квейль взглянул на доску приборов с сосредоточенным вниманием, отогнав посторонние мысли, и внезапно понял, что ему очень холодно. До сих пор он только уголком сознания регистрировал то, что видели его глаза на доске. Он все время погля-

дывал то вверх, на небо, то на доску приборов, то назад на свое звено.

Пять самолетов разворачивались широким кругом над районом Афин; они находились теперь в нескольких милях к северо-западу от города, над невысокими горами, на высоте четырнадцати тысяч футов.

— Я замерзаю. Сколько мы еще будем подниматься? — услышал он голос Тэпа в наушники.

— Дальше не пойдем, — сказал Квейль в микрофон. — И не надо разговаривать. Итальянцы должны быть где-то поблизости.

Ответа не последовало, и Квейль окинул взглядом свое звено. Самолеты сверкали на бледно-голубом фоне в ярких лучах солнца. Внизу под собой Квейль видел Горелля, Брюера, Ричардсона и Тэпа. Его глаз никак не мог привыкнуть к внешнему виду «Гладиаторов» в камуфляже: они казались такими неуклюжими и тяжелыми, какими-то несуразными обрубками. И он никак не мог свыкнуться с мыслью, что такие бипланы, как «Гладиатор», принимают участие в современной войне. Скорее по счастливой случайности, чем по заранее рассчитанному плану, когда Италия вступила в войну, в Египте оказалось довольно много «Гладиаторов». И по той же счастливой случайности истребитель, на который возлагали все надежды итальянцы, оказался двойником «Гладиатора». Фиатовский «КР-42» тоже был биплан, с такой же маневренностью, как и «Гладиатор», с предельной скоростью около трехсот миль, что лишь не намного превышало скорость «Гладиатора». «Харрикейны» обладали слишком большой скоростью и недостаточной маневренностью, чтобы сбивать «КР-42». А итальянский соперник «Харрикейна», «Г-50», обладал слишком большой скоростью и недостаточной маневренностью, чтобы сбивать «Гладиаторы».

«Гладиаторы» способны были меряться силой только с «КР-42». Одиночному «Гладиатору» редко удавалось сбить бомбардировщик, разве только представлялась возможность два-три раза атаковать врага, что случалось не часто. Больше шансов

было, когда целое звено сосредоточивало огонь на одном и том же бомбардировщике; тогда можно было попасть в пилота или в мотор, но только на близком расстоянии. Четыре тридцатимиллиметровые пулеметы «Гладиатора» били на короткую дистанцию — не больше пяти-сот ярдов — и давали небольшой сноп огня. Такими же свойствами отличался и «КР-42». Оба самолета годились только для того, чтобы сбивать друг друга, — вот и все. Они должны были быстро сойти со сцены, как сошли «Фэйри Баттлс» после крушения Франции.

Эскадрилья уже поднялась на пятнадцать тысяч футов. Было очень холодно. Квейль оглянулся кругом. «Савойи» могли подняться в любую минуту. Их трудно будет заметить на фоне играющих красками греческих гор. Он включил передатчик и спросил:

— Что-нибудь видно, Тэп?

Тэп ответил тотчас же:

— А ты что, не видишь? Шестеро, угол сто семьдесят, высота около десяти тысяч, без истребителей.

Квейль взглянул на компас. Звено шло по курсу около 180°. Он сделал поворот до 170° и стал высматривать вражеские самолеты. И вдруг он их увидел — они шли медленно, вытягиваясь черной линией на светлом фоне котловины между двумя горными цепями.

— Держись ближе, Горрель, ближе!

Квейль обернулся через плечо, чтобы посмотреть, подтянулся ли Горрель.

— Мы атакуем их сначала в пики, — сказал он.

— Бортовым огнем, Джон? — спросил австралиец Вэн.

— Да. Не отставать от меня. И не действовать в одиночку. Сосредоточимся на одном самолете.

Квейль знал, что на Ричардсона можно положиться. Это был выдержанный человек и выдержанный летчик, никогда не терявший головы в бою. Но за Гореллем надо было смотреть в оба. Горрель только недавно прибыл в эскадрилью. Лишь в него было наивное и простодушное, и

Квейль не представлял себе, чтобы он был в состоянии трезво и всесторонне оценивать разнообразные комбинации, возникающие в одиночном бою. То же самое можно было сказать и о Тэпе. Тэп бросался на врага, очертя голову, гвоздил все, что попадалось ему на пути, а если враг заходил в хвост, он делал первое, что ему приходило в голову. Вэн, австралиец, был парень надежный. Трезвая голова, как и Ричардсон. На его худощавом смуглом лице всегда была печать настороженности, хотя иногда его юношеский вид мог ввести постороннего человека в заблуждение.

«Савойи», казалось, были далеко внизу, на расстоянии пяти-шести миль. Квейль повернул в их сторону, держа самолет не совсем по курсу, чтобы не терять их из вида. Бомбардировщики, повидимому, заметили «Гладиаторов» и как будто стали набирать высоту. Они шли к Пирею, но были еще довольно далеко от него, и «Гладиаторы» готовы были ринуться на них, как только они выравниются, чтобы начать бомбежку. Пирей был расположен милях в двух от Афин, но с этой высоты порт и город сливались в одно.

Когда бомбардировщики очутились над Пиреем, Квейль направил свой самолет так, чтобы можно было атаковать их с борта. Он бросил взгляд назад, убедился, что звено идет за ним в полном порядке — затем «болтанул» крыльями, подавая сигнал, и с силой нажал на рычаг. Самолет нырнул, вошел в пике, и Квейль устремился, как стрела, на вражеские самолеты, которые уже построились горизонтально и начали сбрасывать бомбы.

Вниз! Четырнадцать тысяч, — показал выотомер, — тринадцать. Скорость намного превышала триста миль. И вдруг, — казалось, прошло не больше двух секунд, — Квейль увидел в визире хвост бомбардировщика. Он быстро схватился за рычаг, самолет, скользя, вышел из пике, и, как только в визире мелькнул горб над крылом бомбардировщика, Квейль нажал пальцем гашетку.

Самолет задрожал от пальбы и

продолжал идти прямо на бомбардировщик, очертания которого все более расплывались в визире, но Квейль нажимал и нажимал гашетку, пока весь визир не заполнила только одна небольшая часть бомбардировщика; тогда Квейль потянул рычаг на себя, почувствовал легкую тошноту и увидел под собой черную массу бомбардировщика и белые трассирующие пули итальянца.

Он взмыл кверху на две тысячи футов и оглянулся на свое звено. Оно нарушило строй — вечная история. Два «Гладиатора» шли на некотором расстоянии справа. Он развернулся, чтобы снова ринуться на вражеский самолет, как вдруг ему бросилось в глаза облако белого с черным дыма, клубившегося над стремительно падавшим самолетом. Он не знал, может быть, это был «Гладиатор». Тем временем «Савойи» ушли далеко вперед, и он видел внизу разрывы их бомб. У них как будто было все в порядке, по крайней мере они продолжали сбрасывать бомбы. Но строй их рассыпался, и тут-то и таилась опасность для них.

Слева, на тысячу футов ниже Квейля, летел одинокий бомбардировщик. Квейль опять нажал на рычаг и повернул штурвал с таким расчетом, чтобы зайти в хвост бомбардировщику в мертвом конусе.

Он не полагаясь на инстинкт, как делают большинство пилотов; он рассчитал движение рычага и штурвала, как ряд ходов в шахматной игре, и он действительно настиг врага в мертвом конусе. Не убавляя скорости, он нажал гашетку. В визире показался левый мотор «Савойи». Пулеметы дрогнули. Квейль бросил взгляд назад — нет ли там преследователя, и снова нажал гашетку. Четыре пулемета бешено застрочили, сотрясая самолет. И как раз в ту минуту, когда справа появился другой «Савойя», намереваясь перехватить его, он круто взмыл кверху и видел, как внизу у самого хвоста «Гладиатора» пролетали трассирующие пули.

Набрав высоту, он огляделся кругом, отыскивая своих. Один из «Гладиаторов» ринулся на бомбардировщик, от которого он только что огор-

вался. «Это, наверное, Горелль,— подумал Квейль.— Слишком круто и быстро вошел в пике». Квейль сделал вираж, наблюдая за разыгравшейся схваткой. «Гладиатор» обрушился на «Савойю», и Квейль видел, как трассирующие пули «Савойи» воззвукуют в «Гладиатора», но тот вывернулся из-под огня и зашел слева. Из левого мотора бомбардировщика показался дым, и он стал терять высоту. «Савойя» перевернулся в воздухе и перестал повиноваться рулю. Он стремительно падал, войдя в плоский штопор. Квейль делал полупетли и скользили на крыле, чтобы не терять из вида «Савойю», пока бомбардировщик не грохнулся в море.

Квейль снова огляделся по сторонам. «Савойи», восстановив строй, быстро уходили на запад. Далеко внизу под собой Квейль увидел один «Гладиатор». Он повернул назад и только тут сообразил, что находится милях в десяти от Афин, над морем. Продолжая высматривать своих, он крикнул в микрофон:

— Отбой! Возвращаемся! Отзовитесь, кто слышит! Отвечайте!

— Хэлло, Квейль, сколько мы сбили?

— Это ты спикировал на тот «Савойя», Горелль?

— Я. Не ушел от нас.

— Где Тэп и все остальные? Видел ты их?..

— Тэп повернул на базу. Остальные тоже, должно быть, в порядке. Я только Ричардсона не видел. Вэна видел. Это он сбил первый самолет. Два бомбардировщика, не плохо, а?

— Возвращаемся! — ответил Квейль.

Они повернули назад, к Фалерону. Горелль приземлился первым. Три «Гладиатора» были на аэродроме, когда Квейль сделав медленную бочку над аэродромом, пошел на посадку. Немножко глупая вещь — эта бочка, но было бы явным снобизмом не сделать ее, после того как они наверняка сбили по крайней мере один бомбардировщик. Он опустил элероны и взял за тормоз. Самолет покати по площадке. Монтер Джон и

механик Черчилль уже спешили к нему.

Составив рапорт, Квейль сложил его и сунул в карман комбинезона. Остальные четыре летчика уже сидели в автобусе эскадрильи. Автобус был перекрашен в новый защитный цвет — коричнево-зеленый.

— Мы едем в отель «Король Георг», там есть ванны. Едешь с нами, Джон?

Квейль поинтересовался, каким образом можно принять ванну в чужом отеле.

— Платишь пятьдесят драхм и занимаешь свободный номер.

— Очень уж шикарно это будет, — сказал Квейль. — Все наше начальство живет там.

— Я знаю, — улыбнулся Горелль, показывая белые и ровные зубы, слишком белые и ровные, чтобы быть настоящими, и все же самые настоящие. — Но это сейчас единственное место, где есть горячая вода.

Квейль сдал рапорт в штабе, и все пятеро отправились в отель. «Король Георг» находился рядом с «Великобританией», где помещался сейчас штаб греческого командования. У подъезда «Великобритании» стояли часовые в белых юбочках и два грузовика, набитые явными головорезами с винтовками и пулеметами. Это были телохранители Метаксаса. Кучки людей и юноши из фашистской организации в голубых костюмах, похожих на лыжные, и белых гамашах поджидали выхода Метаксаса или Папагоса, главнокомандующего греческой армией. Когда те показались, люди, стоявшие кучками, стали махать руками и кричать — им было за это заплачено. Каждое утро на улице Акрополя можно было видеть, как юноши из фашистской организации нанимают прогоревших молодых и дают им наставления, куда идти и кого приветствовать. Иногда югославский принц Павел и его жена-баварка тоже появлялись здесь, но их встречали без энтузиазма, а юные фашисты хранили полное молчание. Зато, когда привезли первого героя с албанского фронта, стихийно собралась огромная толпа, встретившая его бурной овацией.

У подъезда «Короля Георга» всегда дежурила тайная полиция Метакаса, в которой не было ничего тайного,— это были просто люди свирепого вида, в штатском.

Квейлю и его спутникам нетрудно было проникнуть в отель, так как они были в военной форме; но за ними следили. Маленький швейцар с черными усами и белыми руками заносил в особую записную книжку имена и звания всех посетителей и по какому делу они приходили.

Летчики протиснулись сквозь строй агентов тайной полиции. Обширный вестибюль был переполнен, все кресла заняты: шикарно одетые женщины, английские офицеры связи, богатые греки, французы и немцы. Германия официально не находилась в состоянии войны с Грецией, а немцы свободно посещали вестибюль «Короля Георга», чтобы следить за англичанами и вообще за всем, что здесь делается. И никто им не мешал, так как греческая тайная полиция прошла школу у немецких инструкторов и была настроена в пользу немцев.

— Нам нужна ванна,—сказал Тэп, обратившись к швейцару с черными усами.

Швейцар посмотрел на вошедших и, помедлив, сказал:

— Никак нельзя. Ни одного свободного номера.

— Были утром, — сказал Горелль.— Я справлялся по телефону.

— Мы не можем предоставить вам номер,— ответил швейцар.

— Почему?

— Так сказал директор. Он сказал — нельзя.

— Почему? Разве наши деньги — не деньги? — спросил Тэп.

— Директор сказал, что номера нужны ему для других.

— Да ну его к чорту, директора!

— Нет, нет, ничего не выйдет! Директор сказал — нельзя.

— Хорошо. Мистер Лоусон у себя в номере?

— Не знаю.

— Чорт возьми, так узнайте!—сказал Тэп.

— Его нет!—не задумываясь, отрезал швейцар.

— Идем, Тэп. Ты же видишь, мы здесь нежеланные гости.

— Мы зайдем к Лоусону.

— Кто он такой?

— Военный корреспондент.

Они направились к лифту. Швейцар что-то крикнул им вслед. Он хотел сказать, что посторонним не разрешается подниматься, но дверь лифта уже захлопнулась.

Лоусона дома не оказалось. Тэп пошел за горничной и попросил ее открыть номер. Явилась горничная — полная, красивая, с обручальным кольцом на пальце. Открыв дверь, она улыбнулась и сказала:

— Инглизи.— Потом по-французски: — Мсье Лоусона нет.

— Да,—сказал Тэп.— Но нам нужна ванна. Ванна!

Он указал на ванную комнату.

— А... для всех? — спросила горничная.

— Да. Конечно. Для нас всех.

Она сказала еще что-то по-французски.

— Что она говорит? — осведомился Тэп. Он уже снимал башмаки.

— Она пошла за полотенцами,—сказал Ричардсон.

— Чудесно.— Тэп пустил воду и начал раздеваться.— Вечером я иду в «Аргентину». Чур, я первый,—сказал он.

Горничная вошла с охапкой полотенец, подала их Тэпу вместе с мылом и вышла.

— Кто он, этот военный корреспондент? — спросил Квейль.

— Американец, — сказал Горелль.— Находится при армии.

— Каков он на вид?

— Гм... Такой, как ты. Но ничего парень. И говорит, как ты.

Тэп уже сидел в ванне. Горелль и Вэн достали с полки журналы. Ричардсон, здоровенный малый со спокойными движениями и выщипывая волосы, пробовал настроить радио. Тэп вылезал из ванны, когда в комнату вошел высокий белокурый мужчина в военной форме цвета хаки. Он на миг остановился в недоумении, но тут раздался голос Тэпа:

— Хэлло, Лоусон! Мы арендовали вашу ванну.

— Пожалуйста,—сказал Лоусон.

— Это Джон Квейль. Наш командир звена,— представил Тэп.

— Очень рад,— сказал Лоусон.

Он увидел худощавого, крепко сложенного молодого человека, стоявшего перед ним в несколько принужденной позе. Лоусон бросил беглый взгляд на его лицо, которое могло бы показаться бесцветным, если бы целое не распадалось на характерные отдельные черты: резко очерченный нос, правильные линии подбородка и лба. Глаз Квейля почти не было видно — так глубоко они сидели под надбровными дугами. Верхняя губа у него была тонкая и невыразительная, но нижняя — полная и с изгибом в середине. В заключение Лоусон отметил шелковистые темные волосы, мягкие, но гладко причесанные и не очень взъерошенные. Все это ему понравилось с первого взгляда, понравилась и слабая улыбка, которая появилась на губах Квейля, когда они обменивались рукопожатием. Тэп представил и остальных, и Квейль уселся в низкое кресло.

— Вы американец? — спросил Квейль Лоусона.

— Самый настоящий. Вы, вероятно, знали нашего Энсти?

Квейлю не пришлось долго напрягать память. Нетрудно было вспомнить Энсти. Это был американский летчик, вступивший в восьмидесятую эскадрилью; слишком пылкий и необузданный для полетов на «Гладиаторе», он кончил тем, что врезался в строй двенадцати неприятельских самолетов и погиб, предварительно протаранив «Савойю».

— Да. А вы его знали? — спросил Квейль.

— Мы вместе учились.

— Вы, значит, тоже со Среднего Запада?

— Да.

— Энсти всегда сердился, когда говорили, что там задают тон изоляционисты.

— Я тоже обижаюсь на такие разговоры. У нас есть, конечно, изоляционистская прослойка... Ну, да черт с ними!

— Куда вы собираетесь вечером. Лоусон? — спросил Тэп, застегивая френч.

— Никуда. Вечером мне, вероятно, придется сражаться с цензурой.

— Присоединяйтесь к нам. Мы идем все к «Максимуму».

— Я могу заглянуть туда попозже,— сказал Лоусон.

— А ты как, Джон?

— Я тоже зайду позднее. Вы не ждите меня.

Лоусон сел за небольшой письменный стол, заложил лист бумаги в машинку и начал писать. Ричардсон уже вышел из ванны — его место занял Горелль. Пока они по очереди совершали омовение, а Лоусон стучал на машинке, Квейль сидел и читал. Когда из ванной вышел Вэн, Тэп, Ричардсон и Горелль, занимавшиеся перелистыванием журналов, встали.

— Спасибо за ванну, Уилл,— сказал Тэп, обращаясь к Лоусону.

— Не за что. Всегда рад.

Квейль принял ванну, вытерся последним сухим полотенцем, бросил все полотенца в корзину и стал одеваться. Лоусон уже кончил писать, когда он вышел из ванной.

— Поднимались в воздух сегодня? — спросил Лоусон.

— Да.

— Удачно?

Квейль запнулся.

— Можете говорить,— сказал Лоусон.— Все равно цензура не пропустит.

— Мы должны остерегаться неточностей,— сказал Квейль. — Мы сбили два бомбардировщика.

Этот белокурый американец понравился Квейлю с первого взгляда, как и сам Квейль ему.

— Много у вас возни с цензурой? — спросил он.

— Это — проклятие моей жизни.

Квейль натягивал сапоги.

— Как вы ладите с греками? — спросил его Лоусон.

— Ничего. Ладим вполне. Нам не приходится иметь с ними много дела.

— Станный народ,— сказал Лоусон. Он сложил лист бумаги пополам и вставил копірку.— Такой стойкости я еще не видал. Идут в бой с голыми руками. Но... ни малейшего намека на порядок.

Квейль улыбнулся.

— Сейчас они слушают Метаксаса. Они думают, что он сумеет установить порядок. Им нравится порядок, если они находят его в готовом виде. Но по существу они всей душой ненавидят Метаксаса.

— А англичане не такие? — спросил Квейль.

— Ну, это совсем другое дело! — начал Лоусон, но заметил, что Квейль просто поддразнивает его; он не ожидал этого от Квейля и рассмеялся.

— Хотите пройтись со мной? — спросил он.

— С удовольствием. Куда вы идете?

— На почтамт.

— Что вы там будете делать? Сдадите телеграмму?

— Именно. А потом за нее примется цензура.

Квейль рассмеялся.

— Ко мне цензоры относятся довольно снисходительно, — сказал Лоусон. — Я иногда приглашаю их в ресторан.

— Вы явно подкапываетесь под греков.

— Не поймите меня ложно. Я люблю греков. Я хотел бы познакомиться с вами с одним чудеснейшим человеком. Типичный образец рядового грека. Он журналист. Был сослан Метаксасом за издание либеральной газеты в Салониках.

Они вышли на улицу, погруженную в полный мрак, и пошли, спотыкаясь на каждом шагу.

— У вас совсем нет знакомых греков? — спросил Лоусон.

— Нет.

— Хотите познакомиться с этим журналистом? Он женат, у него есть сын и дочь. Я как раз думал о том, чтобы заглянуть к ним сегодня. Хотите пойти со мной?

Квейль немного помедлил.

— Благодарю вас, с удовольствием, — сказал он.

— Это очень интересная семья. Старик думает, что Метаксас вполне подходящая фигура для настоящего момента, так как он хороший генерал. Но сын говорит: «Меня на мякине не проведешь». По его словам, Метаксас не хотел воевать, когда итальянцы вторглись в Грецию. И вся

вообще верхушка была продажной. Но у солдат были ружья, они дали отпор захватчикам, и тогда Метаксасу с его присными волей-неволей пришлось воевать.

— По-вашему, это правда? — спросил Квейль.

— Никаких сомнений. И дочь так думает. Она вполне согласна с братом.

ГЛАВА 3

Дряхлое такси повезло их в афинский пригород Сефизию. Они проезжали по шоссе, по самой середине которого была проложена трамвайная линия. Вагоны шли один за другим, и все были облеплены солдатами в измятых мундирах темного защитного цвета. Солдаты направлялись в Афины из сефизских казарм, стоявших у самой дороги; казармы окружала белая стена, а внутри над невысокими зданиями свисали ветви белого эвкалипта. Ночь опускалась на поля, и вскоре ничего уже не было видно, кроме вспыхивавших порою слабых огоньков и мелькавших, как тени, деревьев, полей, домов и опять полей и деревьев. Они проехали по темным безлюдным улицам тихой деревни и остановились на грязной дороге у двухэтажного каменного белого дома.

Лоусон расплатился с шофером, и они зашагали к подъезду по выложенной камнем дорожке. Дверь открыла смуглая девушка в белом платье и крестьянской безрукавке.

— О! Уилл! — воскликнула она по-английски.

— Хэлло! — отозвался Лоусон.

Квейль вошел в дом и невольно отметил, что девушка почти одного с ним роста. А его волосы, по сравнению с ее шевелюрой, казались светлыми.

— Джон Квейль, летчик, командир звена. Елена Стангу, — представил Лоусон.

Они обменялись рукопожатием. Елена Стангу взяла пилотку из рук Квейля и повесила ее на вешалку, затем провела гостей в комнату с низким потолком. Она представила Квейля худому юноше в очках, которого назвала: «Астарис, мой брат».

Вошла женщина с седыми волосами, приветствовала Лоусона возгласом: «Хэлло, Уилл», улынулась Квейлю и сказала:

— Добро пожаловать, — когда Лоусон представил ей своего спутника.

— Я плохо говорю по-английски. Вы уж меня извините, — предупредила госпожа Стангу.

— Очень сожалею, что не говорю по-гречески, — из вежливости сказал Квейль.

Появился и сам Стангу, — смуглый, худой, как и сын, с седыми прядями в черных волосах, румяными щеками и карими глазами, светившимися улыбкой, когда он говорил. Он крепко пожал руку Квейлю и радостно приветствовал Уилла Лоусона. Жизнерадостность составляла неотъемлемую черту его характера, но сейчас он был чем-то подавлен. Тем не менее он весь излучал теплоту, и у Квейля сразу же зародились к нему теплые чувства. Он говорил очень быстро, перескакивая с одного на другое, и от рассказа о своем аппетите сразу перешел к двум бомбардировщикам, которые, как он слышал, были сбиты сегодня.

— Я видела, как один из них пал, — сказала госпожа Стангу.

— Да, — сказала Елена, обращаясь к Квейлю. — Мы ездили к Глифаду и видели, как на бомбардировщик налетел истребитель.

— Это был, вероятно, Квейль, — сказал Лоусон.

— Это был, вероятно, молодой Горелль: он сбил сегодня свой первый бомбардировщик.

— А вы тоже участвовали в бою? — спросила Елена.

— Сколько числится на вашем счету итальянцев? — перебил ее Стангу.

— С дюжину, — ответил Квейль с деланной небрежностью.

— Итальянцы как будто плохие вояки? — продолжал допрашивать Стангу.

— Далеко не плохие, когда действительно хотят драться.

— Чем же вы объясняете, что сбили столько?

— У них нет никакой охоты воевать.

— Греки говорят, что самолеты у них никуда не годятся.

— Нет, самолеты у них не плохие. Но они не хотят воевать. В настоящем бою они дерутся как следует. Они умеют постоять за себя.

Квейля сердило, что ему не удается наблюдать за девушкой, — каждый раз, как он взглядывал на нее, она улыбалась и смотрела ему прямо в глаза. Черные волосы удивительно гармонировали с ее круглым лицом и миндалевидными глазами. Чолка на лбу еще больше округляла ее лицо и как-то по-особенному смягчала его выражение, когда она улыбалась.

За столом избегали говорить о политике. Хозяева не знали, как относиться к Квейлю. Они не знали, насколько можно доверять человеку в военной форме, да к тому же еще англичанину. У англичан есть странная черточка — холодный патриотизм, который на самом деле вовсе не холоден, а наоборот, не знает меры. На них никогда нельзя полагаться. И потому за столом не говорили о Метаксасе и других делах, хотя Лоусон именно для этого и привел сюда Квейля. Но Квейль ничего не имел против, ему довольно было девушки. Лоусон тоже относился к ней далеко не безразлично; Квейль это сразу заметил. Отец и брат девушки видели все. Отец был польщен, а Астарис усмехался. Он не проронил ни единого слова, пока Квейль и Елена обменивались пустыми замечаниями. А потом начал спор с отцом на родном языке, конец которому положила только госпожа Стангу.

— Вы уж извините их. Они все время спорят, — сказала она.

— Ну, что ж, это очень хорошо, — возразил Квейль.

— Не совсем. Они слишком расходятся во взглядах, а ведь они отец и сын.

— В чем же вы расходитесь? — спросил Квейль. Его начали злить их упорные старания избежать политического разговора.

— Было бы невежливо обсуждать

наши дела в вашем присутствии, — ответил Астарис.

Квейль назвал это политической трусостью, и они были не столько обижены, сколько озадачены его словами.

— Греков в этом упрекнуть нельзя, — вспыхнув, сказала девушка.

— Прошу прощения, — поспешил поправиться Квейль.

— Мы не можем и не хотим рисковать, — сказал Астарис. Он в первый раз за весь вечер поднялся с места и принялся шагать по комнате; теперь он уже не казался таким тщедушным, скорее наоборот — здоровым и сильным.

— Вполне согласен, — ответил Квейль, чтобы показать им свое сочувствие.

Разговор обрвался. Девушка встала и вышла. Квейль обратил внимание на ее медленную, слегка качающуюся походку и волнообразное движение плеч. После некоторого молчания Лоусон спросил Стангу, что говорится в вечерней сводке греческого командования.

— Они стоят у Корицы, мы захватили гору, которая дает нам возможность овладеть городом в течение суток или даже, как сообщалось вчера...

Квейль поднял глаза и увидел девушку, спускавшуюся по лестнице в прихожую; на голову она накинула шарф или крестьянский платок, — он отсюда не видел.

— Я иду поговорить по телефону, — сказала она по-английски, обращаясь к матери.

Квейль вскочил и поспешил в прихожую.

— Я провожу вас, — сказал он и взялся за пилотку.

— Не стоит. Тут недалеко, — ответила она. Она все еще сердилась на него.

— Я провожу вас, — повторил он.

Она пожала плечами, и оба направились к двери. Квейль видел, как остальные следили за ними.

— Не надевайте, — сказала она, когда Квейль хотел нахлобучить пилотку.

— Почему?

— Нас предупредили, чтобы мы не поддерживали знакомства с англий-

скими военными. И расстегните шинель.

Квейль сунул пилотку подмышку и распахнул шинель.

— Я знаю, что ваш отец был в ссылке, — начал он.

— Да, — подтвердила она.

— Я только хочу сказать, что я знаю, почему вы избегаете политических разговоров.

— Вы — англизин. Мы должны соблюдать осторожность. Мало ли кому вы можете случайно передать наши разговоры.

— Я понимаю, — сказал Квейль.

— За нами следят в оба. Астариса то и дело сажают. Отца теперь оставили в покое, он дал подписку, что стоит за Мегаксаса. А Астарис не захотел.

— Вам остается голько воды в рот набрать, — сказал Квейль.

— И быть трусами, как вы нас называли. Но сейчас за все расстреливают, потому что война. Мы только благодарзумены.

Они прошли по каменной дорожке и вышли за ворота. Было темно, луна еще не всходила. Он взял Елену под руку — улица была немощеная, всюду рытвины и ухабы. Она не отняла руки, и он ощущал теплоту и упругость ее тела. Они свернули в узкую аллею, обсаженную по обе стороны деревьями; в аллее гулял ветер, и сквозь листву не видно было неба. В конце аллеи стояла небольшая будка, здесь была автобусная остановка. Сидевший в будке мальчик, передал Елене телефонную трубку. Она набрала номер, поговорила по-гречески и повесила трубку.

— Я сообщила в госпиталь, что приду завтра, — сказала она мягко, когда они повернули назад.

— Вы медицинская сестра?

— Нет, я просто помогаю на пункте первой помощи.

— Что вы делали до войны? — спросил Квейль.

— Училась в университете. Я студентка.

— А вас никогда не трогали, — спросил Квейль, незаметно сжимая ей локоть.

— Мне обрезали косы, когда однажды схватили меня с Астарисом.

Он невольно посмотрел в темноте на ее волосы и спросил:

— Когда это было?

— Давно. Теперь я стою в стороне от этих дел. Из-за матери. Когда живешь в семье, приходится бороться на два фронта. Моя мать поседела, когда отца сослали. Он дал подписку, которую они требовали, потому что мать лежала больная. И я тоже поэтому не занимаюсь больше политикой.

Они молча продолжали путь, немеренно замедляя шаги. Трудно было быть предприимчивым, потому что Квейлю мешала пилотка подмышкой, и вообще он чувствовал себя неловко. Едва ли имело смысл разыгрывать кавалера. Он не знал, как подойти к этой девушке. Она не противилась, когда он крепче сжимал ее руку, но он знал, что она воспротивится, если он попытается пойти дальше. И он не хотел рисковать.

— Где вы работаете? — спросил он. — В Афинах?

— Да.

— Я когда-нибудь навещу вас, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— Я работаю в небольшом госпитале за университетом. Там есть вывеска Красного креста, так что найти нетрудно. Но я не долго там буду.

Она остановилась. Квейль молчал. Елена продолжала:

— Я еду в Янину, в прифронтовую полосу. Но там есть еще девушки в госпитале, они будут очень рады, если вы зайдете. Они вечно говорят о белокурых англичан. Впрочем, вы не белокурый, но такой, как Лоусон. По нем у нас девушки сходят с ума.

— По мне они не будут сходить с ума. Когда вы уезжаете?

— На следующей неделе. Я очень рада. Стыдно оставаться здесь, когда идет война. Здесь мы не чувствуем войны, даже не знаем, на что она похожа.

— Напрасно вы стремитесь на войну, — сказал Квейль. — Это грязное дело, самое грязное, какое только может быть.

— Я знаю. Я не рисую себе радужных картин. Но война есть дело.

Они вошли в ворота и направились к дому.

— Я зайду к вам завтра. Можно? — сказал он, пока им открывали дверь.

— Приходите в обеденное время. Тогда у нас меньше работы, и я смогу вас чем-нибудь угостить.

Госпожа Стангу открыла им дверь, и они вошли.

ГЛАВА 4

На другой день ему не пришлось увидеть Елену Стангу. Он никогда не знал, будет ли свободен завтра, если только не польет дождь. Он весь день дежурил в Фалероне на случай налета.

А ночью их вызвали в штаб. Командир соединения ожидал их в большом белом доме, где раньше помещалась школа.

— Грекам здорово достается на фронте, — сказал командир. — У итальянцев около тридцати бомбардировочных эскадрилий и двадцать пять эскадрилий истребителей на трех секторах, так что грекам не очень весело. Они теснят итальянцев под Корицей, но на побережье дело сложнее. Мы считаем, что итальянцы направят главный удар на шоссе и на железную дорогу, идущие к Ларисе и вдоль побережья. Вот почему вас посылают в Ларису. Но надо сохранить все дело в секрете, и завтра тоже — вылетайте потихоньку. Мы хотим преподнести итальянцам сюрприз, когда «Савойи» появятся в один прекрасный день без истребителей. Надо сбить побольше бомбардировщиков. Греки чуть не в отчаянии, так как потеряли большинство своих истребителей. Нужно провести операцию незаметно, а потом сосредоточить все внимание на бомбардировщиках. Но не к чему рисковать, если их будут сопровождать истребители. На каждый наш истребитель у итальянцев будет десять, потому что они предпочитают не рисковать. Звено итальянских бомбардировщиков всегда сопровождает целая туча «КР-42». А кроме того, на фронт прибыли истребители «Г-50», но эти сведения еще нуждаются в проверке. Завтра в Ларисе Хикки информирует

вас обо всем. Вылететь вы должны до рассвета. Так будет лучше во всех отношениях, и никому не говорить об этом — даже летчикам других эскадрилий. Это может оказаться вопросом жизни и смерти для греков.

— Дело становится веселее, — сказал Тэп, когда они спускались по лестнице.

— Да... — Херси, как старший по чину, мог позволить себе критическое замечание. — Значит, мы будем сбивать «Савойи», а нас будут сбивать «КР-42», — сказал он. Но на его слова не обратили внимания, он был известный ворчун.

ГЛАВА 5

Вылететь назавтра не пришлось, — дождь лил как из ведра.

В десять вечера Квейль был у подъезда университета и стал ждать Елену. Дождь перестал, тучи рассеялись, небо прояснилось. Он знал, что завтра будет хорошая погода. Ему не хотелось думать об этом, не хотелось покидать город. Лариса — та же пустыня, только вместо пота и пыли будет грязь и слякоть. И там холоднее, чем здесь, а это хуже, чем жара. В Афинах так хорошо — толпы людей, новые дома. Не хочется уезжать отсюда. Он знал, что Лариса — просто большая деревня со старыми домами, с добродушными сонными жителями, которые могут показаться интересными, как всякие новые люди; но там нет той нарядности и лоска, которые так влекут к себе после боевой обстановки.

— Это вы? — Елена коснулась его руки в тот момент, когда он следил за автомобилем, буксовавшим на мостовой.

— Хэлло! — сказал он.

— Мы поедem на автобусе. Остановка тут недалеко.

Она взяла его под руку.

Он возразил:

— Нет, мы возьмем такси.

— Солдатам такси не по средствам, — шаловливо сказала она.

— Я командир звена и не женат. Мне по средствам.

— А что это за чин — командир звена?

— По чину я то же, что капитан в армии.

— А есть у вас при себе деньги?

— Да.

— Ну, как хотите. Только не ведите неосторожных разговоров в такси.

Они спокойно шагали в пропитанной сыростью тьме. Дождевая вода холодно поблескивала на листьях деревьев и на асфальте мостовой. По дороге им попало старое, невзрачное такси. Елена объяснила шоферу по-гречески, куда ехать, тот стукнул по счетчику, и они покатили. По лоснящимся от дождя черным улицам они выехали на Сефизское шоссе, и Пентеликонские горы, темные, уходящие в необозримую высь, вдруг выросли перед ними, словно они ехали прямо на стену гор.

Одной рукой Квейль обнял Елену, другой схватил ее за руку.

— Не надо сейчас. Пожалуйста, — тихо сказала она. — Не здесь.

Он отнял руки и отодвинулся в угол. Она наклонилась к нему и ласково сняла с него пилотку. Этот жест говорил о дружеском расположении, а вовсе не об отказе. Все же он чувствовал себя неловко после полученного отпора.

— Я охочусь на территории Лоусона? — деловито спросил он.

— Молчите! Не говорите глупостей. Я не территория. А если бы и была, то не принадлежала бы Лоусону.

Она положила его пилотку рядом с собой и взяла его за руку, но не придвигалась и сидела молча, пока старое такси несло по шоссе, подпрыгивая на выбоинах. Она остановила такси далеко от дома. Они вышли, и она кивнула Квейлю, чтобы он расплатился с шофером. Когда такси отъехало, она сказала:

— Мы найдем потом для вас другое. А сейчас мы можем пройтись. Незачем посвящать шоферов в свои дела, — это неосторожно.

Когда они проходили по грязной немощеной тропинке, Квейль взял ее под руку. Их пальцы сплелись, и обоим стало тепло.

— Почему вы не сможете больше видаться со мной? — спросила она.

— А для вас это имеет значение?

— Да, — сказала она. — Но если

нельзя говорить, то не надо. Так будет лучше.

— Я только хочу точно знать, где вы будете находиться,— сказал он.

— Вы можете писать мне на адрес Красного креста. Только просите кого-нибудь написать вам адрес по-гречески.

— Но ведь вы уезжаете из Афин. Когда вы едете?

— Я думаю, на следующей неделе,— сказала она.

— А там, в этом новом месте — смогу я вас там отыскать?

— В Янине? Да. Помните — Янина! Янина!

— Не забуду,— сказал он.

Он потянул ее за руку и остановился. Потом повернул ее лицом к себе и поцеловал в губы. Она не оттолкнула его. Ее жаркие губы были крепко сжаты. Он забыл все на свете. Он чувствовал только, как горит его лицо и как по всему его телу разливается теплота этой девушки.

Он оторвался от нее, и они медленно пошли дальше. Он молчал. Молчал, так как знал, что всякие слова неуместны. А он не хотел позволять себе с ней ничего неуместного.

— Это глупо,— сказала она.

— Ничуть не глупо,— возразил он.

— Вы уедете. Я уеду. А мы сейчас делаем вот что...

— Ничуть не глупо. Мы будем видеться.

Ему не хотелось говорить.

— Не в этом дело. А в том, что впереди ничего нет.

— Почему нет?

Квейль хотел снова обнять ее, но она не остановилась.

— Потому что все это слишком сложно,— сказала она.— И потому, что вы уедете.

— Я вернусь,— сказал он.

— Да нет же. Я хочу сказать — уедете из Греции.

Она не нервничала и говорила очень спокойно. Квейль предпочитал бы меньше твердости.

Он остановил ее, и на этот раз ее губы трепетали, как напряженно бьющийся пульс. Ее руки обвились вокруг его шеи, и возбужденный теплотой ее тела, он стал целовать ее

сначала страстно, потом очень нежно. Она вырвалась из его объятий.

— Плохо то, что не скоро повторится такая минута,— она попрежнему говорила спокойно.

— Вы забудете? — спросил он.

— Не знаю. Но знаю, что плохо разлучаться надолго.

— Не всегда. Скажите, что не всегда?

— Не знаю,— сказала она.— Не знаю.

Они приближались к дому. Начал моросить мелкий дождь. Квейль опять поцеловал ее и погладил по голове. Волосы ее были мягкие и мокрые, очень густые, они ложились прядями ей на плечи и обрамляли лоб пышной и ровной челкой.

— Не забудешь? — тихо и страстно произнесла она.

— Нет.

Он потерял голову. Он это чувствовал. Он это знал.

— Нет?—повторила она и грубым жестом пригнула его голову к себе.— Я сообщу свой адрес. Жди здесь.

— Буду ждать,— обещал он, хотя знал, что не будет.

— Дальше не надо,— сказала она, когда они подошли к воротам.

— Как хочешь.

Он поцеловал ее еще раз в полуоткрытые мягкие губы, а она с величайшей нежностью провела рукой по его волосам. Затем он быстро повернулся и зашагал прочь, думая о том, как он теперь доберется домой,— она совсем забыла, что обещала найти для него такси.

ГЛАВА 6

На другое утро погода была безоблачная. Они вылетели еще до рассвета и поднялись на значительную высоту, чтобы перебраться через Парнас. Воздушных ям было много, и Квейль продолжал набирать высоту, чтобы выйти из беспокойных слоев атмосферы, но и на высоте двенадцати тысяч футов встречный ветер дул со скоростью двадцати миль в час, что сильно сказывалось на расходе горючего. Лететь было скучно, и приходилось следить за собой, чтобы не задремать. Квейль хо-

тел сохранить строй и все время оглядывался,—не отстал ли Тэн и идут ли Вэн и Ричардсон как следует. Это стало у него, впрочем, привычкой — постоянно оглядываться назад, не пристроился ли в хвост итальянец, даже когда, как сейчас, не было почти никаких шансов встретить итальянский истребитель.

Внизу открывалась живописная панорама, по мере того как поднимались горы и все шире разворачивались долины, разворачивались, пока не охватили горы со всех сторон. Низко нависшая туча скрыла на время вершины гор, а по склонам поползли тени огромных лесов, придавая картине еще более красочный вид. Очень красиво все это было с высоты двенадцати тысяч футов. Когда-нибудь, думал Квейль, надо будет приехать сюда и посмотреть на всю картину снизу. Или хотя бы на часть картины. И вернуться к нормальному представлению о времени и пространстве, разделяющих отдельные места. Эти места особенно было бы интересно обойти пешком. После войны было бы чудесно это проделать... После войны... Он постарался отогнать мысль о том, что будет после войны... перевел взгляд на доску приборов, чтобы отогнать ее, но она крепко засела в мозгу. После войны...

Что будут делать Горелль, Вэн, Тэп, Ричардсон или Стюарт, Констэнс, Соут, да все они, после войны? И чем они, черт возьми, занимались до войны? Он не знал. Не знал потому, что не спрашивал их; а не спрашивал потому, что это дало бы им право, в свою очередь, задавать вопросы ему, а этого он не хотел. Почему? Что за беда, если они спросят? Почему не ответить? Он слушал лекции в Лондонском университете, собирался стать инженером. Так, хорошо, но разве это хоть кому-нибудь из них интересно? Вот, например, Тэп. Квейль знал, что он делал до войны. Шатался по Лондону и швырял деньгами направо и налево, так как не знал, куда их девать. Имя Тэпа иногда встречалось в светской хронике, и он был очень удивлен, когда Тэп появился в их эскадрилье и ему пришлось обучать

его, а также и Горелля, некоторым особым маневрам на «Гладиаторе».

Горелль был совсем юным, когда началась война. Лет восемнадцати, не больше. Он поступил в колледж короля Вильгельма, когда Квейль уже кончал его. Возможно, что они и встречались там, но он не помнил этого юношу с открытым лицом, ослепительными зубами и волнистыми волосами. «Из него выйдет толк в жизни,—думал Квейль — если только он уцелеет». Парень здоровый, простой, глубоко порядочный, не мучающий себя сложными вопросами. Вроде Вэна, только Вэн, как австралиец, более практичен. Вэн отлично разбирался во всякой обстановке и всегда знал, что надо делать. Он весь был такой же подвижной, как его смуглое, скуластое лицо, а его протяжный говор при первом знакомстве можно было принять за «кокни». Но когда Тэп как-то сказал ему это, он очень рассердился. Он тоже еще совсем юнец, но, повидимому, успел познакомиться с практической стороной жизни; он вечно говорит об овцеводческой ферме в Австралии, на которой он вырос. Что его заставило стать летчиком? Они, вероятно, все такие в Австралии, интересно было бы съездить туда после войны.

А Ричардсон, курчавый, положительный Ричардсон, который вечно спорит с Тэпом, потому что он серьезно смотрит на вещи, а Тэп совсем наоборот... Да, это уравновешенный и хороший боец, на него можно положиться. Но чем он занимался до войны, черт возьми? Он никогда не распространялся на этот счет, и Квейль вдруг почувствовал к нему уважение за это. Сейчас совершенно другая жизнь, не имеющая ничего общего с тем, что было до войны.

И Брюер тоже никогда не говорил о том, что он делал до войны. Брюер... Высокий, жилистый, добродушный Брюер... «Надо бы сойтись ближе с Брюером»,—подумал Квейль. Со всеми ними надо сойтись поближе. Эта мысль всегда приходит ему в голову, когда он летит над землей. Но сразу куда-то улетучивается, когда он садится на землю. Сдержан-

ность — необходимая вещь в их профессии. Очень важное качество. Но надо больше обращать на них внимания, Квейль. Соут, например. Кто обращает внимание на Соута? На этого паренька с детским лицом... Всегда он на месте, но никогда не скажет ни слова. У него нет характера или недостаточно характера, и он не может преодолеть свою застенчивость. Будь у него хоть такое чувство юмора, как у Констанса... Квейль вспомнил, как однажды Констанс, выйдя из кабины после полета, принялся так хохотать, что на силу мог рассказать, как он наклонился вперед, чтобы высмотреть один «КР-42», и у него подвернулась рука, а коленом он толкнул ручку управления и не успел опомниться, как перевернулся в воздухе, а когда он потянул ручку управления назад, то случайно задел гашетку и выпустил пулеметную очередь чуть не в хвост Тэпу. И, слушая его, все тоже хохотали, кроме Соута.

Хикки раньше во многом напоминал Ричардсона, но он стал гораздо сдержаннее по мере того, как эскадрилья росла и появлялись новые люди. Херси, Тэп, Хикки и сам он, Квейль, составляли первоначальные кадры эскадрильи. Все остальные были, так сказать, новенькими. Херси раньше всех вступил в эскадрилью. Он был, как полагается, равнодушным циником, но Квейль помнил случай, когда Херси во время налета итальянцев на Фуку так кипятился, что чуть не оторвал ему руку, пытаясь втащить его на наблюдательную вышку, чтобы он мог следить оттуда за ходом бомбежки.

Остаются еще Финн и Стюарт. Финн был светлый блондин, вроде Лоусона. «И вообще он похож на ружьишкой на Лоусона, — думал Квейль. — Стюарт и Финн всегда неразлучны — они так подходят друг к другу. Они часто вылетают вдвоем, отдельно от других. Оба они так молды...»

— Джон, — услышал он вдруг, — меня начинает тошнить. Давай поднимемся выше.

Это был Тэп. Квейль только сейчас почувствовал, как сильно качает,

и увидел впереди скопление облаков. Эскадрилья находилась на высоте тринадцати тысяч футов.

— Ну как, поднимаемся выше? — снова спросил Тэп.

— Ладно, до пятнадцати тысяч, — ответил Квейль. — Только не отставай, Тэп.

Квейль по продолжительности полета определил их местонахождение. Они миновали уже последнюю горную цепь, через полчаса можно будет пойти на снижение.

— Осталось каких-нибудь полчаса, Тэп. Не стоит забираться выше, — сказал Квейль в микрофон.

Под ними была сейчас плотная туча, слишком плотная, чтобы пробиться сквозь нее. Квейль попытался связаться по радио с Ларисой.

Он выравнивал звено. С полчаса кружились самолеты над тучей, но никаких просветов в ней не было. Квейль отдал команду: сомкнуться теснее и не терять его из вида, и врезался носом в тучу. Туча была густая, белая, и «Гладиаторы», нырнув в нее широким разворотом, попрежнему не находили в ней просветов. Звено шло за Квейлем вплотную, пока не спустились до шести тысяч футов. В одном месте туча сгустилась особенно сильно. Воздушное течение, идущее к земле, захватило Квейля и бросило его книзу футов на пятьсот. Он видел ее собой два самолета, но другие два отстали. Вэн и Ричардсон оторвались. На высоте двух тысяч туча разорвалась, и Квейль очутился под ней.

Он легко отыскал аэродром Ларисы, и самолеты один за другим сели на грязную мокрую площадку.

Хикки уже нашел пустующий старый дом на окраине Ларисы. Квейль, Вэн, Тэп, Ричардсон и Горелль вытащили из кабин свои фибровые чемоданы и сумки с летным снаряжением. Штаб гарнизона Ларисы предоставил в распоряжение Хикки огромный «Паккард», на котором они и проехали две мили до города. Дом, где они остановились, был пустой и просыревший насквозь. Сырость под открытым небом — вещь вполне законная, но сырость и холод в доме действовали угнетающе.

Лариса оказалась городом-деревней. Старые дома из белого камня располагались квадратами кварталов по обе стороны вымощенных булыжником улиц. На главной улице, тянувшейся через весь город, попадались новые здания. На площади стояла новая гостиница с рестораном, но ресторан был заперт, и проникнуть туда не удалось. Смуглые, невысокие, завернутые в кучу одежды греческие крестьяне, усталые на вид солдаты и мелкие торговцы Ларисы радостно улыбались им, когда они проходили по улицам. Некоторые хлопывали их по плечу. Это делали, по большей части, крестьяне, и Горелль сказал:

— Я никогда не думал, что греки такие...

Ричардсон, Вэн, Горелль, Тэп и Квейль зашли в кафе, весьма мрачное снаружи, с крашеными деревянными ставнями. Кафе было тускло освещено простыми электрическими лампочками без абажуров, ветхие мраморные столики косо стояли на грязном дощатом полу. Летчики уселись за один из столиков, и к ним подошел седовласый официант. Он был одет, как и все здесь, и они не сразу признали в нем официанта. Кивнув головой и улынувшись, официант исчез и вернулся с пятью рюмками, наполненными прозрачной, похожей на воду жидкостью. Он поставил рюмки перед посетителями, быстро закивал головой и сказал что-то по-гречески. Квейль поднес рюмку к носу — пахло лакрицей.

— Оузо, оузо, — сказал официант.

— Ладно, — сказал Вэн, — мы выпьем.

Он поднял рюмку. Они все подняли свои рюмки, повернулись лицом к залу, затем к официанту, громко сказали: «Ваше здоровье» — и выпили.

— Чорт возьми, — сказал Тэп. — Вот это да!

Напиток оказался очень крепким и напоминал по вкусу цитварное семя. Официант принес из буфета бутылку и снова наполнил рюмки. Потом он принес кофе по-турецки в маленьких чашечках. Они снова выпили. Крепкая влага разливалась по всем

жилам. В дверях показался священник и направился к летчикам. У него были длинные волосы и длинная борода, одет он был в черную рясу с подрясником.

— Мосье, — сказал он.

— Монсеньер, — сказал Квейль.

Священник ничего больше не произнес, только улыбнулся и потребовал еще бутылку. Ему тоже подали рюмку. Он не переставал подливать летчикам. Прочие посетители, укутавшиеся потелее, — рабочие и крестьяне, в широких штанах и башмаках с загнутыми кверху носками, — тоже подсели к ним. Компания расширилась и продолжала пить, греки хлопали летчиков по спине и весело говорили между собой, причем Квейль неоднократно ловил слово «инглизи». Квейль чувствовал, что ему становится жарко и весело. Вэн подружился со священником, пал с ним вровень и хлопал его по спине. Крестьяне и рабочие оживленно разговаривали. Одного они куда-то улали. И все время, рюмка за рюмкой, пили прозрачный напиток. Некоторые крестьяне пили его из стаканчиков, подбавляя воды, отчего напиток делался мутным, как облако. Все время греки возбужденно о чем-то толковали, а летчики обменивались между собой замечаниями по-английски. Разговор прерывался, когда они поворачивались к грекам, и греки молча улыбались им, а они улыбались грекам. Это молчание говорило больше слов и не нуждалось ни в каких пояснениях.

Вскоре вернулся грек, которого послали из кафе. С ним был другой, одетый по-европейски, в пиджачную пару и коричневые ботинки. На голове у него была серая шляпа.

— Вы англичане? — спросил новый грек по-английски.

— Да.

— Летаете? Сражаетесь? Ого! Добро пожаловать! Вы сражаетесь?

— Да.

Он повернулся к другим и сказал что-то по-гречески, потом снова обратился к летчикам.

— Вы чудесные ребята. Мы видели сегодня, как вы прилетели. Ах, как хорошо!

Греки что-то наперебой кричали ему.

— Они просят передать вам свое приветствие. Они рады вас видеть а Ларисе и пьют за ваше здоровье. Все пьют. Да.

Люди кивали головами, улыбались и поднимали рюмки. Вэн встал, поклонился и тоже поднял рюмку. «Эллас»,— сказал он, и, услышав от англичанина первое греческое слово, означавшее «Греция», которое Вэн заучил в «Аргентине», греки сгрудились вокруг него, затопали ногами и осушили свои рюмки.

— Моя фамилия Георгиос. Я из Австралии — вот смотрите.

Грек вытащил из кармана паспорт, на котором сверху значилось «Британский паспорт», а пониже под австралийским гербом «Государство Австралия». Все повернулись к Вэну. Грек оказался австралийским подданным. Энтузиазму не было границ.

— Вэн! смотри — земляк. Австралиец, понимаешь?

Грек — земляк Вэна. Это было замечательно, все сходили с ума от восторга.

— Ваше здоровье! — крикнул Тэл со смехом и залпом осушил свою рюмку.

Вэн был счастлив. Они тут же стали вспоминать Брисбэн. Потом Вэн запел «Матильда пляшет», и грек тотчас же подхватил песенку.

— Эх, вы, несчастные томми! — крикнул Вэн, дерзко вздернув вверх свой смуглый подбородок.

— Сам ты несчастный австралишка! — крикнул ему Ричардсон.

— Вы только послушайте, — не унимался Вэн. Развалившись на стуле, он снова запел «Матильду».

— Тише! — крикнул Тэл.

Но Вэн продолжал петь, а Георгиос, наклонившись к нему, подтягивал. Он тоже был счастлив, потому что Вэн искал у него поддержки в этом шуточном национальном споре.

— Куда вы годитесь! — орал Вэн. — Вот смотрите — нас двое. Выходите на нас всей компанией. Всех уложим. А нас только двое — понимаете?

Он повернулся к Георгиосу — тот широко улыбался.

Квейль рассмеялся, когда Вэн встал и принял угрожающую позу.

— Когда мы налетаем на итальянцев, — шумел Вэн, — они удирают от нас, как полоумные. Разве не правда?

Он посмотрел вокруг.

— И великолепно, — сказал Ричардсон. Он потерял свой уравновешенный вид.

— Задайте хорошенько этим мерзавцам! — воскликнул Георгиос.

— Мы им покажем! — обещал ему Вэн.

Греки опять, перебивая друг друга, кричали что-то. Георгиос перевел:

— Они говорят, что вы спасаете Грецию. Мы на земле, а вы в воздухе. Они еще хотят сказать, что мы ненавидим фашистов больше, чем вы, потому что у нас тоже есть фашисты. Вот почему мы так бьем их. Вы уничтожите всех итальянцев в воздухе, а мы — на земле.

— Передайте им, что они самые храбрые воины на земле, и мы будем рады очистить для них воздух, — сказал Вэн. Каждое слово он подтверждал ударом кулака по плечам священника, и удары стали еще сильнее, когда он, кивая головой, подтверждал речь Георгиоса, который пространно с многочисленными жестами передавал его слова по-гречески.

Священник поднял рюмку и сказал только одно слово:

— Нике.

— Победа, — перевел Георгиос.

Это вызвало новый взрыв энтузиазма. Люди кричали, смеялись и пили — им еще не приходилось пить за победу, и греки отнеслись к этому так серьезно, что летчики не могли удержаться от смеха.

— Можно здесь достать чего-нибудь поесть? — спросил Вэн Георгиоса. Священник с явным удовольствием смотрел на Вэна, который был несколько похож лицом на Байрона.

— Здесь нет, но я покажу вам хорошее местечко. Я знаю, где можно поесть.

— Спросите их, сколько все это

стоит,— сказал Вэн, опуская руку в карман. Георгиос обратился к официанту, но тут поднялся страшный шум, и Георгиос сказал:

— Они говорят, что вы не должны платить. Вы — гости. Мы так счастливы, что вы здесь,— вы наши гости.

— О нет.

— Вы их обидите,— сказал Георгиос.

— Ну, так спросите их, можем ли мы в свою очередь угостить их. Тут уж ничего нет обидного.

Георгиос перевел слова Вэна, греки засмеялись и закивали головами.

— Да, они будут очень рады.

Рюмки наполнились опять, и летчики выпили за греков, а греки с очень серьезными лицами подняли свои рюмки и разом опрокинули их.

— Они просят выпить с ними еще,— сказал Георгиос.

— Передайте им, что мы еще ничего не ели,— сказал Квейль.

Георгиос передал. Греки закивали головами, и летчики встали.

— Сколько с нас? — спросил Вэн.

— Оставьте двадцать драхм. Хватит вполне,— сказал Георгиос.— Я покажу вам, где можно закусить.

Греки начали пожимать им руки. Они пожали руки всем грекам, и греки хлопали их по спине, пока она надевали шинели.

У Квейля брюки были заправлены в сапоги на бараньем меху. Один из крестьян указал на сапоги и кивнул головой. Квейль кивнул ему в ответ.

— Они просят, чтобы вы завтра опять зашли выпить с ними,— сказал Георгиос.

— Скажите, что мы будем очень рады.

Летчики вышли из кафе под возгласы греков: «Дзито и англизи!» Они кричали в ответ: «Дзито и Эллас!» Выйдя на площадь, Квейль понял, насколько он был пьян. Он плохо соображал, плохо реагировал на окружающее.

Они легли спать рано. Действие напитка, который Георгиос называл «оузо», начало сказываться со всей силой через час. Так пьяны они еще никогда не были. Хикки был недоволен: завтра им предстояло целый

день патрулировать — итальянцы уже начали бомбить прибрежные города и дороги. Грекам приходилось весьма туго, и если эскадрилья не отразит эти воздушные атаки, греки, весьма вероятно, вынуждены будут ступить, вместо того, чтобы продолжать наступление.

На другой день они все были очень серьезны и следили за собой, так как понимали, что вчера белый напиток вывел их из равновесия. Они отправились на аэродром, и Хикки принес карты из цементного барака, ползину которого занимал оперативный отдел греческого штаба. Карты были слишком малы, масштаба 1 : 1 000 000. Но лучших нельзя было достать, если они не хотели пользоваться картами с греческими надписями. Район, который им предстояло охранять, простирался на юго-запад до прибрежного городка Арта, где был порт. Через порт и тянувшееся от него шоссе шло снабжение всего прибрежного фронта. Им предстояло летать через Пинд, горный хребет, который проходит с севера на юг и делит Грецию на две части, и патрулировать дорогу между Артой и Яниной и между Яниной и перевалом Метсово, на вершине Пинда.

Они снялись с аэродрома утром звеньями по трое. Ведущими шли Хикки, Херси, Квейль и Тэп. Быстро поднявшись до тысячи футов, они построились клином и взяли курс напредки.

Вскоре они перевалили через невысокий горный кряж и набрали высоту, следуя по течению реки Пенейос, орошающей равнину между Кардицей и Триккала. Они рассчитывали достичь Арты приблизительно в то же время дня, в какое накануне итальянцы бомбардировали этот городок.

На вершинах Пинда лежал снег, и Квейль почувствовал, что ему становится холодно. Он пожалел, что на нем не было теплых шаровар, но шаровары эти трудно было достать за пределами Англии. Нестроевые офицеры присвоили себе монополию на теплые комбинезоны. Сильно начало, и Квейль подумал, что Тэпа, должно быть, тошнит. За Квейлем

шли Горелль и Ричардсон, за Тэпом Вэн и юный Финн.

Когда Пинд будет виден с запада, тогда пора набирать высоту. Хикки предпочитал не пользоваться микрофоном, так как какой-нибудь итальянский самолет, находящийся поблизости, мог их услышать, а их главная сила была в неожиданности. Необходимо было поэтому идти в тесном строю. Впрочем, Хикки с такой легкостью и таким искусством вел эскадрилью, что сохранять строй было нетрудно.

Эскадрилья была уже над Артой. Тонкая пелена облаков висела над городком, лишь изредка открывая просветы. Облака были низко и служить прикрытием не могли. Солнце светило ярко. Эскадрилья повернула на север и направилась по течению реки, которая извивалась вдоль шоссе и служила указателем для итальянцев. Летчики поглядывали вокруг в ожидании неприятеля. Эскадрилья построилась в боевой порядок и держалась на высоте пятнадцати тысяч футов. Квейль совсем не улыбалась перспектива боя над этими высокими горами, предательские вершины которых окутаны облаками. Хикки качнул свою машину, подавая сигнал, и Квейль быстро осмотрелся вокруг. Прямо к ним шло внизу огромное соединение итальянских самолетов — такого большого соединения Джон Квейль еще никогда не видал. Оно растянулось на добрый десяток миль. Тут было не меньше ста пятидесяти самолетов. Квейль не мог рассмотреть, в какой пропорции здесь были бомбардировщики и истребители, но он видел отдельные группы самолетов, состоявшие, повидимому, из истребителей, и не мог удержаться от восклицания: истребителей было по крайней мере пять десятков.

Через короткое время итальянцы очутились как раз под ними, и Квейль не мог сказать, видит ли их неприятель, или нет. Но тут Хикки качнул крылом, и Квейль понял, что начинается... Вечная история. Ведь это ужас. Пятьдесят вражеских истребителей. У него засосало под ложечкой. Эскадрилья сделала раз-

ворот и находилась теперь позади итальянцев, на высоте трех тысяч футов над ними. И тут началось.

Хикки сделал пике, остальные последовали за ним. Квейль видел, как они проваливались вниз один за другим. Когда нырнул Ричардсон, Квейль тоже сделал пике, и вокруг него были только «Савойи» и «КР-42», и он подумал, что должно случиться чудо.

Уже далеко внизу Квейль увидел, что Хикки, прорвавшись сквозь строй вражеских истребителей, шел прямо на бомбардировщики. За ним шли остальные. Тэл со своим звеном оставался вверху, чтобы броситься на подмогу, когда придется слишком туго. Итак их было девять — девять против целой тучи.

В этот самый момент Квейль прорезал строй «КР-42».

Он летел со скоростью миллиарда миль в час, проскользнул между двумя «КР-42» и видел, как оба пилота повернули к нему голову. Он знал, что они погонятся за ним, и сумасшедшим пике ринулся прямо на один из бомбардировщиков. Нет, этот мерзавец не уйдет от него. Квейль совсем оглох и ничего не слышал. Он только смотрел вперед, и когда «Савойя» мелькнул в его визире, он, зверски крича, изо всех сил нажал гашетку и вывел свой самолет из пике, цапнув спину бомбардировщика, когда взмыл кверху, и все кричал и кричал...

Внезапно Квейль увидел «Гладиатора», который свечой пошел вверх, спасаясь от итальянца. Квейль сделал поворот через крыло и, не оглядываясь назад, кинулся на «42» и всадил ему в хвост пулеметную очередь. «42» слишком круто задрал нос кверху, потерял скорость и начал падать. Когда Квейль выравнивал свой самолет, далеко направо он увидел раскрывшийся парашют и подумал — не из их ли эскадрилья выбросился кто-нибудь.

Но думать было некогда: бросив взгляд вниз, он увидел, что идет почти крыло к крылу с «КР-42», который держался немного выше его, но гораздо ближе, чем летят обычно

самолеты в строю. Квейль видел лицо итальянца и его недоумевающий взгляд. Итальянец видел лицо Квейля. Они шли совсем близко один от другого; оба инстинктивно оглянулись назад — нет ли кого в хвосте, и продолжали идти прямо, не отрывая взгляда друг от друга, и каждый ждал, пока другой пошевелит рукой.

Время казалось вечностью. Внезапно Квейль нажал правый руль и закрыл дроссель, его правое крыло застыло на месте. Падающим листом он нырнул под «КР-42». Затем дал полный газ и взмыл кверху, и когда брюхо вражеского самолета мелькнуло в его визире, он громко выругался и нажал гашетку, — он знал наверняка, что попал в цель. Он чуть не врезался в итальянца, но, сделав переворот через крыло, выбрался из-под него как раз в тот момент, когда неприятельский истребитель вспыхнул и камнем пошел вниз.

Квейлю казалось, что он остался один.

С правой стороны все небо усеяно беспорядочно разбросанными самолетами, но он видел лишь одни «42». И вдруг, откуда ни возьмись, один «Гладиатор» ринулся на двух «42», сверкнул желто-красный язычок огня, и струя трассирующих пуль врезалась в итальянца. «42» на минуту повис в воздухе, затем перевернулся и стал падать, но в то же время Квейль увидел еще один «Гладиатор» слева, который начал терять высоту, повидимому, с ним что-то случилось. Квейль осмотрелся по сторонам, но мог различить еще только три «Гладиатора», не считая тех двух, что были неподалеку от него. По серому пятну на правом верхнем крыле в одном из этих двух он узнал машину Тэпа.

В этот самый момент подбитый «Гладиатор», охваченный пламенем, пронесся вниз почти рядом с ним. Квейль видел фигуру летчика в кабине, но не мог разобрать, кто это. Одно он знал наверняка, что летчик погиб. Он бросил взгляд вверх и увидел «КР-42», который сбил «Гладиатора». «42» уходил, и Квейль хотел броситься за ним, но его опе-

редил Тэп — он был ближе. «42» сделал иммельмана и совсем было уже зашел в хвост Тэпу, как вдруг Тэп сделал самую крутую, самую страшную петлю, какую видел когда-либо Квейль, очутился вверху над «42», подошел к нему с борта и начал садить в него одну пулеметную очередь за другой. «42» загорелся и начал падать. Тэп опять сделал петлю, зашел сзади Квейля и поднял вверх руку — сигнал, означавший, что он израсходовал боеприпасы.

Они повернули домой. Их двое — вот все, что Квейль знал пока. Он чувствовал страшную усталость и не стал следить за остальными «42», которые уходили на север. Его не интересовало, отбили они атаку бомбардировщиков или нет. Его не интересовало ничто, он чувствовал только усталость. От жестокого напряжения у него так разболелся живот, что ему хотелось облегчить желудок тут же в кабине. Он взял курс на Ларису и стал набирать высоту, потому что во время боя они с пятнадцати тысяч футов спустились до трех тысяч. В пылу атаки он совершенно забыл о горах, а теперь они вставали перед ним во всей своей опасной реальности.

Квейль включил микрофон и крикнул:

— Тэп, контакт!

— Есть, — ответил Тэп. — Вот так переплет, скажу тебе. Кого из наших сбили?

— Не знаю.

— Как будто Хикки? — сказал Тэп.

— Нет, Хикки так легко бы не дался.

— А Горелля ты не видел? Не видел, чтобы сбили еще кого-нибудь?

— Я видел только, как один из наших терял высоту, — сказал Квейль.

— Чорт возьми, ну и каша! А за Горелля стоило посмотреть. Он был, как бешеный.

Разговор прервался. Они медленно возвращались к Ларисе. Очугившись над городом, они, как автоматы, пошли на посадку. Тэп приземлился после образцовой медленной бочки, и Квейль сделал то же, хотя чувствовал себя совершенно разби-

тым. Он знал, что и Тэп чувствует себя не лучше.

Вылезши из кабины, Квейль увидел большой транспортный самолет «Бомбей». Двое людей бежали к ним по аэродрому и Квейль сразу узнал их: Джок и Рэтгер — монтер и механик. Пока эскадрилья дралась, они прилетели сюда на «Бомбее».

— Кто вернулся? — спросил их Квейль.

— Мистер Херси, мистер Финли, мистер Ричардсон и мистер Стюарт...

— И это все? Господи боже!..

Херси, Тэп, Ричардсон, Стюарт и он сам...

— Да, сэр. Мистер Финли чудом добрался назад. Его самолет весь в дырах.

Квейль снял с себя парашют. Пока он расстегивал лямки, Джок обошел его самолет со всех сторон.

— Ни одной пробоины. Но поглядите на тросы, — сказал Джок.

Тяги так ослабели, что болтались на слабом ветру. Квейль бросил взгляд на них и пошел.

Только четверо, и даже Хикки не вернулся. Должно быть, Тэп прав, и это Хикки загорелся в воздухе, думал Квейль, шагая к цементному барраку. Нет, не может быть! Хикки, Горелль, Констэнс, Соут, Брюер, Финн — никто из них не вернулся. Брюер и Финн... сразу в такую переделку! Брюер... возможно, что то был Брюер... А Соут... тихий Соут! Из двенадцати вернулось пятеро... Но ведь «КР-42» было не меньше сотни. Во время боя подошло еще несколько отрядов. Интересно все-таки, как там бомбардировщики... Квейль не проследил за ними до конца. Куда там! Такая каша!

— Мог ты представить себе что-нибудь подобное? — этими словами встретил его Тэп, когда он вошел в оперативный отдел.

— Ты не знаешь, что остальные ми? — спросил Квейль.

— Нет. И никто не знает.

В это время послышался шум мотора. Они выбежали наружу. На площадке все стояли, задрав голозы вверх. Самолетов было несколько. Квейль насчитал три. Они шли очень низко и сразу приземлились, как буд-

то хотели поскорее соприкоснуться с землей. Андерсон, врач эскадрильи, приехавший сюда на «паккарде», сел в автомобиль и поспешил к самолетам, потому что они не разъехались, как полагается, в разные стороны, а остановились рядом. Из одного вышел Хикки. Из другого вылез Констэнс. Хикки и Констэнс направились к третьему самолету, и летчики все бросились туда вместе с доктором. Подбежав, они увидели, как Хикки и Констэнс вытаскивают из кабины Горелля. Он был смертельно бледен и не мог стоять на ногах. Андерсон положил его на землю, глаза его были закрыты, его тошнило... Все лицо было в крови, кровь была и на комбинезоне. Когда врач снял с него комбинезон, Квейль увидел пулевую рану на шее. Андерсон достал из походного чемоданчика марлю и эфир и начал вытирать кровь. Квейль видел, как Тэп побледнел и отошел в сторону. Двое солдат из наземной команды принесли простые греческие носилки. Хикки и Квейль понесли раненого к автомобилю; врач осторожно продолжал вытирать кровь, стараясь не причинять боли. Раненый пошевелился, но не открыл глаз, веки его были все время плотно сжаты.

— Беда, — сказал Андерсон. — Он потерял много крови. Везти его в автомобиле просто беда.

— Можно подождать, пока мы попробуем раздобыть карету скорой помощи? — спросил Хикки.

— Нет. Кладите его сюда, во всю длину. Голову выше.

Они положили Горелля на заднее сиденье. Хикки занял место шофера, а врач уселся на полу, не выпуская из рук своего чемоданчика.

— Я скоро вернусь. Ждите меня здесь, — сказал Хикки остальным.

— Мы поедem в город с командой, — предложил Тэп.

Хикки бросил «ладно», дал газ и автомобиль с ревом отъехал.

Оставшиеся прошли к самолету Горелля посмотреть, что с ним случилось. Хвостовое оперение было почти начисто срезано пулеметным огнем и еле держалось. Пуля, пронзившая шею Горелля, пробила зад-

ную стенку кабины и вдребезги разбила указатель поворота и крена. Пол и сиденье в кабине были залиты кровью.

Больше тут делать было нечего, и они пошли, обсуждая подробности боя. Все говорили разом, но Тэпа выслушали внимательно, так как он следил за ходом боя от начала до конца.

— Сколько мы все-таки сбили?— спросил Ричардсон.

— В первые же двадцать секунд два их самолета рухнули на землю,— ответил Тэп.

— Куда девались Вэн и Финн?

— Я думаю, что это самолет Финна загорелся в воздухе,— сказал Констэнс.

— Нет. Я видел, как на Финна на село около десятка «42» недалеко от меня, а тот самолет был далеко,— сказал Ричардсон.

Послышался шум мотора, все устремили глаза в небо. «Гладиатор»,— сказал кто-то. Но самолета пока не было видно. Летчики слышали только шум мотора и до боли напрягали зрение. Самолет появился с северной стороны. Он шел очень низко. А вдалеке за ним шел другой.

— Два! Два!

Первый самолет приземлился, все ждали, кто выйдет из кабины... Но они узнали его только, когда он сбросил парашют и направился к ним.

— Финн.

И другой самолет приземлился.

— Это самолет Вэна,— сказал Констэнс. Но они ждали, пока летчик выйдет и повернется в их сторону.

— Это Брюер,— сказал Тэп.

Значит, нехватало только Вэна и Соута... Один рухнул на землю в горящем самолете, другой выбросился на парашюте.

Брюер на ходу хлопал руками.

— Чертовски замерз. Кто вернулся?— спросил он.

— Все, кроме Вэна и Соута.

— Я видел, как Соут выбросился на парашюте,— сказал Финн.— Я провожал его некоторое время вниз.

— Ну, а Вэн чуть не столкнулся со мной когда загорелся и падал, сообщил Брюер.

«Итак, это был Вэн! Кто-то в Австралии наденет траур. У нас вышло из строя три человека и четыре самолета»,— думал Квейль. А может, и пять, если принять во внимание, в каком состоянии машины. Интересно, пришлют ли пополнение? Может быть, сюда направят остальные три «Гладиатора» из нашей эскадрильи. Мало толку, если семерым придется драться против такой массы «42», как сегодня. И еще говорят, чтобы мы интересовались только бомбардировщиками... И вот Вэн!.. Эх, да...

ГЛАВА 7

Хикки сообщил, что эскадрилья переводится в Янину. Городишко дрянь, но близко от фронта. И в четверг утром девять исправных самолетов вылетели в Янину. Самолетом Тэпа занялись механики, его решено было оставить в резерве. Три самолета эскадрильи, остававшиеся в Египте, уже прибыли в Афины и дня через два тоже должны были вылететь в Янину.

Когда они приземлились на выбранной Хикки площадке у подножья молчаливых гор, сеял противный мелкий дождь. Площадка выглядела, как обыкновенное поле. Ни летных дорожек, ни ангаров, и тут же преспокойно паслось стадо овец, в которое чуть не врезался Хикки при посадке. «Еще хуже Ларисы,— подумал Квейль,—отчаянная дыра»...

Их поджидал большой автобус, который должен был везти их в город, раскинувшийся на берегу горного озера. Грек-шофер был в синей форме воздушного флота, в синих сбмотках на ногах, и весь забрызган грязью. Другой грек, высокого роста, в армейской форме, стоял подле автобуса.

— Я капитан Александр Меллас,— сказал он, обращаясь к Хикки.

— Моя фамилия — Хикки.

Он представил капитану остальных.

— Мне поручено сопровождать вас,— сказал Меллас.— Я отвезу вас в город.

Они сели в автобус. Меллас сказал, что в городе страшно рады при-

бытию истребителей... Они ехали по грязной ухабистой дороге, потом по мокрым улицам пригородной деревни, по обе стороны которых в ожидании их уже стояли толпы людей. Улицы были длинные, они то расширялись, то суживались, и были переполнены солдатами, мулами и низкорослыми греческими крестьянами, торговавшими чем придется. Все они громкими восклицаниями приветствовали проезжавших летчиков. Они обогнули огромную скалу, поднимавшуюся отвесной стеной на сто футов, и выехали на обсаженную деревьями дорогу, тянувшуюся по берегу озера. Автобус остановился в отверстии в скале, несколько каменных ступенек вели в пещеру.

— Тут наш штаб. Прошу вас, — сказал Меллас.

Они вышли из автобуса и поднялись по ступенькам в полутемную пещеру. За столами, освещенными простыми электрическими лампочками и заваленными бумагами, сидели люди в военной форме. Воздух был наполнен папиросным дымом. Летчики стояли в ожидании, все взоры были устремлены на них. Некоторые подходили к ним и пожимали им руки, а Меллас исчез в проходе, который вел в другое помещение. Он вышел оттуда вместе с толстым греком с большими щетинистыми усами, закрученными, как у маршала Буденного, хотя вообще он несколько не был похож на Буденного. Лицо его было изрыто оспой, а нос был красный от алкоголя.

— Это генерал...

Квейлю не удалось запомнить его фамилии. Меллас представил их генералу. Генерал не говорил по-английски, но ответил на их приветствие, приложив руку к козырьку и отчетливо щелкнув каблуками. Мундир его был расшит на груди золотом, но генерал был все же покрыт грязью с головы до ног. Летчики тоже были грязные и небритые, а их стоптанные сапоги были до колен облеплены грязью трех аэродромов.

Генерал предложил всем греческие папиросы, но с радостью спрятал их в карман, когда Тэп вынул пачку американских «Честерфильд»,

за которую он заплатил полкраны в английском военном магазине.

Из штаба летчики поехали в гостиницу «Акрополь», стоявшую на углу пострадавшего от бомбардировки квартала. Фасад гостиницы был испещрен следами шрапнели, половина окон была выбита. Меллас долго спорил с здоровенным швейцаром, который спокойно распивал кофе. В конце концов они получили три комнаты на девятерых. Впервые после отлета из Афин можно было принять ванну, но ни у кого из них не было чистого белья. Они отдали целую кучу белья горничной, небольшого роста и некрасивой, но с открытым, смеющимся лицом. Тэп сказал, что он уже договорился с ней насчет стирки, но Квейль сомневался, чтобы из этого что-нибудь вышло. Она приготовила ванну, и пока Тэп мылся, остальные спустились вниз в ресторан.

Улицы города кишмя кишели солдатами; такого множества греческих солдат Квейль еще не видел. Мулы тоже попадались на каждом шагу, но всякое движение останавливалось, когда на улице показывались летчики — это были первые англичане, которых здесь когда-либо видели. По городу быстро разнеслась весть, что прибыли истребители, которые будут охранять Янину от итальянских бомбардировщиков. Летчики чувствовали себя неловко, их смущало, что они здесь единственные англичане: они знали, что греки ожидали не только английскую авиацию, но и английские войска. Меллас шутивным тоном спросил Хикки, когда придут английские войска, но они знали, что вопрос задан всерьез.

Ресторан был очень похож на кафе в Ларисе. Он был переполнен греческими офицерами и солдатами в грязных мундирах, небритыми, потерявшими всякую выправку. Когда вошли летчики, все взоры обратились к ним. Чтобы освободить для них столики, два греческих полковника выгнали группу голодных, низкорослых, перепачканных грязью греческих солдат, хотя летчики протестовали против этого, демонстрируя по-английски свой демократизм.

Меллас прошел на кухню, а солдаты, проходя мимо летчиков, хлопала их по спине — греческий способ демонстрировать. Побывав на кухне, Меллас заявил, что обед будет готов не так скоро, и он пока сходит по делу.

У Мелласа были тонкие усики, красивый овал лица, густая шевелюра, затенявшая лоб; его мундир был самым чистым и аккуратным во всем городе, и все заговаривали с ним.

Квейль думал о Елене. Если это именно тот городок, то она уже здесь. Не стоит думать и гадать, тот или не тот. Какая-то внутренняя уверенность говорила ему, что тот. «Янина... Янина... Меллас произнес это название, точь-в-точь, как Елена. Да, это тот городок, куда собиралась Елена. Мы не виделись неделю. Пожалуй, она уже здесь — на пункте первой помощи. Да, так назывался госпиталь, и так назывался город. Мне действительно повезло. Нет смысла спрашивать в госпитале. Ни к чему. Все и так ясно. Я уверен, что это тот городок. И я не хочу делать неловкостей»...

Было очень приятно опять почувствовать вкус мяса и яичницы с капустой. Греки варят и жарят свои блюда немножко дольше, чем англичане, но блюда были вкусные и горячие.

Появился Тэп, приобретший свежий вид после ванны. Вторую очередь занял Квейль.

Приняв ванну, он опять спустился в ресторан и спросил Мелласа, где находится пункт первой помощи.

— Тут их сотни, — сказал Меллас.

— Но где главный? — спросил Квейль.

— При госпитале, надо полагать, — сказал Меллас. Он объяснил Квейлю, что госпиталь находится в конце улицы — единственное здание на холме.

Квейль отправился в госпиталь. В приемной девушки засуетились при виде английской формы. Девушек — медицинских сестер и разных других — было много. Квейль спросил у одной из них, сидевшей за канцелярским столом, где находится пункт первой помощи. Она смущенно по-

жала плечами, потом тронула его за рукав и повела по коридору. У одной из дверей она остановилась и постучала. В комнате сидела за столом пожилая женщина. Девушка сказала: «Инглизи», — женщина поднялась.

— Здравствуйте, — сказала она по-английски.

— Это пункт первой помощи? — спросил Квейль. — Здравствуйте.

— Нет. Я старшая сестра. Это — госпиталь.

— Простите меня, сестра, — сказал Квейль. — Мне нужен госпиталь первой помощи.

— У нас такого нет, — сказала она и улыбнулась.

— Тогда извините. А мне сказали — есть.

— Обратитесь в канцелярию. Там все обращаются.

— Да, правильно, — сказал Квейль. — Благодарю вас. Там я и выясню.

— А что вы хотите. Может быть, я могу вам помочь? — сказала сестра.

— Спасибо, не стоит беспокоиться. Мне надо навести справку — вот и все, — ответил Квейль.

— Вы разыскиваете раненого?

— Нет.

Он чувствовал себя неловко, сестра проявляла слишком большую внимательность.

— Так что же тогда?

Она села.

— Я ищу свою хорошую знакомую, которая должна была прибыть сюда.

— Ах, так! — Сестра пристально посмотрела на него. Квейль твердо встретил ее взгляд. — Как ее зовут? — спросила она.

— Элен Стангу. — Он произнес ее имя по-английски. — Не знаю, приехала она или еще нет?

Сестра взяла телефонную трубку и кому-то что-то сказала.

— Сейчас мы узнаем. Вы посилите. Вы летчик? — спросила она.

— Да.

— Вы прибыли сюда, чтобы не подпускать итальянцев к нашему городу?

— До известной степени, — ответил Квейль замаявшись.

Вошла девочка с подносом, похожим на чашу весов, и подала Квейлю чашечку турецкого кофе. Такую же чашечку она подала сестре, сестра протянула ей монету, и она вышла. Позвонил телефон, сестра поговорила с кем-то по-гречески, потом обратилась к Квейлю и улыбнулась.

— Ваша барышня еще не приехала. Она придет завтра или послезавтра. Мы всегда любили англичан. Байрона мы сделали нашим патриотом. Он наш национальный герой. Ваша приятельница занимается политикой?

— Она — нет. Ее родные.

— Это хорошо. Каждый грек от природы — поэт и диктатор. Тот не грек, кто не чувствует такого призывания. Женщина — другое дело.

— Она тоже живо интересуется политикой, — сказал Квейль.

— Значит, настоящая гречанка.

Разговаривая, сестра пила кофе, деля в чашечку, чтобы остудить горячий напиток. Руки она вытирала о халат, как делают женщины на кухне. Квейль встал.

— Благодарю вас, сестра. И за кофе тоже. Я зайду завтра узнать, не приехала ли Элен.

— Заходите ко мне оба. Очень хорошо, что вы разной крови. Вы собираетесь на ней жениться?

— Я знаю ее еще очень мало, — сказал Квейль.

— Это не наука. Если чувство есть, оно есть. Если вам не надо подхлестывать себя, значит, пора пожениться. Хотя тут есть проблема, если женщина интересуется политикой.

— Да, — неопределенно процедил Квейль.

— Она изменит свои взгляды под вашим влиянием, — сказала сестра, — или вы измените ваши.

— Или мы совсем не будем менять наши взгляды, — сказал он, и рассмеялся. Ему нравилась эта женщина.

— Такой неизменности вы не найдете, особенно у гречанки, интересующейся политикой.

— Ладно, я приду завтра, сестра.

Тогда подробно потолкуем о политике!

Она рассмеялась.

— Хорошо. А вы не допускайте сюда итальянцев.

— Я поговорю об этом с командиром эскадрильи. До свидания.

— До свидания, мой англизи... До свидания.

Квейль вернулся в ресторан, летчики еще сидели за столиком. Они сообщили ему о начавшемся наступлении англичан. Новость была передана по радио. Англичане продвинулись вперед от Мерса-Матрух и заняли Соллум. Захвачено в плен двадцать тысяч итальянцев.

— Вот теперь мы что-то делаем, — сказал Тэп. Все были очень взволнованы известием.

— Не знаю, как это нам удалось? — заметил Ричардсон.

Ричардсон отнесся к сообщению скептически. И Квейль тоже. У англичан не было достаточного количества войск, чтобы начать какое бы то ни было наступление. Наблюдая обе стороны с воздуха, можно было получить некоторое представление о численности войск и их снаряжении. Английская армия уступала противнику и в том, и в другом отношении. Но Хикки заявил, что сообщение подтверждается штабом.

— Пожалуй, многие вернутся на старые места, — высказал предположение Брюер.

— Только не мы, — ответил Тэп. — Мы останемся здесь до окончания веков. Будем одни драться со всем итальянским воздушным флотом. И с итальянской армией тоже. Мы должны остановить ее наступление и погнать назад.

— Довольно, Тэп, — сказал Хикки: — Меллас прислушивается.

Тэп умолк. Летчики расплатились и поднялись наверх.

Назавтра эскадрилья должна была вылететь на линию фронта в три часа дня. Летчики пообедали и отправились на аэродром. Грузовика с бензином еще не было, они бродили в тумане и ждали.

Тем временем греки выкатили старый «Бреге», модель 1918 года, ко-

торый стоял, замаскированный ветвями. Они сняли ветви с фюзеляжа, очистили кабину, и высокий грек взобрался на сиденье пилота. Другие подкатили на колесах огромный деревянный треугольник и принесли лестницу-стремянку. Один из греков взобрался на лестницу и приставил вершину треугольника к винту, а другой начал вертеть какую-то ручку. Пропеллер стал вращаться с невероятной силой. Когда грек, который был на лесенке, слез, сидевший в кабине крикнул:

— Контакт!

— Контакт! — крикнул другой и освободил пружину. Что-то гнусно завизжало. Пружина распрямилась, и винт закрутился; мотор кашлянул, но тотчас же остановился.

— Какая же это война? — сказал один из англичан.

— Отец рассказывал мне, что так делалось в прошлую войну, — ответил Брюер.

Когда мотор опять заработал, грек подложил два больших камня под колеса, — это должно было заменить тормоза.

— Контакт!

— Контакт!

Завязалось продолжительное т-т-т на греческом языке.

Им пришлось повторить все сначала, несколько раз, прежде чем они запустили мотор; из выхлопной трубы вылетело пламя, самолет дрожал так, что казалось, вот-вот оторвется от земли, а механик подавал газ небольшими дозами, отчего мотор то оглушительно ревел, то совсем замирал. Англичане смотрели и смеялись, как вдруг словно из-под земли появились два летчика-грека. На голове у них были яйцеобразные стальные шлемы. На том, что поменьше ростом, вместо военной формы, были два теплых пальто и высокие, до колен, башмаки на шнурках.

Другой высокий, с длинной бородой, улынулся англичанам и подошел к ним.

— Вы летаете, вы летаете вот на этом? — спросил Тэп, показывая на «Бреге». Он не знал, насколько грек владеет английским языком.

— Да, летаю. Наблюдаю. Снимаю, фотографирую. Понимаете?

Он указал на своего спутника в башмаках и захохотал, закидывая голову назад. Маленький грек скривил рот в улыбку и начал натягивать лямки парашюта на свои два пальто. Бородатый летчик нахлобучил глубже свой стальной шлем, открыл холщевый мешок, который держал в руке, и показал, что было внутри. Мешок был набит старыми башмаками, пустыми жестяками из-под консервов и бутылками...

— Вместо бомб. Бомб у нас нет. Вполне достаточно, чтобы пугать итальянцев.

Он опять захохотал в бороду и закинул голову назад. Тэп похлопал его по спине, он обнял Тэпа за плечи.

— Летим со мной сейчас. Сделайте снимки. А, англизи?

— Вот на этом?..

— Ну, и что ж. Хорошая машина. Мы будем лететь низко. Сверху нас никто не заметит. А снизу они не умеют стрелять. Только греки могут подстрелить нас. Греки стреляют в кого попало.

— Нет, спасибо, — сказал Тэп, — и бородатый опять расхохотался.

— Моя фамилия Нитралексис. Я очень рад вам, англизи. Будем летать вместе.

Хикки, молчавший до сих пор, растянул рот в улыбку так, что его светлые усики чуть не коснулись ушей. Он представил всю эскадрилью Нитралексису и маленькому греку, который назвался Папагос. «Мой генерал Папагос»... — сказал Нитралексис, намекая на генерала Папагоса. Знакомясь, Нитралексис перед каждым щелкал каблуками. Потом он надел парашют, взобрался на переднее сиденье и стал подшучивать над Папагосом, который никак не мог вскарабкаться в кабину. Механики посадили его, он мешком ввалился в кабину, и Нитралексис разразился оглушительным хохотом.

Один из механиков подал Нитралексису холщевый мешок, Нитралексис крикнул что-то по-гречески, другой механик опустился на четвереньки в грязь и выбил камни из-

под колес. Самолет покати́л по аэродрому, и англичане ждали, что он сделает поворот и оторвется от земли против ветра. Мотор заревел, самолет пошел быстрее, поплыл над землей, потом, весь трясясь, поднялся выше, и по ветру стал набирать высоту. Маленький Папагос, высушившись из кабины, держал наготове пулемет. Ствол пулемета торчал в воздухе, как мачта... Они сразу скрылись в тумане, хотя Квейль долго еще слышал шум мотора, с трудом преодолевающего высоту, и до него донеслись звуки выстрелов — это Папагос, летчик-наблюдатель, пробовал свой пулемет.

— Пропал пилот,— сказал Брюер, и все рассмеялись, вспомнив Нитралексиса.

— Он сумасшедший,— сказал Тэп. Квейль сказал:

— Чем больше я вижу греков, тем больше убеждаюсь, что они выигрывают войну, потому что все они сумасшедшие.

— Какие шансы у них при встрече с итальянцами? — спросил Ричардсон.

— Один против тысячи,— ответил Тэп.— Что он будет делать, если на него налетит целый полк «42»?

— А ему наплевать,— сказал Ричардсон.

— Ему, конечно, не сдобровать. Прямо скажу, если он вернется благополучно в такую погоду в этой корзине, тогда я поверю в чудеса.

— Куда к чорту девались эти греки с горячим! — начал раздражаться Хикки.

Им пришлось еще долго ждать, пока подъехал грузовик с кучкой веселых греков, восседавших на борту, свесив ноги вниз. Меллас еще не появившись, и Хикки крикнул сердясь: «Пошевеливайтесь, вы! Пошевеливайтесь! Живее!»

Херси не отходил от грузовика, пока шла заправка, но это нисколько не подгоняло греков. Они больше думали о бочках и бидонах, которые они опорожняли,— в каждом бидоне они оставляли немного бензина для себя.

К концу заправки туман сгустился

еще больше, видимость стала еще хуже.

— Чорт возьми, хотя бы прислали метеорологическую сводку,— продолжал сердиться Хикки.— Нельзя же в слепую сниматься с аэродрома в такую мерзкую погоду.

— Ничего— сказал Тэп,— мы полетим за этим сумасшедшим греком,— интересно посмотреть, что с ним будет.

— Нет, на сегодня придется отставить. Проклятые греки! Где они, чорт их побери, валандались столько времени?

Тэп в шутку стал доказывать Хикки, что непременно надо лететь, но был доволен не меньше остальных, когда Хикки заявил, что полет отменяется. Нельзя лететь в такую погоду. Они уселись в автобус и поехали обратно в гостиницу.

ГЛАВА 8

Нитралексис и Папагос вернулись благополучно. Война прекратилась бы, если бы они не вернулись, так как именно то сумасшествие, к которому сводилось все, что они делали, давало грекам возможность продолжать войну. Если бы не оно, им не с чем было бы воевать. Потому, и только потому, что они делали все это, они могли продолжать борьбу.

Так шло до самой зимы. Зима подкралась исподтишка. Снег выпал рано. Низкие тучи нависли над горами. Сначала снег был только на вершинах гор. Он лежал на них глубокими складками. Потом стал спускаться ниже. Иногда показывалось солнце, снег начинал таять, и все дороги от Янины на север становились непроходимыми. Но через день они подсыхали, и опять по ним тащились мулы. Через Янину проходило столько мулов, что Квейль задавал себе вопрос, куда это все идет. Но от Дельвина до Арийрикаши люди ездят и перевозят тяжести только на мулах—грузовики здесь не пройдут. Греки вели военные действия с гор, а не с дорог, как это делали итальянцы. Приходилось взбираться по крутым склонам и многое тащить на себе. Особенно трудно было с артиллерией. Счастье Греции, что Вене-

лос сумел создать артиллерию. То, что делали с нею греки, не сделал бы никто другой... Их орудия висели на краю обрывов, наводчики определяли угол прицела простым изгибом руки в локте. Зато их артиллерия была в горах повсюду, тогда как итальянцы редко покидали дороги.

По мере приближения к зиме дожди участились, и эскадрилья стала вылетать реже. Лоусон и другой американец-журналист Уолл выехали на фронт. И только Нитралексис и Папагос продолжали вылетать на разведку. Если они получали от штаба приказ, им не было никакого дела до погоды. Они просто вылетали, добывали нужные сведения и возвращались. Нитралексис жил теперь там же, где и англичане, — в «Акрополе». Его смех оказывал на них живительное действие. Но однажды он вылетел и несколько дней не возвращался, и они не знали, что с ним случилось.

Все шло через Янину. Вскоре появились раненые, и однажды вечером в городе произошло замешательство: при полных огнях в город въехали пятьдесят автобусов, переоборудованных под санитарные автомобили, и застряли в узких улочках; раненых пришлось переносить на носилках. А когда госпиталь был переполнен доотказа, раненых стали размещать в частных домах.

Среди прибывавших в город раненых были все больше солдаты с отмороженными руками и ногами. Греки не знали, что делать. Ни у кого не было второй пары носков. Не было смены белья. Не было одеял. Они согревались только коньяком и натягивали на себя каждую тряпку, какую только удавалось им раздобыть.

И еще немалую роль играли злоупотребления и предательство. Офицеры забирали себе львиную долю продовольствия. Они не выступали вместе с солдатами, и команда возлагалась на унтер-офицеров. Отпусков солдатам не давали. На фронт они тащились всю дорогу пешком. Иногда они тащились пять-восемь недель и попадали на фронт настолько усталыми и больными, а их обувь оказывалась настолько изношенной,

что они были совершенно небоеспособны, и все-таки шли в бой.

Это вызывало раздражение среди солдат. Они вступали в споры с офицерами, которые показали себя с дурной стороны. Были случаи, когда солдаты убивали офицеров, подозревая их в предательстве. Офицеры привыкли к удобствам и не умели мириться с лишениями, как солдаты из крестьян и рабочих. Им хотелось поскорей кончить войну и вернуться в города с теплыми квартирами и освещенными улицами, где не было ни страха, ни голода. И потому они согласны были на компромисс с врагами, а солдаты их за это расстреливали.

Однажды в ужасную погоду Квейль провожал Елену в госпиталь. По дороге им попался отряд греческих солдат, шагавших под проливным дождем. Они были в расстегнутых шинелях, без фуражек. Головы у них были гладко выбриты. Лица были серые, глаза потухшие, но смотрели они прямо. Руки у них были скручены назад, и все девять человек были связаны вместе веревкой. Девять других греков, вооруженных винтовками, шагали по бокам. Эти тоже смотрели прямо и ничего не видели, хотя отчаянно щурились, защищая глаза от хлещущего в лицо дождя. Квейль спросил Елену, куда они идут. Она посмотрела на него и взяла его под руку.

— На расстрел, — сказала она.

— На расстрел? Что это — шпионы?

— Они застрелили своего офицера.

— За что?

— Судили его своим судом за измену и расстреляли. А теперь расстреляют их.

— Куда же их ведут?

— За госпиталь — сказала Елена.

— Боже мой! — воскликнул Квейль.

— Это не первый случай — сказала Елена задумчиво. — Солдат расстреливают за нашим госпиталем. Раненые рассказывают, что за птицы их офицеры; они не желают возвращаться на фронт и служить под на-

чалом таких офицеров. Они тоже слышат, как расстреливают солдат за госпиталем.

Елена говорила очень тихо, озираясь по сторонам и всматриваясь в сумрак умирающего дня.

Квейль не мог оторвать взгляда от солдат, шагавших под дождем по жидкой грязи. Когда они, пройдя площадь, повернули за госпиталь, он все еще мог видеть их желто-коричневые шинели. Он стоял с Еленой на ступеньках подъезда, и вдруг, повернувшись и не говоря ни слова, быстро зашагал по площади к каменной ограде. Он видел, как конвоиры завязывали глаза осужденным. Конвоиры не разговаривали между собой, и лица у них были землистого цвета. Они выстраивали осужденных в ряд, и те неловко переминались с ноги на ногу, не видя, что с ними делают. Солдаты брали их за руку и выводили на открытое место. Квейль видел, как один из осужденных упал, затем с трудом поднялся на ноги. Конвоир отер его лицо от грязи и поставил его в ряд. Руки у осужденных были попржнему связаны. Они нестройно стояли в ряду, стараясь смотреть смерти прямо в лицо сквозь повязку. Но сквозь повязку хлестал только дождь. А все они были еще совсем желторотые юнцы.

Квейль понимал, какая сила составляет девятерых солдат расстреливать таких же, как они, а других девять стоять против каменной стены и безучастно ждать, вместо того чтобы что-нибудь сделать. Он чувствовал, что эти солдаты с повязками на глазах спокойно принимают свою участь, сознавая свою правоту. И Квейль чувствовал, что они правы, каковы бы ни были обстоятельства дела. Он знал, что они правы, и не мог оторвать от них взгляда, — ибо в этих людях была частица его самого. Он не создавал, где он, но он знал, что частица его души здесь, и не мог уйти. Он стоял и видел, как девять солдат с винтовками отошли на несколько шагов от выстроенных в ряд. Он видел, как они приложили винтовки к плечу, видел их согнутые спины, и смерть девяти, неловко сто-

явших в ряду в ожидании своей участи, и участь эта постигла их внезапно, когда раздался нестройный залп. На мгновение Квейль перестал сознавать, что происходит перед его глазами, пока не увидел, как они упали грудью на землю со связанными за спиной руками.

Но один из них не упал, а остался стоять на месте. Пуля его миновала. Хотя Квейль не мог этого видеть, но он ясно представил себе недоумение и растерянность осужденного, когда он остался стоять на ногах после залпа; на одно мгновение солдат был ошеломлен, как никто на свете, но он так и не успел притти в себя, потому что в следующую секунду солдат, давший промах, сделал еще один выстрел, который, казалось, прозвучал на весь мир, и осужденный повалился как сноп. Квейль почувствовал, что частица его самого была в расстрелянных и в команде, расстреливавшей их, и это было нечто большее, чем он и они. Не вечно так будет.

Квейль знал, что в этом все дело. Он не помнил, как он повернулся и зашагал назад к госпиталю: первое, что дошло до его сознания, была Елена, стоявшая на ступеньках подъезда.

— Что случилось?

— Их расстреляли, — сказал он.

— А зачем вам надо было это видеть?

— Я увидел многое, — задумчиво произнес он.

— В греческой душе?

— Да.

— Это вам надо было увидеть, — сказала она.

— Понимаю, — ответил он. Он знал, что она имеет в виду. Она наклонилась и поцеловала его.

— Спокойной ночи. — сказала она и повернулась, чтобы открыть дверь.

Квейль видел в ней то же, что видел в солдатах, которых только что расстреляли, и он знал, что ничего нельзя с этим поделать. Он помог ей открыть дверь. На секунду она остановилась, затем вошла, не сказав больше ничего. Он закрыл дверь и спустился вниз по мокрым ступенькам. И он понял, как называется его

чувство к ней. Он не хотел этому верить. Он не хотел этому верить... но это было так, и он это знал. Он знал.

ГЛАВА 9

Он не виделся с Еленой на следующий день, не виделся с ней целую неделю. Раненых поступало так много, что она ни на минуту не могла оставить госпиталь. Квейль вместе с Тэпом и Брюером перебрался на время в Корицу. Отсюда они вылетали, сопровождая «Блейнхеймы», бомбившие итальянские передовые позиции и мосты, так как итальянцы предприняли контрнаступление. Бомбить было легко, — сопротивления они не встречали.

Фронт постепенно застыл на мертвой точке: сначала большая итальянская контратака, затем греческая. Никто не знал, сколько еще могут держаться греки, так как недостаток в боеприпасах и материалах ощущался все острее. Греки пустили в ход захваченные у итальянцев транспортные средства и подвозили грузы до самого конца шоссе. Англичане тоже прислали немного грузовиков, но все дело портило отсутствие запасных частей; мудрый старый грек, инженер, которого огорчала война и на обязанности которого лежало снабжение транспорта запасными частями, утверждал, что через полгода на шоссе нельзя будет увидеть ни одной машины. Но машины продолжали ходить.

Английские летчики целую неделю не поднимались в воздух — каждый день шел то дождь, то снег. Даже Нитралексис, снова появившийся на горизонте, никуда не вылетал. Всей компанией сидели они в ресторане и пили «оузю». Хикки пытался получить три самолета из Афин. Соут, выбросившийся на парашюте во время боя над Ларисой, должен был прилететь на самолете Тэпа, который они бросили в Ларисе, но не прилетел. Самолет был отремонтирован, но его решено было оставить в резерве. Горелль поправлялся. Он лежал в госпитале в Афинах и прислал Хикки письмо, в котором благодарил его за то, что он тогда помог ему добраться на базу,

и спрашивал, что слышно. Говорят, что их отправляют обратно в Египет...

Меллас развлекал их рассказами о том, как ему жилось в ссылке, хотя они не верили ни одному его слову. Он рассказывал также об организованном им особом отряде, который производил набеги в тыл врага. Бойцы отряда, одетые, как крестьяне, проникали в итальянский тыл и поджигали там бараки и склады. Иногда Меллас исчезал на несколько дней, а по возвращении говорил, что принимал участие в набеге. Но ему не верили, — он не производил впечатления положительного человека. Он отводил душу с Нитралексисом, который потешался над его рассказами, заявляя, что подобных чудес ему не приходилось встречать даже в биографии барона Мюнхаузена. Но Нитралексис по временам тоже исчезал, и никто не знал, где он бывал.

Это была приятная передышка. Каждый день они брились и впервые за все время пребывания в Греции имели приличный вид.

Квейль ежедневно посещал госпиталь. Когда Елена не была занята, они, не обращая внимания на грязь и снег, поднимались на холм за госпиталем, проходили через деревню и шли дальше по направлению к горному краю Мицекли. Они больше не спорили друг с другом. Наоборот, были всегда в хорошем настроении. Весело и непринужденно шутили друг над другом. Они воздерживались от всяких споров с того самого дня, как были расстреляны греческие солдаты. Иногда Квейль заходил в приемную госпиталя вместе с Тэпом и Хикки или еще с кем-нибудь из летчиков. Случалось, что сестры и няни пели хором, и летчиков поражала легкость и простота песен. Это были обыкновенные народные мотивы с ограниченным диапазоном, но именно поэтому они легко усваивались и вскоре начинали нравиться, хотя сначала казалось, что в них нет никакой мелодии.

Все это кончилось, когда они получили приказ вылететь в район Эльбасана и патрулировать там, выжи-

дая вражеских бомбардировщиков. Разведка установила, что здесь была итальянская авиационная база и что на днях прибыли три новых эскадрильи для поддержки большой контратаки, которую итальянцы начали на центральном участке фронта. Повидимому, неприятель намерен был развернуть операцию в широком масштабе.

Самолеты стартовали между воронками, оторвались от земли и набрали высоту, держа курс на север. На небе не было ни единого облачка, только над вершинами гор белела легкая пелена, порожденная внезапным притоком теплого воздуха.

Летчики словно возвращались в школу после долгих летних каникул. Звенья еле соблюдали строй,— такое у всех было ленивое настроение.

Хикки вел их широким кругом, держась все время за горами. Они патрулировали минут двадцать; бомбардировщиков нигде не было видно. И вдруг Квейль заметил далеко внизу два самолета, руливших на аэродроме; казалось, что это ползют муравьи. Хикки тоже увидел их,— он круто развернулся и пошел в сторону аэродрома.

Около двадцати бомбардировщиков, вместе с группой истребителей, выстраивались на площадке, собираясь стартовать по звеньям. Было какое-то чудо, что «Гладиаторы» беспрепятственно подошли к городу и начали снижаться. Лишь когда они снизились до одиннадцати тысяч футов, вокруг них стали рваться снаряды зенитных орудий. Квейль увидел, как Хикки качнул самолетом, подавая сигнал, и ринулся вниз. Квейль бросил быстрый взгляд на аэродром — первое звено «Савойя» как раз отрывалось от земли.

«Гладиаторы» шли вниз сквозь разрывы снарядов, самолет Квейля два раза чуть не попался,— но Хикки вел их осторожно, и они прорвались сквозь заградительный огонь. Тогда они перешли в более крутое пике, из которого Хикки вышел над первым десятком бомбардировщиков. Те отчаянно набирали высоту и открыли бешеный огонь по «Гладиаторам» еще до того, как приблизи-

лись к ним на расстояние выстрела. Хикки ждал, пока не подошел вплотную к одному из них,— тогда он всадил в него длинную очередь из пулемета. Констэнс шел вслед за Хикки; он атаковал тот же самолет, и именно он попал в пилота и этим решил судьбу бомбардировщика. «Савойя» камнем рухнул на землю.

Итальянцы подошли ближе и извергали потоки трассирующих пуль. Они понимали, что попали в ловушку, так как не успели набрать высоту.

Ричардсон с борта атаковал один бомбардировщик и почти разрезал его пополам. «Савойя» сразу потерял скорость, задрал нос кверху и стал падать.

Итальянцы в отчаянии искали глазами «КР-42», которые должны были поспешить к ним на выручку. Англичане тоже высматривали их, потому что драться на такой небольшой высоте дело нешуточное. Квейль находился на высоте не больше пятисот футов и не мог набирать высоту, так как Хикки не поднимался выше. Снова развернувшись, он ринулся на вражеские бомбардировщики в тот самый момент, когда их атаковали, выйдя из своего первого пике, Брюер и Финн.

Теп оставался сверху, выжидая момента, когда кому-либо потребуется помощь. «Савойя» открыли бешеный огонь, беспорядочно стреляя во все стороны и сбрасывая бомбы на собственный аэродром, чтобы освободиться от груза. Один из них, которому удалось подняться футов на сто выше других, попытался удрать, но на него с двух сторон налетели Брюер и Финн и всадили в него все, что могли.

Тем временем «КР-42» успели, наконец, подняться и смешались с «Гладиаторами». Первым на них бросился Финн и сбил один, затем Квейль, сделав крутой вираж, расстрелял другой «42», который пристроился ему в хвост и готовился прикончить его. Но, когда он выравнял свой самолет,— самый опасный момент в воздушном бою,— чтобы атаковать «42», пристроившийся в хвост Финну, он почувство-

вал, что ему самому заходит в хвост еще один «42».

Странное это было зрелище: столько машин носилось по горизонтали — иначе не позволяла незначительная высота. Два «Гладиатора» вышли из боя и сейчас держались над Квейлем, а еще один отошел в сторону направо. Тэп после пике набирал высоту — его звено следовало за ним.

Внизу оставался только один «Гладиатор». Квейль видел, как он старался набрать высоту, но его окружили по крайней мере пятнадцать «42» и два из них пристроились ему в хвост. Квейль рванулся в ту сторону, но в это мгновение Хикки молнией сверкнул мимо него, — казалось, он вложил в свой самолет человеческую волю, придававшую ему дополнительную скорость.

И все-таки Хикки опоздал. «Гладиатор» вдруг перевернулся и штопором пошел вниз, — быстро, с безумной быстротой, и Квейль с затененным дыханием следил, кто выбросится на парашюте, но никто не выбросился, — самолет упал на землю и потонул в облаке черного дыма, прорезываемого языками пламени.

Хикки повернул назад, и «Гладиаторы» взяли курс домой. Квейль не видел, чтобы был сбит еще хоть один «Гладиатор», но кроме него на базу возвращались только пятеро, и его неотступно преследовал вопрос, кого же именно сбили.

Когда Квейль приземлился на аэродроме, недоставало Брюера и Тэпа.

— Кого сбили? — спросил Квейль, подходя к остальным. Они сидели на подножке автобуса вместе с доктором Андерсоном.

— Неизвестно. Ричардсон говорит, будто Тэпа, — ответил Хикки.

— Тэпа!

Квейль никак не ожидал, что почувствует такую боль.

Последний «Гладиатор» показался низко над шоссе, со стороны города. Без всяких бочек он пошел на посадку. На площадку он опустился по ветру, и летчики не могли как следует рассмотреть его, пока он не вырубил прямо к ним. Когда он оста-

новился совсем близко от них, из кабины вылез пилот и тяжело ступил на землю — на холодную землю. Квейль сразу узнал его.

Это был Тэп.

Они приняли тот факт, что он вернулся, как и тот, что Брюер был сбит, — каждый факт раздельно и оба вместе. Они были рады, что Тэп вернулся, и они думали об этом больше, чем о том, что Брюер не вернулся.

— Хэлло, сволочи! — сказал Тэп.

— Хэлло, мерзавец! — в тон ему ответил Констэнс.

По дороге все молчали.

Хикки подвез летчиков к гостинице, а сам отправился в штаб передать донесение.

В штабе Хикки вел по телефону переговоры с Афинами.

— Хэлло! Хэлло! — послышался голос в трубке. — Ну, как вы там?

— Хэлло! — ответил Хикки. — Мы только что вернулись. В общем, ничего. Но мы потеряли Брюера.

— Какая жалость! — отозвалась трубка. — Что именно случилось?

— Мы отправились в указанное вами место и провели удачную операцию: сбили два бомбардировщика и пять истребителей.

— Два бомбардировщика? — спросил голос.

— Да, — ответил Хикки. — Только два. Больше мы не могли сделать с нашими силами. Мы и так сегодня шли, собственно говоря, на самоубийство. Хорошо еще, что вернулись, хоть и не все — могло случиться и так, что ни один не вернулся бы.

— Я понимаю, — сказал голос. — Но наша цель — бомбардировщики.

— Я знаю, — возразил Хикки. — Но нам нужны пополнения.

— Постараюсь отправить вам три самолета из вашей эскадрильи, которые находятся здесь.

— Спасибо, — сказал Хикки. — Но этого нам мало.

— А откуда мы возьмем больше? — сказал голос. — Что же касается бомбардировщиков... итальянцы начали сейчас большое наступление, в таком масштабе они еще не наступали. Греки жалуются, что особенно их донимают бомбардиров-

шки. Вы должны употребить все усилия, чтобы не подпускать их к фронту. Подробно вы узнаете все там у вас.

— Мы уже говорили,— ответил Хикки.— Но нас только семеро. А итальянцы летают чуть не сотнями.

— Знаю, знаю,— настаивал голос.— Я знаю, в каком положении вы находитесь, Хикки. Но здесь требуют именно того, о чем я говорю. Очень сожалею, но все ни к чему, если вы не будете сбивать побольше бомбардировщиков. Это итальянское наступление является решающим.

— В прошлый раз тоже так говорили,— напомнил Хикки.

— Можете вы делать по два вылета в день?— спросил голос.

— Да, но нам дозрелу нужны пополнения. Если хотите, чтобы мы сбивали бомбардировщики, дайте нам «Харрикейны».

— Я пробовал говорить насчет «Харрикейнов». Безнадежно.

— Ну, ладно. Будем делать по два вылета. Хотите, чтобы сегодня мы сделали еще один?

— Да.

— Слушаюсь, сэр.

— Завтра позвоните. А на сегодня желаю вам успеха. Вам и другим.

— Спасибо, сэр.

— До свидания, Хикки. Еще раз желаю успеха.

— До свидания,— сказал Хикки. Он повесил трубку и выругался. Письменное донесение он молча вручил греческому лейтенанту, говорившему по-английски, который во время происходившего разговора стоял возле телефона. Не произнося ни слова, он повернулся и вышел на улицу. Светило яркое полуденное солнце, а ему казалось, что уже вечер. Он отправился прямо в гостиницу и в вестибюле застал Тэпа и Ричардсона, которые приставали к швейцару, пытаясь раздобыть через него хоть что-нибудь поесть.

— Ничего нет, Хикки. Совершенно ничего нельзя достать,— сказал Тэп.

— Я пойду поговорю с греческим начальством. Продовольствие для нас должны были доставить еще не-

сколько дней назад. Что они, черт возьми, думают,— не можем же мы так! — возмутился Хикки.

— Вероятно, хлеб можно раздобыть где-нибудь,— сказал Ричардсон.

— Хлеб меня не устраивает. Я настоящему голоден,— отрезал Тэп.

— Под вечер мы опять вылетаем.

— Куда?

— Опять туда же. Подробно расскажу наверху.

— Что еще случилось? — спросил Тэп.

— Грекам, как видно, приходится туго,— сказал Ричардсон.

— Опять будем охотиться за бомбардировщиками. Нет, на будущее время я постараюсь непременно попасть в такую эскадрилью, где есть «Харрикейны», «Спитфайры» или «Дифайэнты».

— Мы, наверное, их получим. По крайней мере «Харрикейны». Против фрицев без «Харрикейнов» не пойдем.

— Все здешние греки уверены, что немцы не заставят себя ждать,— заметил Тэп.

— Так оно и будет,— сказал Ричардсон.

— Я не боюсь немцев, если у нас будут «Харрикейны», но если только «Гладиаторы»... тогда прощай навеки, дорогая мамочка!

— Еще несколько дней — и все будет ясно,— сказал Хикки. А пока попробую раздобыть чего-нибудь поесть.

Хикки ушел. Тэп и Ричардсон поднялись наверх и завалились спать.

ГЛАВА 10

Часа в два Хикки разбудил летчиков.

— Вставайте, ребята, — сказал он.— Я достал еды.

— Когда вылетаем?

— Примерно, через час,— ответил Хикки.

Они спустились вниз, и Хикки распорядился, чтобы накрыли на стол в вестибюле. Появился черствый греческий хлеб, салями, сыр и кофе.

— Прекрасная пища для героев,— сказал Квейль.

— Для каких,— для греков? —
насмешливо отозвался Ричардсон.

— Нет, для нас. Грекам это в самый раз.

За едой говорили мало.

Квейль кончил раньше других и поспешил в госпиталь. Он заглянул в приемную, но Елены там не оказалось. Тогда он прошел в помещение старшей сестры.

— Хэлло, англизи... Хэлло! — приветствовала она его.

— Хэлло, сестра. Как себя чувствуете?

— Очень хорошо.

— Простите за сегодняшний налет.

— Мы не пострадали. Только испугались. А вы поднялись сейчас же в воздух, да?

— Да.

— Сбили итальянцев?

— Семерых,— сказал Квейль.— И потеряли одного.

— Грустно, но без этого не обойдешься. Палка о двух концах.

Квейль взглянул на нее и улыбнулся.

— И кто же это? — спросила сестра.

— Вы едва ли знали его,— сказал Квейль.— Брюер — высокий, добродушный, совсем молодой.

— Не все ли равно, знала я его или нет? Я знаю всех.

— Я ишу мисс Стангу,— сказал Квейль, чтобы переменить разговор. Сестра сняла телефонную трубку и сказала что-то по-гречески.

— Вы думаете скоро придут немцы? — спросила она.

— Думаю, скоро. Они не любят медлить.

— Против немцев нам не устоять. Но мы будем драться. В Грецию прислали австралийцев, так ведь?

— Да, кажется, так.

Вошла Елена. Она стала извиняться перед старшей сестрой за посещение Квейля, но та сказала:

— Ничего. Поухаживайте за ним. Он так молод и подвергается всегда опасностям. Не беспокойтесь. Поухаживайте за ним, чтобы он не чувствовал себя несчастным.

Когда они вышли из комнаты, Квейль спросил Елену, что ей сказа-

ла сестра. Она грустно улыбнулась и сказала:

— Она говорит, что вы всегда в опасности и что я должна поухаживать за вами.

Квейль от души рассмеялся.

— Первый раз слышу, что вы так смеетесь,— сказала Елена.

— Мне нравится, что она относится к каждому так, словно это ее единственный сын. Она и с вами так, Елена?

— Да. Она очень добрая. Все ее любят. Когонибудь сбили сегодня?

— Кто, я?

— Нет. Кого-нибудь из ваших?

— Да. Брюера. Попал в самую гущу итальянских истребителей.

— Это тот, совсем юноша?

— Да.

— Бедный! Никогда не знаешь, кто будет следующим. И я никогда не знаю, вернетесь ли вы.

— А вы не беспокойтесь. Не думайте об этом. Я не думаю. Будь, что будет. Вот, что будет с вами, когда сюда придут немцы? — сказал он.

— Не знаю. Нас, вероятно, пошлют обратно в Афины. Там теперь австралийские войска, не так ли?

— Да.

— Я рада. Одни мы ни за что не справились бы с немцами.

Они пошли по направлению к пуштырю, где были расстреляны греческие солдаты. Много не разговаривали, пока Квейль не сказал:

— Мне уже пора. Летим опять.

— Сейчас?

— Да.

— Прямо беда! Пожалуйста, взгляните в госпиталь, как только вернетесь. Я очень буду беспокоиться, если вы не придете,— сказала она.

— Мы с вами тратим все время на то, чтобы отгонять эти мысли.

— Мне самой обидно.

— А мне нет. Я непременно зайду в госпиталь. Мне очень приятно, что вы беспокоитесь.

— Да, беспокоюсь, Джон.

Она редко называла его по имени. Квейль взял ее за руку.

— Мы должны что-то сделать, Елена.

— Вы о чем?

— Вы знаете... о пас с вами. Не может же это так продолжаться... Мы словно чужие. Меня это угнетает.

— Подождем еще, Джон. Я боюсь, что вы уедете и не вернетесь, что тогда будет?

— Если я уеду, вы поедете со мной.

Он был уверен в себе.

— Не будьте так решительны,— сказала она.— Не так все это просто.

— Я говорю, что думаю. Если я уеду, вы поедете со мной. Это очень просто.

— Я не смогу. Не будем об этом говорить. Куда мы поедем? Нет...

— Во всяком случае, сейчас мне надо уходить.

Квейль надел пилотку, и они повернули назад, к госпиталю. Там они расстались, и он побежал в гостиницу. Его уже ждали. Летчики сели в автобус и поехали на аэродром.

ГЛАВА 11

Когда эскадрилья находилась почти над Эльбассаном, Квейль почувствовал себя дурно: подложечкой у него давило, его сильно тошнило; лучше бы его уже вырвало. Они кружили над облаками на высоте двенадцати тысяч. Воздушных ям не было. Хикки предупреждал, что их ждут сюрпризы, но Квейль все же был удивлен, когда справа от них, на высоте около пятнадцати тысяч показалась целая туча «КР-42», развертывающихся полукольцом.

— Сомкнуться! — крикнул Хикки в микрофон.

Когда «42» пошли на сближение, Хикки взмыл кверху, остальные за ним. Они поспешно стали набирать высоту и чуть не наскочили на итальянцев в лоб. Когда «42» развернулись, Квейль увидел прямо перед собой тень от крыльев двух истребителей и белое пламя, вылетающее из пулеметов под крыльями. Короткие, белые вспышки... одна за другой... А над головой у него трассирующие пули... Прошло как будто много времени, а он все еще не поднялся над ним и... Квейль чуть не врезался в итальянца, а тот в него. Он

выпустил в «42» пулеметную очередь, когда хвост истребителя мелькнул в его визире — на расстоянии каких-нибудь пятидесяти ярдов. Когда он выравнял свой самолет, небо вокруг кишмя кишело итальянцами, и один из них шел на него. Он сделал поворот через крыло и ушел от атаки, но потерял высоту. Другой «42» напал на него сзади. Сделав мертвую петлю, он увернулся от него и огляделся вокруг. Немного вправо он увидел два «Гладиатора», на которых наседали около двадцати «42». Квейль дал полный газ и бросился на помощь.

Он атаковал «42», который штопором пошел вниз — все ближе и ближе к земле... и исчез в столбе пламени. Но «Гладиатор» тоже входил в штопор. И вдруг Квейль увидел, как из кабины «Гладиатора» выбросился летчик — черный муравей — и как парашют раскрылся белым облачком.

Оглядевшись вокруг, Квейль заметил, что один «42» спикировал к парашюту. Он увидел белые дымки и трассирующие пули... Видел, как парашют вспыхнул, потом превратился в черную кляксу и молнией понесся вниз, оставляя за собой полоску дыма, а черная фигура летчика с высоты двух тысяч футов, рассекая воздух, полетела на черную землю.

Квейль ринулся вниз. Он не спускал глаз с «КР-42», который расстрелял парашют. Пилот вывел самолет из пике и теперь набирал высоту. Квейль несколько выравнял свой самолет, чтобы встретить врага в лоб. Как только «КР-42» показался в его визире, он нажал гашетку.

Он стрелял и стрелял и шел на «42» прямо в лоб. «Гладиатор» дрожал от выстрелов. Квейль шел на «42» прямо в лоб, пока охватившая его ярость не стала стихать; тогда он поднялся вверх, сделал крутой разворот и с новым бешенством устремился на врага сверху. Но «КР-42» в облаке черного дыма уже падал бессильно на землю.

«Кто же, — думал Квейль, — погиб на парашюте?» — Он был слишком далеко от других, чтобы видеть, что с кем случилось. Еще раз оглянув-

шись, он последовал за двумя «Гладиаторами», шедшими впереди. Он был так возмущен поступком неприятельского летчика, что на глазах у него выступили слезы ярости. Он испытывал неудовлетворенность от того, что только сбил «42». Этого ему было мало. Ему хотелось видеть гибель самого летчика. «Если бы только он был поближе ко мне, я бы всади́л пулю прямо в него», — думал Квейль.

Он приземлился последним, сделав перед посадкой крутую петлю над аэродромом. Его корчило от острой боли в желудке, когда он вылез из кабины и ступил на землю... Рэтгер и Вильямс, техник и механик, подбежали к нему.

— Вы ранены, мистер Квейль? — озабоченно спросил Рэтгер.

— Нет. Только живот болит. А сам я — о-кэй.

— Слава богу. А мы уже боялись, что вы на этот раз не вернетесь, — сказал Рэтгер.

— Правда? А кто не вернулся?

— Мистер Херси. Видели, как он упал на землю, охваченный пламенем. И мистер Ричардсон.

— Ричардсон выбросился на парашюте, но итальянец расстрелял его, — сказал Квейль.

— Мерзавцы!.. Сволочи!.. Изверги!.. — выругался Рэтгер.

— Да, — безучастно подтвердил Квейль.

Он направился к автобусу, где уже сидели другие, поджидая его.

— Мы думали, что тебе конец, — сказал Тэп.

— Нет. Видели, что случилось с Ричардсоном? — спросил Квейль.

— Хикки видел. А это ты сшиб негодяя, который это сделал?

— Да.

— И подумать только! Расстрелять парашют! Сволочи, подлые твари!

Юный Констэнс был возмущен еще больше Квейля. Он растягивал слова по-оксфордски, и смешно было слышать ругательства, произносимые с изысканным оксфордским акцентом.

— А как сбили Херси? — спросил

Квейль. — Херси — как они будут теперь летать без него!

— Больно уж много на него наслало. Чорт возьми, я обалдел, когда они кинулись на нас сверху, — ответил Тэп, как только автобус затрясся по ухабам.

— Это моя вина, ребята. Надо было держаться выше, — сказал Хикки.

— Ты нас предупреждал, Хикки, — возразил Квейль.

— А сколько мы сбили? Ты сколько сбил, Квейль?

— Двух наверняка. А может, еще один.

— Всего, значит, шесть и все — истребители, — сказал Хикки. — В штабе будут в восторге, когда я доложу.

— К чорту штаб! Чего от нас можно требовать? А что еще будет, когда придут разбойники-немцы! — разрядился Тэп. — У нас будет хорошенький вид!

Квейль смотрел на Стюарта, Констэнса, Финна. Это все, что осталось от юной смены. Тяжело было думать об этом. Теперь, со смертью Херси, из старых кадров остался только Хикки, Тэп и он сам, Квейль. А эти ребята еще вроде как посторонние...

Хикки поехал в штабную пещеру, а остальные отправились в гостиницу. Квейль отнес лётное снаряжение к себе в номер и поспешил в госпиталь. Наступали долгие сумерки. Он шел к Елене не потому, что она просила его об этом. Он шел потому, что она нужна была ему сейчас — сейчас, когда он думал о Ричардсоне и Херси и о разговоре в автобусе. Ведь это была катастрофа. Надо было растворить в чем-нибудь то, что мutilовало его. Если бы он мог вопить до потери сознания и грызть землю, это помогло бы. Он читал что-то в этом роде, это было бы вовсе неплохо. Но сейчас ему хотелось видеть Елену. Просто знать, что она существует, как что-то реальное. Он нашел ее в приемной — она упаковывала бинты в небольшую сумочку.

— Елена, — сказал он быстро, — не можете ли вы уйти? Нам надо поговорить.

Он нервно дернул ее за халат. Она взглянула на него: он смотрел на

нее невидящими глазами. Она поняла, что ему нужно. Нетрудно было понять.

— Минутку.

Она скрылась в маленькой боковой комнатке и вышла оттуда уже без халата.

— Идемте, — сказала она. — Но надолго я не могу. На несколько минут.

Они вышли из госпиталя. Машинально направились они к площади, где были казнены греческие солдаты. Там они прислонились к стене, к которой прислонился Квейль в тот вечер, когда расстреливали солдат. Он думал об этом теперь. Сцена казни вновь предстала пред ним, но на этот раз не греческие солдаты подвергались расстрелу, а Констэнс и Соут. Елена молча наблюдала за ним. Резко повернувшись к ней, он сказал:

— Нам надо пожениться.

Она только посмотрела на него.

— Это единственный выход. Я знаю, чего я хочу.

— Да? — протянула она. И улыбнулась ему.

— Да, Елена. Вы сами знаете, что это так. Говорите, что хотите, но это так.

— Сказать легко, сделать трудно, — возразила она. — Это очень трудное дело, Джон.

— Почему? Да все равно! Мы это сделаем. Почему нет?

— Это просто невозможно, Джон. Я не хочу потом раскаиваться.

— Мы должны это сделать. Я знаю, что будут трудности. Но я попрошу Хикки уладить дело. Вы можете тогда вернуться в Афины, если пожелаете. Почему мы не можем это сделать?

— Вы отдаете себе отчет в том, что собираетесь сделать? Вы знаете, что вас ждет, если вы женитесь на гречанке?

— А что?

— Я не ребенок. Я видела, как вы относитесь к грекам. Нам обоим будет трудно. А когда вы уедете отсюда...

— Мы будем только счастливы, если уедем отсюда, — нетерпеливо сказал Квейль.

— У меня здесь родители. Вы забываете. Я и хотела бы, но не могу.

— Зачем столько рассуждений?

— Это не рассуждения. Вы знаете, что если вы захотите, я не откажу вам ни в чем. Но я должна быть благоразумна. Должна сдерживать вас. Мы должны считаться со многим. Мы создадим себе трудности, если я пойду вам навстречу, не считаясь ни с чем. Вы знаете мои чувства к вам. Я знаю ваши чувства ко мне. Но дело не так просто.

Она высказала все это с такой прямоотой, что он удивленно посмотрел на нее.

— Я еще не сказал, что люблю вас. Я не хотел пользоваться этим словом, чтобы выразить то, что я чувствую, но это так. Я знаю, что это так. Я люблю вас и хочу, чтобы вы были моей женой. И не откладывая. Завтра.

— И я хочу, Джон. Мы это сделаем. Правильно. Но это не так просто. Дайте мне подумать. Пожалуйста...

Квейль вернулся в гостиницу. Хикки сидел на кровати у себя в комнате, когда Квейль проходил по коридору. Он позвал Квейля к себе.

— Мы получили приказ вернуться в Афины. Немцы могут вторгнуться в Грецию сегодня вечером или завтра. В любую минуту. На прощанье мы еще разок вылетим на разведку.

— Куда?

— Ты помнишь Нитралексиса?

— Того сумасшедшего летчика грека. Я давно его не видал.

— Он был в Корице. Нам велено сопровождать его в патрульный полет. К Валлоне — посмотреть, что там делают итальянцы.

— Это значит — итти брещим полетом?

— Один бог знает, что это значит. Но будем надеяться, что фрицы к тому времени еще не появятся.

— Когда вылетаем?

— В шесть часов. Ты пока ляг и поспи.

— Да. Ну что ж, я буду только рад скорей убраться отсюда.

— И я, — сказал Хикки.

— Спокойной ночи, Хикки!
— Спокойной ночи, Джон! Я пришлю швейцара разбудить тебя.

ГЛАВА 12

Утром тумана не было. «Гладиаторы» стояли холодные в голубой полумгле. Механики запускали моторы, и холодный рев теплом отдавался в воздухе. Этот рев уже занял определенное место среди утренних звуков. Греческие механики выкатили старый «Бреге» и проделывали над ним сложную процедуру. Роса потекла ручейками с металлических крыльев, когда мотор медленно задрожал, а потом загудел.

Квейль и Хикки стояли и ждали Нитралексиса. Хикки показывал летчикам на карте, куда им предстоит лететь. Это было по другую сторону высокого скалистого горного хребта, далеко за передовой линией итальянского фронта; там, по имевшимся предположениям, находились большие неприятельские склады.

Нитралексис появился вместе с Папагосом. Он был уже в летном снаряжении, а Папагос все в тех же двух пальто. Нитралексис приветствовал Хикки широкой улыбкой и обнял его. Хики не был уверен в своих чувствах к этому греку. Он считал его немножко ненормальным, но мирился с его дружескими излишествами.

— Сегодня я счастливчик! — сказал Нитралексис. Он расхохотался, закинув голову назад. — Вы будете меня сопровождать. Вот хорошо!

Он опустился на колени и разложил на земле помятую греческую карту. Карта была гораздо лучше, чем та, которой пользовалась эскадрилья. Медленно и тщательно подбирая английские слова, Нитралексис объяснил, что именно он будет делать, и Хикки пришел к заключению, что свое дело он знает превосходно. Он показал Хикки, с какой стороны они подойдут к намеченному району, и Хикки был очень доволен, потому что и он выбрал то же направление. Они обогнут высокую горную вершину, и Нитралексис полетит прямо над долиной, делая снимки, вернется и еще

раз пройдет вдоль долины, потом медленно наберет высоту и возьмет курс домой, что бы там ни случилось. А «Гладиаторы» не станут держаться высоко на тот случай, если «КР-42» атакуют «Бреге», но будут лететь вместе с Нитралексисом на той же высоте, что и он.

— Пожелаем друг другу успеха, а? — сказал Нитралексис, обращаясь к Хикки, когда они шли к самолетам.

— Да, успеха надо пожелать, — ответил Хикки.

Папагос уже сидел на заднем сиденье «Бреге».

— А как насчет башмаков для итальянцев? — крикнул Квейль Нитралексису.

— Башмаков?

— Мешок... с вашими снарядами... пугать итальянцев... Бомбы?

— Хо-хо!.. У меня имеется кое-что. Да, имеется... Здесь, внутри!

Нитралексис закинул назад свою черную голову и захохотал так, что заглушил рев «Бреге». Он нахлобучил на голову стальной шлем, провел рукой по своей длинной бороде и тяжело поднялся в кабину. Чтобы немного согреться, Квейль пустился бегом к своему самолету. Он натянул перчатки, пристегнул к холщевому поясу кольт — калибра 45 в холщевой кобуре, вдел ноги в парашютные лямки, застегнул пряжки на животе, надел шлем и неловко взобрался в кабину.

Когда Нитралексис открыл свой дроссель и поднял руку, все осторожно двинулись вперед. «Гладиаторы» оторвались от земли раньше «Бреге». Квейль, спуская колпак кабины, придержал газ, чтобы Нитралексис не отстал. Они построились вокруг Нитралексиса клином и предоставили скорость и высоту его усмотрению. Перевалив через Коминг-Орос, они взяли курс на северо-восток.

«Бреге» все время то подскакивал, то проваливался, когда они огибали хребет. «Гладиаторы» держались вплотную к нему.

На высоте пятисот футов Нитралексис выровнял «Бреге» и пошел прямо над долиной. Скорость казалась большой, потому что они были

ближе к земле. Они прошли один раз над долиной, затем Нитралексис повернул назад. Он не стал ждать англичан и опять пустил свой старый «Бреге» над долиной. Но тут в небе начали рваться снаряды зенитных срудий, замелькали темные дымки, а огневые точки стали стрелять трассирующими пулями. Нитралексис, не докончив полета над долиной, быстро стал набирать высоту. Летчики повернули назад к горам. Все, что им оставалось сейчас,— это поскорей уходить домой.

Они находились почти на уровне облаков, когда показались «КР-42». Для Квейля это не было сюрпризом. Все равно, как знакомая книга, где знаешь все наперед. Упустить такой превосходный случай для атаки «КР-42» не могли, вполне естественно было ожидать их здесь. В первой группе их было десятка полтора. Они шли в строю прямо вниз на англичан. Другая группа, около двух десятков машин, шла ниже первой, наперерез «Гладиаторам». Квейль сразу понял, что сейчас предстоит такой жестокий бой, какого он еще не знал.

Он рванул штурвал, отпустил рычаг управления и скользящим спуском пошел прямо в лоб итальянцам. Когда в его кольцевом прицеле мелькнула фашистская эмблема, он пустил в нее пулеметную очередь, и из-под крыльев «42» вырвались неровные языки яркого пламени. Из всех сил продолжал он нажимать гашетку пулемета и тут же заметил, что слишком близко подошел к противнику, и снаряды «42» бьют по его самолету. Он налег на рычаг управления, чтобы подняться над «КР-42». «Гладиатор» повиновался медленно. И медленно набирал высоту. Квейль чувствовал, что механизм управления где-то ослабел. Самолет начал терять высоту. Квейль сделал вираж, и вдруг перед его глазами мелькнул «Бреге», врезавшийся прямо в середину «КР-42», и обе машины, сцепившись друг с другом, полетели вниз.

Управление действовало плохо — что-то случилось с рулем высоты, и Квейль не мог набирать высоту, хотя

мотор еще действовал. Когда один «42» вынырнул из-под него и всадил в него короткую пулеметную очередь, самолет Квейля сильно накренило. Квейль сразу понял, что его машина повреждена не на шутку. Она внезапно отбилась от рук... больше ему не повиновалась. Он потянул рычаг управления, и самолет выпрямился, но тут же начал быстро терять высоту. Подозрительно быстро шел он вниз, к земле. Квейль дернул рычаг назад и попробовал наклонить машину набок, чтобы применить штурвал в качестве руля высоты, но самолет продолжал падать. Квейль почувствовал страх. Еще раз отчаянно дернул рычаг и бросил взгляд вниз,— уже поздно выброситься на парашюте.

Самолет стремительно шел к земле, и ветер свистел сквозь щели в колпаке кабины. Вот промелькнули неровные уступы горного склона... зеленый лес, красная земля где-то внизу, скалы... быстрота, затуманенный вихрь... и больше ничего, ничего, кроме твердой, твердой... Чорт возьми!.. чорт возьми!.. вот оно... это все... это весь мир! Вот оно несетя навстречу... готово!

Самолет подбросило на верхушках деревьев, затем он скользнул сквозь листву и упал на каменистую почву. Лонжероны, рама, подпорки разлетелись вдребезги во все стороны. Тяжелый мотор некоторое время тащил за собой остатки самолета, пока не смешался вместе с ними в бесформенную плотную грудку.

Сознание Квейля отметило толчок, треск ломающейся рамы, белый туман в глазах и тишину... и быстроту, которая врезалась в землю, как бритва в палец. Он поглупел от страха... Когда самолет ткнулся в деревья, он вцепился в рычаг управления в надежде, что падение прекратилось. Со страшной силой его швырнуло вперед, он ударился головой о доску приборов. На секунду все вокруг стало тихо, необычайно тихо, затем — полное небытие.

ГЛАВА 13

На голове у него запеклась кровь. В тех местах, где кожа была содра-

Квейль находился за линией итальянского расположения, милях в двадцати к северу от Тепелени. Приблизительно такое же расстояние отделяло его гору и от Химары, на побережье, но он не знал, в чьих руках этот город. В какую бы сторону он ни пошел, ему неизбежно придется пробираться через итальянские линии. Проще было бы взять направление к побережью, но немцы, возможно, уже вступили в Грецию, и ему надо вернуться в Янину, чтобы забрать оттуда Елену. Он начал думать о Елене. В конце концов она могла улететь на «Бомбее», несмотря на все... «Хотя вряд ли», — размышлял Квейль. А ему трудно будет выбраться этим путем. Лучше все-таки направиться к Химаре, на побережье. Можно идти по течению реки. Но во что бы то ни стало он должен успеть в Янину до прихода немцев.

Ему придется днем скрываться в горах, а ночью идти, иначе он может наскокить на неприятельский патруль. Он попал в самую гущу итальянских резервов. Но если он будет делать переходы только ночью, то ему понадобится много недель, чтобы странствовать вверх и вниз по этим горам. Чем скорей он начнет, тем лучше. Он встал и еще раз прошел к самолету. Здесь не оказалось ничего такого, что бы можно было взять с собой. Он сел и снял с себя тяжелые летные шаровары. Было холодно без них, но в обыкновенных брюках легче было идти. Он подтянул пояс, на котором висел кольт и манерка с водой. Затем взял неприкосновенный запас, поглядел на солнце, сверился с карманным компасом и начал пробираться по склону. Он наклонил голову, чтобы пройти под ветвями низкорослых деревьев, и вдруг услышал шаги. Шаги слышались совсем близко, тяжелые шаги, заглушавшие шелест листьев, колеблемых легким ветром. Он упал на землю и притаился. Шаги приближались. Он напряженно всматривался сквозь заросли. Слышно было, что идет не один человек. Он забыл о своем револьвере — просто лежал и напряженно всматривался. Две фи-

гуры вышли из-за деревьев и остановились. Квейль бросил на них быстрый взгляд и, скорчившись, еще крепче прижался к земле. Но вдруг он увидел бороду, широкое лицо, стальной шлем. Это был Нитралексис.

Квейль встал и зашагал в ту сторону, куда шел Нитралексис со своим спутником. Он вышел навстречу им на открытой полянке. Нитралексис разом остановился, вид у него был растерянный и изумленный. Секунду длилось молчание, затем Квейль сказал:

— Это я, Квейль.

Нитралексис поднял брови, потом улыбнулся в бороду и шагнул вперед.

— Инглизи!.. Инглизи!.. — воскликнул он и расхохотался.

Квейль взглянул на его спутника. Это был не Папагос, стрелок-наблюдатель. Это был греческий крестьянин в длинном черном войлочном плаще с капюшоном, молодой и краснощекий, с клоком волос на лбу. Он улыбнулся Квейлю.

— Где же Папагос... Папагос? — спросил Квейль.

Нитралексис гладил его рукой по плечам. Он принял руку и покачал головой.

— Мы сгорели... разбились... сгорели... огонь. Папагос... — и он снова покачал головой.

— Как вы нашли меня? — спросил Квейль.

Нитралексис сначала не понял, потом стал медленно объяснять:

— Он... — кивок головой означал, что речь идет о крестьянине, — сказал, что видел еще один самолет... и мы вернулись. Он сказал — еще один самолет. А мне надо было... — Он не мог подыскать нужное слово. — Лекарство, — сказал он наконец.

— Вы ранены? — спросил Квейль.

Они оба уселись, а крестьянский парень, как остановился при появлении Квейля, так и стоял. Нитралексис снял куртку и показал большой кровоподтек и глубокую черную рану на предплечье. Квейль достал из своего индивидуального пакета мазь и стал втирать ее в рану. Нитралек-

сис посмотрел на лицо Квейля и сделал гримасу.

— Вы ранены сильно... очень сильно... болит, наверное?

— Нет, не очень, — отвечал Квейль.

Он натер мазью всю руку Нитралексису, а затем достал карту и указал их местонахождение.

— Тепелени, — сказал Квейль. — Отсюда мы возьмем направление на Тепелени.

Нитралексис взял карту в руки, потом разложил ее на земле и ткнул пальцем в Химару.

— Сюда мы пойдем, сюда, — так будет лучше.

— Тепелени недалеко от Янины — так будет скорее, — возразил Квейль и опять указал на Тепелени.

Нитралексис решительно затряс головой.

— Там итальянцы, — слишком много, — сказал он. — И слишком трудная дорога. Немыслимо.

— Но так скорее, — настаивал Квейль.

Нитралексис опять затряс головой.

— А так безопаснее. Химара... там совсем мало итальянцев.

Квейль тоже покачал головой и сложил карту. Он знал, что если он согласится с Нитралексисом, то они совсем не попадут в Янину. Они пойдут на побережье, к Химаре, а оттуда — прямо в Афины. Он боялся потерять Елену. Он пойдет на Тепелени, а оттуда — в Янину.

— Я иду на Тепелени. Мне надо в Янину, — заявил он.

— Зачем вам?

— Скорее. Так скорее, — сказал Квейль.

Нитралексис пристально посмотрел на него, пожал плечами, и его лицо расплылось в улыбку. Он слегка похлопал Квейля по плечу.

— Опасно! — повторил он.

— Нет. Нам все равно надо пробираться через итальянские линии.

— Слишком много надо лазить по горам.

— То же самое, если пойдем на Химару. Спросите своего приятеля. — Квейль, указал на крестьянина.

— Вам зачем-то нужно в Янину. Да?

— Да, — ответил Квейль.

— Зачем?

— По многим причинам. Я собираюсь жениться на одной греческой девушке. На греческой девушке. Жениться.

Нитралексис погладил свою черную бороду и сдвинул шлем на затылок.

— Вы женитесь? На девушке из Янины?

— Да. Я хотел венчаться сегодня. Сегодня.

Квейль большим пальцем ткнул себя в грудь.

— Хо-хо!.. Ай да англизи!

Нитралексис разразился хохотом и что-то залопотал по-гречески, обращаясь к молодому крестьянину. Тот улыбнулся, кивнул головой и что-то сказал Нитралексису.

— Мы пойдем. На Тепелени... Вы попадете к своей девушке... А мы попадем к итальянцам... Хо-хо!.. Инглизи и любовь!

Нитралексис с чувством потрепал Квейля по плечу и ухмыльнулся в бороду.

— Превосходно, — успокоился Квейль. Он собрал свои карты и стал намечать направление. Нитралексис покачал головой.

— Не надо. И компаса не надо. Он, — Нитралексис указал на парня, — нас проводит. Он знает дорогу. Это его родные места.

— Отлично. Идем же, — сказал Квейль.

Нитралексис объяснил крестьянину, что им предстоит. Тот пожал плечами и приготовился в путь. Квейль взял свои вещи.

— Как его звать? Звать? Кто он такой? — спросил он Нитралексиса, указывая на молодого крестьянина, у которого были такие румяные щеки, каких Квейль еще никогда не видел.

— Деус. Вы знаете, — это значит бог. Бог. Деус. Это грек из Албании. Он живет в горах. Он нашел меня, — отвечал Нитралексис со своей расплывающейся в бороде улыбкой... Парень обернулся, когда Нитралексис произнес его имя. Войлочный

глад с царственным величием лежал у него на плечах. Капюшон придавал ему вид монаха. Край капюшона, обрамлявший его обветренный лоб, придавал его лицу сходство с ликом сына божьего. Он улыбнулся во весь рот, и его белые зубы сверкнули на солнце, отражая золотистый свет.

Квейль положил свой неприкосновенный запас, индивидуальный пакет и карты в вещевой мешок, и они двинулись в путь.

ГЛАВА 14

Деус повел их через густой лес, где ветер со всех сторон хлестал по деревьям.

— Мы перейдем через дорогу ночью, — сказал Деус Нитралексису.

— А как же река? — спросил Нитралексис, припомнив карту.

— И через реку надо переправиться. Она очень широкая, будет трудно.

— А ты не знаешь такого места, где поменьше итальянцев?

— Нет, — отвечал Деус. — Такого места нет. Вся дорога кишит ими.

— Как же мы в таком случае переберемся через дорогу и через реку? — спросил Нитралексис.

— Ночью. Пролезем у итальянцев между ног, — сказал Деус. — Это дело нелегкое. Итальянцы — народ пуганый. Они сразу открывают пальбу.

— Это я знаю, — отозвался Нитралексис.

— Пожалуй, мне бы следовало взять револьвер у инглизи, — сказал Деус.

Нитралексис давно заметил, что Деус посматривает на «Кольт-45» Квейля. Такой револьвер для Деуса был бы настоящим кладом. Он готов был украсть его, если ему не удалось бы заполучить его другим путем. Нитралексис знал, что Деус способен убить их обоих, спокойно и без всякой злобы, лишь бы завладеть этим револьвером.

— Инглизи подарит тебе револьвер, если ты проведешь нас через итальянские позиции к грекам.

— Да? — вопросительно протянул Деус.

— Инглизи обещал мне. На этого инглизи вполне можно положиться, ты сам можешь судить об этом.

— А какое у него лицо, если отмыть его от крови? — спросил Деус.

— Добродушное, как у теленка. И очень молодое. Он самый лучший летчик у инглизи.

— Почему же его сбили? — выразил сомнение Деус.

— Он спасал товарищей. В тот день он сбил пятнадцать итальянцев.

— У него замечательная куртка!

— Никудышная! У нее только вид такой.

Нитралексис боялся, что Деус может покуситься на куртку Квейля. Он решил предупредить Квейля, чтобы тот держал свой револьвер незаряженным. Деус может оказаться опасней итальянцев, хотя вообще он очень славный парень.

— Выньте пули из револьвера, — сказал Нитралексис Квейлю через плечо. — Этот паренек... может стащить его. Будьте осторожны. Как только револьвер окажется у него в руках, он нас бросит. Он пойдет на что угодно, лишь бы завладеть револьвером.

— Можете взять его себе, если хотите. Он чертовски тяжел. Он мне совсем не нужен, — ответил Квейль.

— Пусть остается у вас. А то что-нибудь подумает... Я сказал ему, что вы подарите ему револьвер, когда он проводит нас к грекам.

— Я отдам ему револьвер хоть сейчас. Страшно тяжелый.

— Не надо. Он бросит нас. Держите при себе.

Они поднимались вверх по склону. Подъем был трудный, часто приходилось идти по голым камням, не легче было пробираться и сквозь чащу леса. Горный ветер искажал все звуки, и все трое то и дело бросались на землю, когда кому-либо из них чудились приближающиеся шаги. Квейль почувствовал голод и достал плитку шоколада. Нитралексис жевал черствый ржаной хлеб. Дорога внизу постепенно оказывалась прямо под ними. По карте Квейль видел, что они идут на восток. Временами, когда открывался вид на

дорогу, он различал движущиеся сбозы и даже людей.

Под вечер они стали спускаться по склону. Квейль порядком устал, и они подвигались медленно. К сумеркам они спустились до половины склона, и дорога была теперь ясно видна. Деус остановился в густой платановой роще.

— Здесь мы переночуем, — сказал он, обращаясь к Нитралеक्सису.

— А разве нельзя перейти дорогу сегодня ночью? Она так близко, — и Нитралексис указал на дорогу.

— Сначала надо понаблюдать.

Деус скинул свой плащ. Он посмотрел на Квейля, который сидел, опустив голову на колени.

— Он болен? — спросил Деус.

— Нет. Он вполне здоров. Инглизи так отдыхают. Он совершенно здоров.

Квейль поднял голову и спросил, почему они остановились.

— Заночуем здесь. Завтра все рассмотрим. Дорога кишит итальянцами. Надо подождать.

Квейль лег, где сидел. Голова его опять стала тяжелой, и ноги не совсем ему повиновались. Он не чувствовал усталости, но обессилел. С минуту он смотрел в землю перед собой, потом заснул.

Деус и Нитралексис ждали: каждый хотел, чтобы другой улегся первым. Наконец Деус закутался в плащ и лег. Нитралексис высморкался, держась за нос пальцами, и тоже лег.

Вдруг Квейль проснулся. Опять в небе висела пурпурная луна. Он чувствовал, что что-то случилось. Он огляделся вокруг, ища глазами Нитралексиса, но его не было. Деус тоже исчез. Внезапно ему пришла в голову мысль, что они бросили его. Он поднялся и сел. Это было мучительно больно. В это время появился Нитралексис.

— Итальянцы у нас под боком, — шопотом произнес он.

— Где?

— Тут внизу. Слушайте.

Квейль стал прислушиваться. Он услышал голоса и смех. У него захватило дыхание.

— Где Деус? — спросил он.

— Следит за итальянцами, — сказал Нитралексис.

— Почему мы торчим здесь?

— Тут безопасно. Мы в безопасности, если будем сидеть тихо.

Квейль потянулся рукой к револьверу. Револьвера не оказалось.

— Деус взял револьвер, — прошептал Квейль.

— Нет, это я взял его. Он хотел взять, но я взял раньше. Пусть будет у меня.

Квейль ощупал небольшую патронную сумку на поясе. Сумка была густа.

— И патроны вы взяли? — спросил он Нитралексиса.

— Те, что в револьвере?

— Нет. Из этой сумки.

— Нет, не брал, — сказал Нитралексис. — Это, значит, Деус. Наверное, он, а?

— Откуда мне знать. Да, должно быть, он. А револьвер незаряжен.

— Значит, у нас револьвер, а у него патроны, — и Нитралексис тихонько рассмеялся.

— Как вы теперь отберете их у него?

— Мы ничего не скажем ему. Иначе он испугается и бросит нас, но будет тайком красться за нами, чтобы перерезать нам горло во сне. О нет! Ничего говорить не будем. Он не знает, у кого револьвер.

— А что он делает сейчас? — спросил Квейль.

— Наблюдает за итальянцами. Он скоро должен вернуться. Он славный парень, если только не убьет нас.

Теперь Квейль отчетливо слышал итальянцев. Он разобрал несколько слов.

Откуда-то внезапно показался на четвереньках Деус. Он улыбался.

— Итальянцев немного. До утра нечего бояться. Вы понимаете, что они говорят? — спросил он Нитралексиса.

— Нет, не понимаю. Если бояться нечего, мы опять можем соснуть.

— Да. А когда покажется солнце, мы поднимемся выше.

Деус уже ложился.

Нитралексис предложил Квейлю тоже улечься. Квейль все еще чувств-

вовал слишком большую тяжесть в голове, чтобы пренебречь таким предложением. Он лег и тотчас заснул.

Его разбудил на рассвете Деус. Он улыбался дружелюбно, глядя на Квейля честным, открытым взором. Судя по выражению его лица, никак нельзя было подумать, что он может убить обоих своих спутников из-за револьвера. Но Квейлю было сейчас не до физиогномики. «Оружия в Албании достаточно, — думал он. — Там и итальянские, и греческие войска... Хотя албанским горцам добывать оружие трудно. Они страшно боятся самолетов и, опасаясь мести, воздерживаются от набегов на итальянцев».

— О-кэй! — сказал Квейль по-английски.

Лицо Деуса осветилось еще более радостной улыбкой, и он повторил по-своему: «Хоркей». Квейль дружески кивнул головой. Проснулся Нитралексис. При бледном свете предрассветных сумерек они стали подниматься по склону, пока не подошли к кучке деревьев на скале, нависшей над склоном. Уже совсем рассвело, и внизу отчетливо обрисовывалась дорога.

— Будем наблюдать, — сказал Деус Нитралексису.

Тот кивнул головой и улыбнулся Квейлю.

— Моя специальность — наблюдать. Но только где мой «Бреге»? Ах, мой «Бреге».

Чтобы не чувствовать боли, Квейль опять завалился спать. Деус посмотрел на него и спросил Нитралексиса, что особенно сильно болит у Квейля — голова или тело.

— И то, и другое, — сказал Нитралексис.

— Если он умрет, ты отдашь мне его револьвер? — спросил Деус.

— Он не умрет. Ты получишь револьвер, как только мы доберемся до греков.

— Спасибо. Я надеюсь, что он не умрет, — отвечал Деус и наклонился над краем скалы, чтобы наблюдать за дорогой.

Когда Квейль проснулся, солнце стояло высоко и сильно пекло. Боль немного утихла, ноги повиновались лучше. Нитралексис опять ел черст-

вый хлеб. Он улыбнулся Квейлю и хихикнул в бороду.

— Вы спите, как итальянец. Итальянцы — страшные сони.

— Спасибо, — сказал Квейль.

— Хотите хлеба?

— У меня есть шоколад. А где Деус?

— Все наблюдает за рекой и дорогой. Он очень обстоятельный парень.

— Он славный парень, если только не убьет нас, — передразнил Квейль Нитралексиса.

— Совершенно верно! — рассмеялся в бороду Нитралексис.

Деус вернулся под вечер. Он был покрыт грязью с головы до ног. Мокрые волосы прилипли ко лбу. Плащ был испещрен коричневыми мокрыми пятнами. Он улыбнулся Квейлю. Квейль кивнул головой в ответ. Деус прижал ладони к вискам и покачал головой. Квейль еще раз кивнул.

— Сегодня ночью выберемся. Но кругом везде итальянцы, — сказал Деус Нитралексису. — Что, англизм сможет ползти на животе?

— Ну конечно! У него только голова болит. У себя на родине он славится как замечательный ползун, — отвечал Нитралексис.

Квейль отломил кусок шоколада и протянул Деусу. Тот посмотрел на Нитралексиса.

— Бери, — сказал Нитралексис. — Это шоколад. Хорошая вещь.

Деус взял шоколад и улыбнулся Квейлю. Он осторожно откусил кусочек и от удивления раскрыл глаза, как ребенок.

— Очень сладко. Англизм всегда едят это? — спросил он.

— Нет... Но почти всегда.

— Какой сладкий! Простое чудо!

Деус снова улыбнулся Квейлю и опустился на землю, жуя шоколад. Квейль лег спать в надежде заснуть и забыться от боли.

Какой-то шорох разбудил его.

— Сейчас идем? — спросил он Нитралексиса.

— Да. Будем пробираться ползком.

Они поползли. Цепляясь руками за выступы, они спускались по крутым обрывам. Один раз Квейль заметил костер на прогалине шагах в двухстах слева от них. Через некоторое время им пришлось проползти совсем

близко мимо другой итальянской стоянки. Квейль почувал ее по запаху. Ему казалось, что они ползут уже очень давно. Дождь промочил его до костей, но это освежило голову. Сейчас он соображал гораздо лучше.

Они были почти у самой дороги, когда послышался шум машины. Шум приближался, и Квейль видел, как Деус припал к земле. На повороте дороги показался грузовик с затемненными, выкрашенными в синюю краску фарами, и Квейль тоже принял головой к земле. Грузовик прогромычал мимо. За ним шел другой. Путники прижимались к земле, пока проходили машины. Слабый луч голубого света скользнул по ним, и Квейль замер в ожидании, что грузовик остановится и их тотчас обнаружат.

Когда машины прошли, Деус протряси пополз дальше к дороге. Квейль полз за ним на локтях. У дороги, — шоссе, уложенного на насыпи, — Деус поднялся на четвереньки. Он тронул Квейля за плечо, кивнул головой и привстал. Согнувшись в три погибели, он быстро поднялся по откосу и проскочил через дорогу. Квейль следовал за ним, гравий скрипел у него под ногами. Он упал в канаву по другую сторону дороги, и его нагнал Нитралексис.

Опять Деус двинулся вперед. Опять они ползли по мокрой траве, и Квейль чувствовал, как дождь льет ему за воротник. Казалось, они уже много часов ползут в темноте. До них теперь все время доносились голоса. Добравшись до реки, они с радостью прислушались к журчанию воды. Деус опять остановился, и некоторое время они сидели на корточках в какой-то тесной круглой яме.

Деус что-то шепнул Нитралексису.

— Тут неглубоко, — тоже шепотом сказал Нитралексис Квейлю. — По ту сторону реки — итальянцы. Нужно соблюдать осторожность. В случае чего, побежим вверх. По старому высохшему руслу.

— О-кэй! — тихо ответил Квейль.

— Хоркей! — улыбнулся Деус, обернувшись назад. Они двинулись дальше.

Вода в реке была холодная и течение быстрое, но только местами вода

доходила им выше колен. Они брели, пригибаясь к самой воде. Иногда холодные струйки проникали сквозь комбинезон Квейля и щекотали ему живот; он еле удерживался от вскрика. Они благополучно перешли реку вброд и немного полежали на берегу, усеянном белыми валунами. Деус опять медленно двинулся в путь, но сейчас же бросился на землю. Нитралексис и Квейль последовали его примеру. Падение на землю отдалось у Квейля болью в голове. Кто-то расхаживал поблизости. Квейль боялся, что сейчас их откряют.

Но они снова двинулись вперед по расщелине. Это было высохшее русло реки. Валуны скользили у них под ногами и производили немалый шум. Внезапно раздался итальянский возглас.

— Ола!.. Ола!..

Они припали к земле и притихли.

— Ола!.. Кто идет?

«Так не годится, — подумал Квейль. — Если этот итальянец слышал шум и никто не ответит на его оклик, он заподозрит неладное». Квейль силится припомнить какое-нибудь простое итальянское слово, чтобы ответить на оклик, но ничего ему не приходило на ум, а к тому же он знал, что последуют новые вопросы, на которые он уже не сумеет ответить, и он решил лежать и ждать.

— Ола!.. Эй, Ансальдо, вставай! Тут кто-то есть!

— Да ну тебя! Чего орешь!

— Я тебе говорю — тут кто-то есть, — настаивал первый.

— Если это греческая армия, перестреляй ее и заткни глотку!

Снова наступила тишина. Все трое лежали не шевелясь. Квейль чувствовал, как биение и трепет его напряженного тела передавались земле и вновь возвращались в тело. Так лежали они с полчаса. Квейлю казалось, что они провели тут полночи. Наконец Деус, крадучись, опять двинулся вперед.

Квейль осторожно поднялся и пошел за ним. Позади он слышал шаги Нитралексиса. Вдруг покотился валун, звук отчетливо разнесся кругом.

— Ансальдо! — крикнул италья-

нец. И помедлив: — Отвечайте, или буду стрелять!

«Они страшные сони, эти итальянцы. Я сплю, как они, — думал Квейль. — Но уж очень они чувствительны — какого дьявола они волнуются? Что им до этого звука? Слишком они нервные...»

В этот момент один за другим прогремели три выстрела... Пули шлепнулись в землю где-то справа от Квейля. Внезапно Деус рванулся. Он схватил большой камень и швырнул его вниз к реке. Камень с треском ворвался в заросли.

— Ансальдо! — опять крикнул итальянец. Снова раздались выстрелы. Деус прибавил шагу. Квейль спешил за ним, отступая в темноте на мокрых, скользких валунах. Опять до него донеслись крики. Он рассмеялся про себя — было очень похоже на старые детские игры. Бросаешь камень в другую сторону, чтобы отвлечь внимание. «Все очень просто, — думал он. — Опасность вовсе не такая сложная штука. Дело гораздо проще. Да, все это очень просто».

Ему приходилось теперь чуть не бежать, чтобы не отстать от Деуса, который передвигался большими скачками, и он слышал, как спешит за ним Нитралеक्सис. Некоторое время еще были слышны голоса позади, потом Ансальдо взмолился к небу: да ниспошлет оно ему часок спокойного сна!

Вскоре они были уже далеко и продолжали, скорчившись, подниматься вверх по высохшему руслу. Они шли и шли, углубляясь в ночь.

ГЛАВА 15

Яркое солнце светило над ними. Они находились на высокой горе над долиной. Шоссе и река уходили из долины почти прямо на юг. Квейль лежал на спине, сняв с лица повязки. Раны на лице он обмыл водой из ма-нерки. Он хотел проветрить их на воздухе. Дул холодный ветер, но солнце пригревало лицо, не накаляя голову. Деус поглядывал на Квейля, жуя кусок черствого хлеба, который он достал откуда-то из складок одежды.

— Он не похож на теленка, — решил Деус, обращаясь к Нитралексу.

— Он не похож на теленка потому, что он очень силен. Но лицо у него, когда оно не окровавлено, совсем как у теленка, — отвечал Нитралеक्सис.

Деус улыбнулся Квейлю. На его румяных щеках не было никаких признаков растительности. Он был еще слишком юн. У Квейля раны на лице обросли густой щетиной, которая от крови казалась черной.

— А он наверное подарит мне этот чудесный револьвер? — спросил Деус.

— На англизи можно положиться. Он доверяет тебе, а ты можешь смело доверять ему.

Деус кивнул.

Вдруг Квейль поднял глаза — ему послышался гул моторов. Сначала ему не верилось, но вскоре сомнения рассеялись.

— Это еще что? — машинально произнес он.

— Айропланос, — сказал Нитралеक्सис. — Да! Айропланос!

Оба уже стояли. До них доносился глухой гул. Равномерный и вибрирующий. Прикрыв глаза, они всматривались в небо на севере. Но ничего не было видно. Постепенно звук утратил свою равномерность, теперь слышался то повышавшийся, то понижавшийся гул многочисленных машин.

— Вот она, — сказал Нитралеक्सис, указывая на северо-восток.

Квейль мог ясно различить огромную эскадрилью, приближавшуюся к ним. Самолеты шли тремя группами. В каждой было не меньше пятидесяти машин. Они шли в стройном порядке на высоте около десяти тысяч футов.

— Господи, целые сотни! — воскликнул Квейль.

Вскоре эскадрилья приблизилась настолько, что можно было определить тип самолетов. Прикрыв глаза ладонью, Квейль внимательно всматривался. И вдруг он понял, что это за самолеты.

— Немцы! — сказал он Нитралексу. — Это «Дорнье-17».

Длинные, похожие на карандаш самолеты шли сомкнутым строем, четко распределяясь на звенья. Их форма обрисовывалась очень точно:

Квейль отчетливо видел также и вторую большую группу. В этой группе были «Юнкерсы-86» и «Хейнкель-III». Характерные овальные фюзеляжи «Хейнкелей» придавали им массивный вид, хотя они были меньше длинных и узких «Дорнье».

— Значит, у нас есть теперь и немцы, — заметил Нитралексис.

— Интересно, когда они вторглись... Ну, и дела!..

— Кому-то они насыплют бомб, эти разбойники! — сказал Нитралексис.

— Надо торопиться. Спросите Деуса, когда мы проберемся через итальянские линии.

Деус не отрывал глаз от бомбардировщиков.

— Инглизи, — сказал он Квейлю.

— Немцы, — ответил ему Нитралексис.

— Они тоже воюют? — спросил он.

— Да, теперь воюют. Нам надо поспешить, пока они не пришли сюда. Когда мы сможем добраться до греческих войск?

— Может быть, завтра к вечеру. Продвигаться надо осторожно.

— Мы должны попасть в Янину до прихода немцев, — сказал Нитралексис Деусу.

— Может быть, завтра вечером мы проскользнем между ног у итальянцев.

— Ладно, не будем терять времени, — прервал их Квейль. Он обмотал грязную повязку вокруг головы. — Что он говорит? — указал он кивком на Деуса.

— Он говорит, что, может быть, завтра к вечеру мы доберемся до греческих линий.

— Прекрасно. Будем двигаться. Хотел бы я знать, когда они вторглись, — сказал Квейль, обращаясь главным образом к самому себе.

Весь день они слышали над головой гул бомбардировщиков. Иногда они видели самолеты, все — немецкие. Иногда не видели, но зато слышали отдаленные раскаты бомбардировки. Квейль думал, что теперь, когда немцы начали вторжение в Грецию, итальянцы тоже перейдут в наступление; придется, значит, пробираться прямо сквозь огонь сражений.

К концу следующего дня они спустились с горы, сделали огромный круг, чтобы обойти равнину, и к ночи достигли небольшого плато, откуда был виден итальянский лагерь и шоссе между Тепелени и Клисурой. Где-то на юге шла артиллерийская перестрелка, а по шоссе непрерывно проносились итальянские автомашины.

— Не туда попали, — шевнул Деус Нитралексису. — Слишком далеко зашли.

— Ну и что же?

— Вы, правда, спешите? Тут надо рискнуть.

— Готовы рискнуть? — чуть насмешливо спросил Нитралексис Квейля.

— Разумеется! Что за вопрос! Пошли дальше, — прошептал Квейль.

— Рискнем, — сказал Нитралексис Деусу.

— Хоркей! — прошептал Деус и похлопал Квейля по плечу.

Попрежнему ползком они выбрались на открытое место. Квейль заметил очертания громоздких предметов, укрытых ветвями. Его мозг пронзила мысль: танки. Когда они подползли ближе, Квейль увидел и следы гусениц на земле. На шоссе, не дальше чем в двадцати шагах от них, показался часовой, и Деус мгновенно припал к земле. Было еще не поздно, луна светила не так ярко, и Квейль не мог видеть, что делалось по другую сторону шоссе. Он полз, прижимаясь к мягкой траве и стараясь не отставать от Деуса, который дюйм за дюймом продвигался все ближе к дороге. Когда часовой остановился, они опять замерли на месте.

— Хоркей, — прошептал Деус.

— Пошли, — сказал Квейль Нитралексису. Все трое перекатились на четвереньках через дорогу и свалились в канаву по другую сторону. Выглянув оттуда, Квейль увидел обширную площадку, а на ней силуэт тяжелых орудий и зарядных ящиков.

Они проползли через вспаханную полоску мягкой, грязной земли, и Квейль почувствовал сырость даже сквозь свои меховые сапоги. Впереди на фоне ясного неба выделялась очертания леса.

— Подождите, — сказал Деус Нитралексису. — Я посмотрю.

Он пополз вперед. Нитралексис остановил Квейля, который двинулся было за ним.

— Он наблюдает, — сказал Нитралексис.

— А что случилось?

— Ничего. Мы зашли слишком далеко. Эти итальянцы — страшные сони, а?

— Ш-ш-ш! Вы их разбудите, и тогда как бы нам не пришлось уснуть.

— Как ваше лицо, англизи?

Квейля удивил этот вопрос — до сих пор Нитралексис ни разу не спросил его о ранах на лице. «Вероятно, это потому, что мы оба напуганы», — подумал Квейль.

— Спасибо, хорошо. Куда он делься, чортов сын?

— Он сейчас вернется, — сказал Нитралексис. — Я отобрал у него пули. Вот они.

— Хоркей! — послышался голос Деуса. — Идем, англизи, — сказал он Квейлю по-гречески.

Пробираясь по обрывистому склону, они видели шоссе, извивавшееся по краю долины, параллельно реке. Слышна была артиллерийская канонада. Трудно было сказать, где стреляли орудия — впереди или сзади, но, во всяком случае, очень близко. Вдруг Квейль увидел, как внизу, справа от них, неподалеку от дороги разорвался снаряд.

— Это, верно, ваш, — сказал он Нитралексису.

— Да, греческий. Здорово! Поглядите!

Снаряды один за другим ложились вдоль дороги. Это была меткая стрельба, но Квейль, по крайней мере с такого расстояния, не видел для нее никакой достойной цели. Внезапно раздался визгливый свист, и сквозь комья красноватой земли они увидели вверху белое облачко. Они бросились на землю.

— Мы в центре боя, — сказал Квейль.

Глухой гул донесся до них сверху.

— Итальянцы! Это их пушка! — сказал Нитралексис. — Идем!

Все трое, то ползком, то скачками, пробирались через лес, кидаясь на землю всякий раз, как над ними

разрывались снаряды. Затем лес наполнился противной частой трескотней легкого пулемета. Пулемет строчил где-то внизу, впереди. Квейль посмотрел в ту сторону, но ничего не мог увидеть. Они опять бросились на землю, — вверху на склоне разорвался еще один снаряд. На этот раз он упал совсем близко.

— Они метят в нас. Нас, наверное, заметили.

— Поворачивайтесь живей! — крикнул Квейль. Они пустились бегом.

— Там уже греки. — Нитралексис указал на белое облачко разорвавшегося снаряда на склоне противоположной горы. — Да, это греки.

Они бежали, прыгая с камня на камень, а снаряды продолжали рваться над ними, и камни скатывались вниз, догоняя бегущих. Вдоль дороги тоже попрежнему взлетали белые облачка. Затем опять застрекотали пулеметы.

А они все бежали, пригибаясь к земле, пока Деус не сказал Нитралексису:

— Уже близко. Надо спуститься в долину. Там греки. Они, должно быть, отступили туда. Они были здесь, где мы сейчас.

— Лучше поверху, лесом, — возразил Нитралексис.

— Нет, прямо вперед. Если мы попробуем подняться вверх, нас заметят.

— Но так ближе, — сказал Нитралексис.

— Нет, прямо вперед!

Деус дернул Квейля за рукав и указал вперед. Квейль кивнул головой. Они побежали, но тут опять затрещал пулемет. Квейль увидел, что Нитралексис бежит по открытому месту, вверх по склону, по направлению к лесу.

— Ложись! — крикнул он. Нитралексис продолжал бежать. Опять застрекотал пулемет, еще громче, и Квейль увидел, как у Нитралексиса вдруг подкосились ноги, он зашатался и боком тихо опустился на землю. Квейль понял, что в него попала не одна пуля. Деус тронул Квейля за плечо, и он, согнувшись, побежал вслед за Деусом, мчавшимся к лесу. Над головой у него свистели пули.

но он уже не кидался на землю, а продолжал бежать, пока не оказался в лесу. Деус залез в расщелину в скалах. Квейль оглянулся назад. Нитралексис лежал на боку. Лежал, как мешок, тело его не имело опоры в самом себе и обвисало, подерживаемое только землей. Квейль понял, что он мертв.

Внизу раздавались крики итальянцев. Деус опять тронул Квейля за плечо. В руке у него был револьвер. Он указывал Квейлю на пустой барабан. Ему нужны были патроны. На секунду у Квейля мелькнул вопрос, когда же Деус успел взять револьвер у Нитралексиса, и что он будет делать с ним, если получит патроны. Он посмотрел на Деуса, затем отстегнул квадратный карманчик в своей сумке и достал небольшую коробочку. Он высыпал несколько патронов в протянутую руку Деуса и отдал ему коробочку. Деус вложил пули в барабан, щелкнул затвором, и Квейль опять с изумлением спросил себя, откуда он знает, как обращаться с револьвером.

Когда итальянцы стали подниматься вверх, Деус указал вперед, и они снова пустились бежать, петляя в лесу и кидаясь на землю, как только начинал трещать пулемет. Они добежали уже до долины, когда где-то позади и внизу услышали топот бегущих ног. Не останавливаясь, они скатились в долину. Деус подождал, пока его догонит Квейль, затем протянул руку вперед и слегка толкнул Квейля, показывая, что надо перебежать неглубокий овраг. Итальянцы опять открыли огонь из пулемета.

— Хоркей! Хоркей! — Деус решительно кивнул головой и снова указал вперед.

— О-кэй! — сказал Квейль, с трудом переводя дыхание.

За ними раздался шум, и Деус быстро толкнул Квейля вперед.

— Хоркей, англизи, — сказал он, запыхавшись и указывая вперед.

Он схватил Квейля за руку, но тотчас же отпустил ее, повернулся назад и бросился вверх по склону. Квейль глубоко перевел дыхание и побежал в противоположную сторону. Он слышал, как по нем строчит пулемет. Потом до него донесся су-

хой треск револьверного выстрела — одного и другого, — и он со всех ног помчался по скалам, пока не споткнулся и не упал. Он лежал на земле, тяжело дыша. Снова раздался револьверный выстрел, потом еще раз. Застрекотал пулемет, и Квейль оглянулся назад: Деус бежал вверх по склону и отстреливался. Еще раз застрекотал пулемет. Деус упал, но сразу же вскочил на ноги, и пулемет застрочил опять. Квейль видел, как Деус, согнувшись пополам и прихрамывая, продолжал подниматься вверх. В руке у него был револьвер. Вдруг Деус упал ничком, поднял револьвер и выстрелил. Вспыхнул дымок, потом до Квейля донесся звук выстрела. Деус вскочил на ноги и начал палить с револьвера в сторону леса, пока не расстрелял все патроны. Квейль увидел, как на Деуса бежит итальянец с автоматом в руках. Он ждал, что Деус швырнет в него револьвер, но Деус, не расставаясь с револьвером, повернулся и снова побежал вверх по склону. Автомат защелкал быстро, зловеще. Деус грохнулся на ходу, револьвер взлетел вверх и упал среди деревьев. Деус лежал в такой же неестественной позе, как и Нитралексис, — тот же отпечаток смерти.

Квейль перевел дух и снова бросился бежать. Он бежал до тех пор, пока где-то рядом, с правой стороны, не затрещал пулемет. Он пошатнулся, голова у него чуть не лопалась, на лице выступила кровь. И тут он увидел темнокоричневый мундир. Он увидел винтовку, поспешно развел руки в стороны и во все горло закричал: «Инглизи! Инглизи!» Он видел, как солдат поднял винтовку. «Инглизи!» — опять крикнул он. По лицу его катились слезы, и он знал, что это плакала в нем его жизнь.

— Инглизи! Инглизи! — повторял он, спотыкаясь на ходу и поднимая руки вверх, в то время как грек бежал ему навстречу. Он почувствовал, как его крепко схватили чьи-то руки, почувствовал боль и заковывал, подерживаемый греком.

— Инглизи!.. — опять сказал он. — Я — инглизи! — еще раз вытолкнул он из себя, пока голова не разорвалась на части.

И он, как сноп, повалился на руки грека.

ГЛАВА 16

Была тишина. Никогда не слышал он такой тишины. Не было ни звука. Ни звука... Тишина всегда содержит в себе какой-нибудь звук. Но тут было что-то не так. Не было никакого звука, абсолютно никакого. Предметы были тихи независимо от тишины. Это была агрессивная тишина, направленная против него. Такая тишина... Такая тишина... Где же шорохи? Не может быть такой тишины. Такая тишина... такая тишина. Ну, брось, будь нормальной тишиной, с шорохами и со всем прочим. Такая тишина...

Послышался шорох, которого он так желал. И он открыл глаза. Он видел, как он бежит к греку, и слышал, как стреляет артиллерия,— нет это не артиллерия, это пулемет. Он забыл об артиллерии, когда бежал. Он слышал только треск пулеметов,— но ведь была и артиллерия. «Да, честное слово,— вы меня не обманете,— я знаю, что здесь стреляет артиллерия». И тут он увидел хлеб. Целую кучу хлеба. Черного хлеба с потрескавшейся корочкой, точно надломленная колбаса. Он не поверил и привстал.

— Где же?..— сказал он и удивился, услышав собственный голос.

Кто-то вошел. В открытую дверь он услышал гул артиллерийской канонады.

— Что это? — спросил Квейль.

— Инглизи,— услышал он голос. Он рассчитывал увидеть Нитралексиса. Но это был какой-то маленький грек в темнокоричневой форме, совсем не похожей на форму Нитралексиса, который всегда ходил в синем. Да, в синем — точной копии английского синего.

Еще кто-то вошел. Этот был в шинели и фуражке с козырьком.

— А, вы очнулись!

Он услышал ломаный английский язык.

— Да,— сказал он.— А что такое?

— Можете теперь не беспокоиться,— услышал он по-гречески. Го-

ворил человек в фуражке с козырьком.

— Да. Я знаю. Простите меня. Я это знаю. И очень прошу простить меня.

— Ничего, ничего. Вот.. выпейте коньяку.

Он подал Квейлю эмалированную кружку. Квейль выпил, и его словно судорогой свело. Он покачал головой и почувствовал, что она вся в огне. Он поднял глаза и увидел грека в фуражке с козырьком.

— Спасибо,— сказал он вполне сознательно.

— Вы теперь в полном порядке,— сказал грек.

— Да. Где я нахожусь?

— Это наша хижина. Вы в безопасности, вам повезло.

— Да, я вижу.

Квейль спустил ноги с койки и попробовал встать. Земля вращалась у него под ногами, но он не упал. И он различал грохот артиллерии и,— значит он в порядке.

— Мне надо в Янину,— сказал он.— Немцы уже там?

— Что вы... нет, нет!

— Я должен немедленно отправиться в путь. Как туда попасть? Где дорога?

Грек улыбнулся.

— Не надо волноваться. Немцев там еще нет.

— А далеко они?

— Не знаю. Мы здесь ничего не знаем. Все идет вкривь и вкось. Они много раз бомбили Янину. Вчера мы потеряли связь с нашим генералом в Янине. Он говорил, что дела там плохи. Мы отступаем по всему фронту.

— А как австралийские войска? Англичане? — спросил Квейль. Взгляд его упал на хлеб, и под ложечкой у него засосало от голода.— Можно мне немножечко? — указал он на хлеб.

— Конечно,— ответил грек.— Инглизи находятся по ту сторону Пинда. Нам ничего неизвестно о них... Немцы наступают от Корицы.

— Смогу я попасть в Янину до них.

— Да.. попадете. Вы не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь, но мне надо в Янину. Покажите мне, пожалуйста, как выбраться отсюда на дорогу.

— Хорошо.

Квейль отламывал куски хлеба и рассовывал их по карманам. Греки следили за ним. Маленький грек дал ему еще коньяка. Квейль набрал полный рот коньяку и разом проглотил его.

— Пожалуйста, покажите мне дорогу,— сказал он. Он направился к выходу.

— В состоянии ли вы далеко идти?

— Да, если буду идти по дороге.

Квейль открыл дверь. Яркий солнечный свет ослепил его. Он прикрыл глаза ладонью. Теперь он вполне отчетливо слышал гул артиллерийской канонады.

— Если вы подождете минутку, он пойдет с вами,— грек в фуражке указал на маленького грека. Он что-то сказал ему, и тот вышел. Он пошел за вещами.

— Я не хочу причинять вам хлопоты. Я обойдусь без него.

— Не все ли равно? Одним человеком больше или меньше — теперь не считается.

— Благодарю вас,— сказал Квейль. Он вспомнил о Нитралексисе. Но те дни, которые он провел с Нитралексисом, были так далеки от всего настоящего, что он не в состоянии был чувствовать то, что следовало чувствовать при мысли, что оба — Нитралексис и Деус — убиты. Он не чувствовал ничего. Совершенно и абсолютно ничего.

Маленький грек вернулся со скатанным одеялом на ремне через плечо. В руке он держал еще одно. Он улыбнулся, показывая желтые зубы. Второе одеяло он отдал Квейлю. Грек в фуражке с козырьком объяснил ему, что он должен сделать.

— Ты проводишь его до Янины,— сказал он маленькому греку.— Постарайся устроиться с ним на одном из грузовиков, которые возвращаются с фронта, и доведи его до Янины. Сам возвращайся назад. Понял?

— Понял,— ответил маленький грек. Он взял письменный приказ, который изготовил для него грек в

фуражке с козырьком. Затем он кивнул Квейлю, и Квейль вышел за ним. Сделав несколько шагов по грязи, он как бы вспомнил что-то и обернулся.

— До свиданья! И благодарю вас! Благодарю за все.

— Не стоит,— ответил грек в фуражке с козырьком.— Я сам бы охотно ушел вместе с вами.

Квейль взглянул на его спокойное лицо и понял, что он говорит совершенно серьезно.

Вместе с маленьким греком они зашагали по грязной тропинке. Было так приятно идти и не бояться, что на тебя вот-вот набросятся итальянцы. Внизу видна была дорога и проходящие по ней грузовики. Немцы еще не дошли до Янины, и он отыщет Елену и вместе с ней вернется в Афины. Его несколько не удивляло, что все принимают победу немцев как нечто само собою разумеешее. Это был вопрос простой арифметики. «При наших порядках,— думал он,— почти что физически невозможно побить немцев на суше. При теперешних порядках никаких шансов. Что-то неладно с нашей армией, это несомненно. Нужна какая-то новая идея, которая перетряхнула бы армию снизу доверху. Нет, неверно, просто дело в количестве. У нас нет ничего — ни вооружения, ни самолетов. Да, дело именно в этом. Скажем, я сам: что случилось бы с итальянцами, если бы у нас было такое же количество самолетов, и даже с немцами. То же самое, верно, и на суше. Но это еще не все. Нужно знать, что делать со всем этим — особенно с армией. В этом загвоздка, от этого не уйдешь. В этом все дело».

— Айропланос! — услышал он голос маленького грека.

Квейль прислушался. Он различил гул многочисленных моторов. Маленький грек поспешил укрыться между деревьями.

— Не бойтесь,— сказал Квейль,— они еще далеко от нас.

Он продолжал идти по тропинке. Маленький грек потащился за ним, все время поглядывая вверх.

Они вышли на дорогу,— там сгрудились грузовики, только что поки-

нувшие свою стоянку. Шоферы рассыпались по склону, подальше от дороги. Они стояли и смотрели вслед удалявшимся бомбардировщикам.

— Что с вами? Или вы думаете, что они могут попасть в вас отсюда? — крикнул им маленький грек, догоняя Квейля.

Шоферы с интересом посмотрели на них обоих.

— Кто это? Кто это, ты, нахальный болтун?

— Инглизи. Это — инглизи. Летчик, которого сбили. Он летал туда бомбить итальянцев.

— Слишком много болтаешь, — сказал один шофер здорового роста.

— Может быть. Но ему обязательно надо попасть в Янину. Мы поедем на твоём грузовике.

— Я еду только до Аргирокастро.

— Ладно, подвезешь туда.

В памяти осталось, что он спал и просыпался только тогда, когда остальные, заслышав гул самолетов, спешили к придорожной канаве. Квейль спал, положив голову на руки и прижимаясь грудью к кожуху мотора в кабине «дизеля». Просыпаясь, он видел высокие скалистые горы вокруг и глубокие ущелья внизу. Он слышал, что мотор работает с трудом, и видел, как большой грек-шофер переводил рычаг на другую скорость и поворачивал во все стороны руль. Он был слишком утомлен, чтобы сознавать опасность и всеобщее смятение.

В Аргирокастро, куда они приехали ночью, маленький грек разбудил его, потрясши за плечо. Когда Квейль слез с грузовика, он увидел белые дома и почувствовал едкий запах взорвавшихся бомб. Полусонный, он пошел следом за маленьким греком. По дороге он ощутил влагу у себя на лице — начал моросить дождь. Они шли по разрушенному бомбежкой городу, прилепившемуся сбоку у большой белой горы, и на каждом шагу им попадались люди.

— Куда мы идем? — спросил Квейль маленького грека.

Тот мотнул головой и указал вперед.

Они шли уже больше часа, и

Квейль чувствовал, что у него опять приливает кровь к голове. Он уселся на мокрую землю, не ощущая сырости. Ему хотелось спать. Маленький грек поднял его на ноги и взял его под руку своей широкой мозолистой рукой. Они дошли до моста. Здесь опять выезжали на дорогу уклонившиеся с пути грузовики.

— Сделали крюк! — пояснил маленький грек с улыбкой, но Квейль не видел ее в темноте.

Когда один грузовик с солдатами стал подниматься на кругую насыпь за мостом, маленький грек крикнул шоферу:

— Стой! Я сопровождаю инглизи. Срочное поручение. У меня приказ останавливать кого угодно и доставить его в Янину.

Квейль почти не слышал, как они переговаривались, — так он был утомлен. Он слышал только, как маленький грек опять крикнул что-то, а затем его подхватили подмышки, он сделал, спотыкаясь, несколько шагов и свалился в кузов грузовика; толчок больно отдался в голове. Он мгновенно заснул после напрасной попытки привести в порядок свои бессвязные мысли. Он собирал по частям моторы самолетов, пока не решил лететь на одном только моторе, и до него донесся смех Тэпа, издававшегося над идеей, что мотор может летать.

Он лишь смутно сознавал, что они остановились, что кто-то кричит и произошло какое-то замешательство.

— Далеко еще? — спросил Квейль по-английски. Он не мог вспомнить ни одного греческого слова из-за головной боли. Маленький грек только улыбнулся.

— Далеко еще до Янины? Сколько?..

Маленький грек кивнул головой и спать улыбнулся.

— Ах, боже мой!.. Неужели вы не понимаете, что я спрашиваю: далеко ли еще до Янины?.. Янина?.. Когда?..

Маленький грек кивнул, улыбнулся и поднял три пальца.

— Три часа? — переспросил Квейль. Ему приходилось кричать, чтобы перекричать шум дизеля. Маленький грек утвердительно кивнул.

На дороге творилась неразбериха. Греческие солдаты, усталые от всего еще до начала войны, были теперь слишком усталыми, чтобы спешить даже при отступлении. Когда грузовик обгонял солдат, Квейль видел их лица. Они поднимали головы и что-то кричали, иногда даже бежали за грузовиком, но не могли догнать его, скоро отставали и опять продолжали брести.

По склонам гор ютились деревни,— если можно было их так назвать, потому что они были наполовину разрушены бомбежкой и покинуты жителями. Вдоль всей дороги виднелись воронки от бомб. И как только рассвело, появились самолеты. Всякий раз, как они пролетали над дорогой, греки бежали в кустарник. Квейль отлично понимал их, он помнил обстрел с бреющего полета, и они проехали недавно мимо еще дымящихся обгоревших грузовиков — плодов вчерашнего обстрела.

Он лежал в кузове. Когда грузовик останавливался и маленький грек, завидев самолеты, убегал в кусты, Квейль начинал петь во все горло. Вставали в памяти школьные дни, когда мальчики, облаченные в белые стихари, распевали во весь голос, полные гордости, и сейчас он пел те же песни, что они пели тогда вне церковных богослужений. Особенно часто повторял он песенку с припевом: «Что мне за дело до других, коль нет им дела до меня». Он не помнил точно слов и забыл даже название песенки, и потому тянул глоссы «ля-ля-ля», когда ему не хватало слов.

Потом маленький грек возвращался назад к грузовику и улыбался виноватой улыбкой, видя, что Квейль болтает ногами и поет о том, что ему «ни до кого нет дела». Но маленький грек не понимал разницы между различными видами опасности и разницы между различными видами пробуждаемого ею чувства, он не понимал, что то, что Квейль сейчас делал, было тесно связано с тем моментом, когда по нем строчили из пулемета. Именно этот пулемет служил для Квейля критерием опасности, и хотя он тоже испытывал страх

всякий раз, когда пролетали бомбардировщики, но пулемет он считал большей опасностью, он тогда уцелел — хотя Нитралексис и Деус не уцелели,— значит, ему не страшна никакая бомбежка. И он продолжал петь и затягивал новую песенку: «Одни всю жизнь вздыхают, вздыхают и вздыхают; другие любят раньше смерти умирать»... И в заключение во весь голос: «Но мы с тобой вздыхать не будем, не будем умирать,— кто сердцем весел, вечно жив». Он повторял эту песню раз за разом. Он не чувствовал себя счастливым. Но и не чувствовал себя несчастным. Просто он физически не мог не петь. Он великолепно понимал значение того, что происходило на его глазах. Это была так или иначе страница истории. И ему становилось легче от этого, так как он знал, что дело идет к концу, что скоро он попадет в Янину и разыщет Елену, и тогда он вернется назад в Афины, и все будет кончено...

Когда греки слишком долго задерживались в кустарнике, Квейль начинал терять терпение.

— Едем дальше, вы, черти! — кричал он.— Они далеко отсюда.

Но греки не обращали на него внимания, и тогда он опять затягивал песню.

На скрещении дорог вблизи Долианы «дизель» остановился. На дорогах большими группами стояли солдаты, транспорт растянулся на целую милю,— образовалась пробка. Нигде не видно было офицеров, никто, казалось, не думал о том, чтобы как-нибудь помочь делу. Маленький грек пошел узнать, что создало пробку. Он долго не возвращался. Квейль слез с грузовика и пошел в лес. Вернувшись, он увидел, что маленький грек в большом волнении ищет его повсюду.

— Инглизи!.. Инглизи!.. — воскликнул он, и затем на ломаном французском языке...— Немцы! — Янина... Немцы! Янина.

— Что за чорт? Хоть бы одно английское слово!.. Я больше не в силах!

— Немцы — Янина!.. — повторял маленький грек.

Он опять скрылся, а Квейль на-

блюдал картину хаоса и задавал себе вопрос, что можно сделать. Вскоре маленький грек вернулся. Он привел с собой высокого бородатого грека, похожего на Иисуса Христа, с желтыми капральскими нашивками на рукаве.

— Прошу прощения,— сказал новый грек по-немецки.

— О! Вы говорите по-немецки? — спросил Квейль тоже по-немецки.

— Да. Вот он говорит, что вы хотите в Янину.

— Совершенно верно,— сказал Квейль.— Что это за толки, будто там уже немцы?

— Это верно — так здесь все говорят. Никто не хочет двигаться дальше, потому что, по их словам, в Янине немцы.

— Откуда они знают?

— Они не знают. Они говорят, что знают.

— А как могли уже попасть туда немцы?

— Не знаю. Я знаю только то, что они говорят.

— Далеко еще до Янины?—спросил Квейль.

— Несколько часов езды.

— Благодарю вас. Я пойду пешком. Спросите этого малыша, пойдет он со мной или нет.

Высокий бородатый грек спросил маленького грека, пойдет ли он с англизии пешком до Янины. Маленький грек в свою очередь спросил его, действительно ли в Янине немцы. Высокий грек ответил, что не верит этому. Он сам пойдет с англизии в Янину.

— Ладно, — сказал маленький грек.— Тогда и я иду.

Они миновали длинную вереницу сбившихся в кучу грузовиков, орудий, мотоциклов, запряженных мулами повозок, зарядных ящиков и солдат, в которых не осталось жизни, хотя они и дышали, и зашагали по пустынной дороге к Янине.

Квейль рассчитывал, что им попадется по дороге какая-нибудь автомашина, даже если Янина занята немцами, но они нигде не встретили ни одного грузовика. Не видно было ни солдат, ни мулов. Квейль начинал думать, что немцы действительно заняли Янину.

— Еще далеко? — то и дело спрашивал он высокого грека.

— Нет, километров семь.

Они миновали грубо обтесанный деревянный столб с надписью: «километр 22». Маленький грек тащился позади, все время разговаривая с высоким греком.

— Мы попадем прямо в лапы к немцам,— говорил он. Квейль не мог без смеха смотреть на его крохотное, обросшее щетиной лицо.

— Да, дело плохо,— отвечал другой грек.— Но не все ли равно?

— Зачем же мы идем? — продолжал маленький грек.

— Я хочу пробраться как можно ближе к дому. А зачем идет англизии?

— Он сумасшедший. Он идет пешком из Валлоны, представь себе! Я бы предпочел, чтоб меня убили.

— Почему же ты не постарайся, чтоб тебя убили?

— Я сопровождаю англизии,— сказал маленький грек. Квейль не понимал, о чем они говорят, но ему нравился маленький грек за его талант спорщика. Когда дорога пошла вверх и из-за гор подул холодный ветер, Квейль, шедший впереди, увидел озеро, на берегу которого расположена Янина.

— Вот и озеро,— сказал он по-немецки иисусоподобному греку.

Да. Теперь уже близко.

— А как насчет немцев? Есть какие-нибудь признаки немцев?

— Пока никаких. Хотя озеро — совсем рукой подать. Да. Вот оно!

И, наконец, они увидели первых жителей — греков.

— Смотрите, немцев здесь нет! Вон греки!

Маленький грек просиял и указал на запряженную мулом телегу, двигавшуюся навстречу им из города, очертания которого уже вырисовывались на берегу озера.

Квейль не всматривался в греков, сидевших в телеге, когда она проезжала мимо. Это могли быть и перодетые немцы, но он не обратил на них никакого внимания. Он продолжал идти, с трудом поднимая ноги, словно шел по глубокому снегу. Вот он миновал скрещение дорог, рошницу на окраине города, потом не

большие домики и, наконец, большое, свисавшее над дорогой дерево, где происходила всегда проверка машин и повозок. Но сейчас здесь не было ни души.

Когда он миновал окраины, ему бросились в глаза следы бомбежки. Ни один дом не сохранил нормального вида, вместо домов было что-то непонятное. А на улицах деревянные обломки, груды кирпича, исковерканная колючая проволока, грязь, воронки, обгорелые бревна и мертвая тишина.

Он добрался до развалин главной улицы; здесь ему повстречалось несколько солдат, бродивших без цели. Общее впечатление от покинутого жителями города было очень тягостное. Вдруг он вспомнил о госпитале. Город был разрушен и казался мертвым... А госпиталь?.. Он прошел через грязную площадь, сплошь усеянную воронками, наполненными водой, мимо разбитой бомбами гостиницы, где они жили. Он шел не останавливаясь, совсем забыв о маленьком греке и иисусоподобном греке, которые плелись позади.

Но вот и госпиталь. Он увидел греков, толпившихся перед входом, и несколько автобусов и улыбнулся: здесь был кусочек жизни. Но здание госпиталя было разрушено с одного конца, а с другого вся стена испещрена следами осколков, и он слышал запах. Он не мог сказать точно, что это был за запах, но он был связан с запахом разрушенного города и с этой тишиной, страшной и величественной. «Поистине величественной, — подумал он, — как раз подходящее слово».

Тяжело дыша и не помня себя, он быстро протолкался к разбитому подъезду госпиталя. Распахнув дверь, он вступил в тяжелый запах смерти и того, что еще сохраняло жизнь.

Он направился в приемную. Здесь на полу лежали раненые греки. Они лежали и в коридоре, и над ними склонялись женщины, а другие женщины ходили туда и сюда. Они даже не посмотрели на него, когда он проходил мимо.

Елены здесь не оказалось. Все лица были здесь новые.

Квейль прошел до конца коридора, затем через длинную палату, где лежали раненые и стоял тяжелый запах. Он открыл дверь и увидел грека в белом халате. Грек подошел к нему, коснулся повязок у него на лице и что-то сказал сестре. Та подняла ему ножницы, и он начал разрезать повязки. Квейль отстранился.

— Нет! Я ищу кое-кого! — сказал он сердито.

— Что вы сказали? — спросила сестра по-английски.

— Я ищу... я ищу Елену Стангу. Я ищу ее.

— Не знаю... — сказала девушка, не выказывая никакого интереса.

Он видел, что объясняться дальше бесполезно. Он прошел обратно через палату и вошел в небольшой кабинет рядом с кабинетом старшей сестры. Здесь было несколько девушек, которые скатывали бинты и возились с бутылками.

Она стояла у раковины и мыла руки...

— Елена! — сказал он.

Она обернулась.

— Это я! — сказал он. — Это я!

Он видел, как она пожелтела, потом все лицо ее превратилось в широко раскрытые глаза, и она бросилась к нему, бормоча что-то невнятное. Он схватил ее за руки, когда она хотела коснуться его лица, и увидел, что она плачет, потом почувствовал, что и сам он плачет, — он не мог себе представить, что вот он здесь и слышит ее.

— Это ты! Ты ранен? Твое лицо..

И тут он почувствовал ее в своих объятиях, она рыдала, страшно рыдала, безумно рыдала, у него внутри все оборвалось, он стал неотъемлемой частью ее плача и нежного запаха, его плечи тряслись в такт с ее рыданиями, он весь был в огне, руки его дрожали вместе с ее телом, голова стала тяжелой... Ибо здесь было все. Здесь был и сбитый самолет, и то, как он упал на руки грека; и «инглизи», и Нитралексис, и Деус; и падение, и страсть, и жара, и холд — и все.

Она подняла голову. Он взглянул на нее зрячими глазами и все почувствовал, и ему только нужно было ее лицо, чтобы оно сказала ему.

— Твое лицо! — сказала она, протягивая руку и касаясь повязки.

— Не сердись, — сказал он. — Я такой грязный.

— Идем скорей... твоё лицо! Ах, Джон!

И она снова заплакала.

— Это ничего, — сказал он. — Ничего, Елена. Все в порядке.

— Мне говорили, что видели, как ты разбился. Вот, что мне сказали.

— Правильно. Но я уцелел. И остался жив.

Она смотрела на него, не мигая и не отрывая глаз, затем повела его по коридору в операционную и плакала, когда они шли по коридору, смотрела на ставшие черными повязки на его лице, а он думал... и чувствовал исходившую от нее теплоту... и не хотел идти с ней в операционную... Он вдруг осознал весь хаос, всю неразбериху в госпитале, всеобщую суету и беспомощность, неуверенность, и совершеннейшую безнадежность, и ему хотелось скорее бежать отсюда.

— Я в полном порядке! Я в полном порядке! — повторял са, когда они вошли.

Врач был в операционной и, не говоря ни слова, взялся за ножницы. Наклонившись над столом, Квейль увидел свое отражение в полированном металле медицинского тазика, и его поразили черные тряпки, окугивавшие почти все его лицо, и щетина, пробивавшаяся между повязками, и распухшая губа, и дикий, безумный взгляд, и иссиня-черный цвет кожи, не прикрытой повязками, и пятна, и ссадины, и грязь на лице. И тут он понял, что лицо у него изодрано в клочья, а сам он и его одежда имеют беспорядочный, дикий вид. Врач разрезал повязки, но они не подавались, так как присохли к лицу. Сестра принесла тазик с водой и окунула его лицо в воду, чтобы растворить запекшуюся кровь. Он почувствовал боль от холодной воды где-то внутри и в ранах, вздрогнул и, как падающий легкий снежок, ощутил руку Елены у себя на затылке. Он слышал, как Елена рассказывала о нем врачу и сестре, и ее пальцы в это время шевелились у него на затылке, как пушок чертополоха на ладони... И ему

не хотелось двигаться, но сестра подняла ему голову, и он почувствовал, как затвердевший парашютный шелк отделяется от его лица, и ощутил бесформенные очертания своих щек и лба.

— Как ты добрался? Что с тобой было? Они говорили, что видели, как тебя сбили, и самолет упал в расположении итальянцев.

— Мне повезло. Деревья ослабили толчок при падении, и я не был ранен — вот только лицо. Ты помнишь Нитралексиса — грека с бородой.

— Летчика? Да, помню. Его тоже сбили?

— Нет. Он отыскал меня. С ним был крестьянский парень, и мы пошли через К.лисуру. Они оба были убиты, когда мы переходили итальянские линии. Не знаю, кто стрелял в нас — греки или итальянцы. Меня подвезли на грузовике, и вот я здесь.

— Все так просто, — сказала Елена. Никогда еще не казалась она такой нежной, отбросившей всякую строгость. — Вот так оно и бывает. — Она слегка посмеивалась над ним, и ему это нравилось.

— Теперь нужно наложить шов на макушке. Но раньше тебе придется принять ванну.

— Чорт возьми... с наслаждением... А можно побриться?

— Нет, бриться нельзя, — улыбнулась сестра. — Ванна.

— Ладно, пусть будет ванна. Найдется тут, во что переодеться, Елена?

Она кивнула головой и ушла, пристально посмотрев на него. Сестра проводила его в небольшую ванну, которая, очевидно, была предназначена для госпитального персонала, но, судя по запаху, служила и другим целям.

— Мне нужно бы переодеться, — сказал он сестре, когда после ванны были наложены швы.

— У нас ничего нет. Может быть, греческое...

— Что угодно, — сказал Квейль. — Я хотел бы только мою куртку. Одну и другую.

— Они грязные...

— Все равно. Я очень хотел бы.

Пожалуйста, — сказал он спокойно, но настойчиво.

— Не следовало бы, но я принесу, — сказала сестра и ушла.

Она вернулась с его куртками — летной и обыкновенной — синей. Она принесла еще очень плотную гимнастерку цвета хаки и брюки такого же цвета. Он не стал расспрашивать, где она достала брюки, — он знал, что лучше об этом не спрашивать.

Квейль надел брюки цвета хаки и свою собственную куртку. Он ощупал бумаги во внутреннем кармане. Затем надел летную куртку. Вошла Елена.

— Пойдем, — сказала она.

— Куда?

— Пойдем, я покажу тебе что-то.

— Мне надо побывать в штабе, — сказал он.

— Это займет всего минуту, — сказала она.

Он поднялся за ней по лестнице и вошел в небольшую палату, где стояли четыре койки. Под одеялами на койках обозначались очертания мужских фигур.

— Смотри! — сказала Елена. Она указала на спящего в конце палаты. Это был Тэп.

— Тэп! — воскликнул Квейль. Они прошли с Еленой к последней койке, и Елена тронула Тэпу голову. Тот проснулся. Минуту он с сонным недоумением смотрел широко раскрытыми глазами, потом взгляд его уловил черты Квейля, он улыбнулся во весь рот, и его красивое лицо утратило всякий образ.

— Джонни! — воскликнул Тэп. — Ах, ты, подлец! Ах, ты, сволочь! Вы подумайте только, стоит, как ни в чем не бывало! Господи, ведь мы считали тебя погибшим!

— А ты что здесь делаешь? — спросил его Квейль.

— Меня, брат, подстрелили в плечо. Но я все-таки ушел от них.

Квейль поднял глаза и увидел, что Елена улыбается Тэпу. Он вдруг почувствовал, что ему это почему-то не нравится.

— Как ты себя сейчас чувствуешь? — спросил Квейль рассеянно, думая совсем о другом. Он смотрел на Елену.

— Великолпно! — сказал Тэп. —

Просто великолепно! Я жду, когда за мной пришлют «Бленхейм» или еще что-нибудь, чтобы забрать меня отсюда.

— Тогда тебе придется ждать до скончания веков.

— Они обещали прислать. И ты тоже можешь лететь со мной.

— Ерунда! Никто не станет тратить на нас «Бленхеймы».

— Ты уже был в штабе? — спросил Тэп.

— Еще нет... Сейчас пойду.

— Ну, что вы об этом скажете? — обратился Тэп к Елене и весело улыбнулся ей.

Елена взяла Квейля под руку.

— Она уже думала, что ты погиб, Джон.

— А что вы тут делали вдвоем без меня? — полушутливо спросил Квейль, но в его шутке слышался серьезный вопрос.

— Ты будешь поражен, — сказал Тэп и рассмеялся в душе. Елена молчала. Квейль посмотрел на них обоих и опять почувствовал, что ему здесь что-то не нравится.

— Она была совсем убита.

Тэп явно повторялся.

— Значит, хорошо, что ты был здесь, — сказал Квейль, но он произнес эти слова с улыбкой.

— Да. А вы как думаете, Елена?

— Да, — сказала она, ничего не подозревая. — Тэп тоже был в очень плохом состоянии, когда вернулся.

Квейлю не понравилось, что она называет Тэпа по имени.

— А все остальные о-кэй? — спросил Квейль.

— Да. Ты бы посмотрел, как напился Хикки в тот день, когда тебя сбили. Я не видел, но мне рассказывали. Он опрокидывал стакан за стаканом.

— Не осталось случайно какого-нибудь «Гладиатора» на аэродроме?

— Нет, что ты! Я бы давно уже улетел отсюда, — сказал Тэп.

— Ну, хорошо, а теперь я пойду узнаю, можно ли выбраться отсюда.

— Куда ты пойдешь? — спросила Елена.

— В штаб. Я скоро вернусь, — не беспокойся.

Квейль ушел. Елена осталась с Тэпом. Квейль спустился по лестни-

це и вышел на улицу. Перед госпиталем была суета.

Он прошел сквозь эту суету. На улицах были развалины, кучи земли и воронки от бомб, и все это напоминало заброшенный огород.

Он прошел сквозь все это.

В том месте, где дорога к пещере штаба огибала скалу, высоким штабелем были сложены деревянные гробы. Несколько гробов было разбито бомбой, оставившей неглубокую воронку на каменистой дороге.

Предъявив бумаги часовому, который отдал ему честь, Квейль поднялся по ступенькам в пещеру. Здесь было то же самое, что и в госпитале. Даже еще бóльшая сумятица. Квейль прошел в небольшое помещение, вроде прихожей, где обычно сидел английский переводчик, но переводчика не было. Он искал его глазами. К нему подошел какой-то грек и спросил:

— Что вам угодно?

— Я хотел бы вызвать по телефону Афины, — сказал Квейль, поглядывая на усталых греков, работавших в этой кутерьме.

— Вы, собственно, кто такой?

— Я летчик. Меня сбили над итальянскими позициями недели две назад, и я хочу поговорить по телефону со своим командиром, который находится в Афинах. Как можно это сделать?

— Минутку. Я доложу полковнику.

Он вышел и вскоре привел с собой длинноногого офицера с подстриженными усами, выделявшимися на небритом лице, в долгополом, чуть не до пят мундире с высоким стоячим воротником и в щегольской фуражке.

— Алекс Меллас! — воскликнул Квейль. Он вспомнил, как Меллас встречал эскадрилью в Янине.

— Ха, англизи! В хороший переплет вы попали. Где вы были? Что вы здесь делаете?

Квейль рассказал Мелласу, как его сбили и как он добрался до Янины.

— Мне надо связаться с командиром нашей эскадрильи в Афинах. Не можете ли вы оказать мне содействие? — спросил Квейль.

— Вы опоздали. Связь с Афинами прервана.

— Почему?

— Возможно, что немцы заняли уже Триккала. А может быть, парашютисты перерезали провода. Мы не знаем. Мы здесь ничего не знаем.

— Я должен непременно вернуться в Афины. Можете вы помочь мне достать автомобиль?

— Ха! Послушать только этого англизи! Это все равно что сказать: можете вы мне достать самолет?

— Неужели дело так плохо?

— Вы пребываете в блаженном неведении. Пойдемте пройдемся, и я вам кое-что расскажу.

— Но у вас ведь дела.

Квейлю не хотелось напрасно тратить время.

— Какие теперь дела!

— Тем более мне надо выбраться отсюда поскорее.

— Ладно, пойдемте.

Они спустились по ступенькам, и усталый часовой весело отдал честь Мелласу. Меллас кивнул головой и улыбнулся часовому, и тот улыбнулся в ответ почти дружески.

Меллас и Квейль шли по улицам разрушенного бомбежкой городка. Кое-где им встречались солдаты, слонявшиеся туда и сюда, сами не зная зачем.

— Видите? — Меллас указал на группу таких солдат.

— Да. А что с ними?

— Заблудшие. У нас, знаете, замечательные генералы.

— А что генералы?

— Генералы приказали солдатам разойтись по домам. Вы видите — они без винтовок. Им приказали сдать оружие и разойтись. Генералы — наша трагедия. Когда итальянцы вторглись в Грецию, генералы не пожелали воевать. Офицеры прямо говорили солдатам: «Не надо воевать! Метаксас все устроит. Он поладит с итальянцами. Не надо воевать». Но у солдат были винтовки и на худой конец голые руки, и они дрались с итальянцами. Им пришлось все-таки отступать, потому что у них не было боеприпасов. Я в то время был полковником, но так как я ругал наших генералов и офицеров, то меня понизили в чине, разжаловали в капитаны,

и говорили, что я занимаюсь только ухаживанием за английскими летчиками. Наш генеральный штаб отъедается в Афинах и ни черта не делает. А у солдат нет боеприпасов, и они отнимают их у итальянцев голыми руками. Ха!.. Все время наше командование делает непоправимые ошибки. За исключением — вы помните того... с бакенбардами? Он настоящий вояка. Его все боятся. Даже Метаксас. Метаксас очень боялся этого генерала. И когда в Грецию вторглись немцы, генерал высказался за то, чтобы дать им отпор. Но остальные были за немцев, потому что они были за Метаксаса и Мениадакаса. И они велели солдатам расходиться по домам. Они говорили, что немцы уже разбили англичан и, значит, будет мир. Солдаты, конечно, ничего не знали. Но тут в Афинах испугались. Меня опять произвели в полковники. Но теперь уже поздно, мы разбиты. Вот так мы и воюем. Все наделали генералы. Они — наш главный грех.

Меллас умолк. Они прошли через весь город и вышли на дорогу, идущую к берегу озера. Квейль спрашивал себя, зачем он гуляет здесь, когда должен быть уже на пути в Афины. Но он видел, что Мелласу нужно было высказаться. И он от всей души сочувствовал ему.

— А где сейчас немцы? Что делают австралийские войска?

— Задача им не под силу. Немцев слишком много. Они прут во-всю. Сначала австралийцы заняли линию у Принципе. Но немцы обрушили на них массивные удары с воздуха. Что могли сделать австралийцы? Они отошли на вторую линию у Металены, и сейчас там идут бои. Австралийцы уже отступают. Мы узнали об этом вчера, когда говорили с Афинами. Скоро немцы будут в Триkkalа — это между Яниной и Афинами. И тогда мы здесь окажемся между двух огней. Когда они займут Триkkalа, нам будет отрезан отступление на Афины. А они уже близко.

Это Квейль чувствовал и сам.

— Что вы будете делать, когда немцы займут Триkkalа?

— Ничего. Если они придут, мы будем драться. Мы не сложим ору-

жия. Мы уйдем в горы. Там мы для них недосыгаемы.

Они повернули назад. Был уже вечер, и Квейлю показалось, что он слышит отдаленную артиллерийскую канонаду.

— Так или иначе, я должен вернуться в Афины, — сказал он после некоторого молчания.

— Тогда вам надо выйти на побережье. Это единственный путь.

— А разве не скорее будет через Триkkalа и Метсово? — спросил Квейль.

— Да, но скоро там будут немцы, и вы не пройдете.

— Можно как-нибудь раздобыть машину? — спросил Квейль тихо.

— Нет. Есть одна поломанная машина, но некому ее починить. Вы не сможете ею воспользоваться.

— Где она? Я сумею починить.

— Но вам все равно не дадут ее.

— Послушайте, — сказал Квейль. — Покажите мне эту машину. А там дадут или не дадут — это уж мое дело.

— Вас застрелят на месте, если поймают.

— Дайте мне возможность попробовать. Где она?

— Это — сумасшествие. Но если вы настаиваете, я покажу вам.

Меллас повел его обратно к пещере. Они миновали ее, прошли сквозь узкое отверстие в скале и поднялись по ступенькам к воротам, которые вели в обширный двор. Квейль мог заметить силуэты стоявших здесь машин. Меллас направился в темный угол, и здесь Квейль увидел автомобиль.

— Неужели это все разбитые машины? — спросил Квейль.

— Их разобрали на запасные части для других машин. Только эта одна пока не тронута.

— А что с ней?

— Не знаю. Что-то с передачей. Кажется, не работает сцепление.

Квейль сел в машину и попытался дать газ. Он выключил передачу и поставил рычаг на первую скорость. Когда он включил передачу, ничего не получилось.

— Чорт возьми! — сказал он. — Дело серьезное.

Кто-то окликнул их по-гречески. Меллас немного помедлил.

— Это часовой. Вы не откликайтесь. Лезьте под машину!

Квейль залез под машину. Он слышал, как Меллас что-то быстро говорил часовому, и часовой ушел.

— Я сказал ему, что вы чините ее для генерала. Он пошел за фонарем.

Часовой вернулся с фонарем, — стекла фонаря были выкрашены в синюю краску. Квейль взял фонарь и что-то проворчал. Соскоблив немного краски со стекла, он получил возможность рассмотреть машину. Он обнаружил искривления в коробке скоростей. Пробуя сцепление, он видел, что оно не доходит до конца и не захватывает передачи. Очевидно, муфта зацепилась за что-то, и лапка согнулась. Если он выпрямит лапку, она будет входить как следует. Он вылез из-под машины и объяснил дело Мелласу.

— Можете вы поправить? — спросил Меллас.

— Придется повозиться. А как насчет бензина?

— Не знаю. Я думаю, бензин должен быть на аэродроме.

— Но это у чорта на куличках.

— Вам удастся уехать только в том случае, если вы закончите к утру. Днем вас увидят здесь. Вы должны все кончить до утра.

— Можете вы не подпускать сюда часового?

— Мне надо итти, — сказал Меллас. — Но я скажу часовому, чтобы он вам не мешал. Вы думаете, что справитесь с этим?

— Безусловно.

— Я еще вернусь, — сказал Меллас на прощанье.

Квейль нашел под передним сиденьем кое-какие инструменты и огромный рычаг. Не успел он залезть под автомобиль, как послышался гул самолетов и тотчас же началась бомбежка. Пачка бомб была сброшена на дорогу у озера. Квейль прижался к земле, так как бомбежка была жестокая. Вторая пачка бомб была сброшена над городом. Бомбардировщики подошли совсем близко, и Квейль видел сбрасываемые ими осветительные ракеты на парашютах. Он все еще лежал под автомобилем и ре-

шил оставаться там. Повернувшись на спину, он начал развинчивать сцепление.

Бомбы, сотрясая все, отмечали свой путь через город, и Квейль грубо, со злостью выругался. Он боялся, что какая-нибудь бомба упадет здесь во дворе, и так как почва была твердая — сплошной камень, то взрывная волна пойдет по горизонтали и его разорвет в клочья. Он отвинтил лапку и начал ее выпрямлять, но ему не во что было зажать ее. Он не замечал, что в городе уже стало тихо, пока не вылез из-под машины, — ему надо было отыскать что-нибудь такое, что могло бы служить наковальней. И тут он увидел пламя пожара и зарево на черном небе — горели разрушенные бомбами дома.

— О господи! И почему всегда так случается? — произнес он вслух.

Он рассеянно оглядывался по сторонам, ища подходящий предмет. При багровом свете зарева он увидел большой кусок плоского железа. Он положил на него лапку и начал колотить по ней большим французским ключом. Лапка явно понемногу выпрямлялась. Один раз он хватил себя по руке и начал высасывать кровь, посылая проклятия в огненное небо. Бомбардировщики опять вернулись, и Квейль опять лег на землю. Бомбы падали вблизи госпиталя, и он подумал о Елене. Она, вероятно, не понимает, что с ним случилось. Потом он вспомнил о Тэпе. Но у него не было сейчас времени для размышления. Пусть подождет, пока он наладит эту чертовщину.

Он встал и опять начал колотить ключом, чувствуя дрожь в ушибленной руке. Наконец он выпрямил лапку и, прислушиваясь к взрыву бомб, пополз на животе под машину. Ему не удавалось поставить исправленный рычаг. Рычаг соскакивал, потому что ушибленная рука не могла нажать на него как следует. Но, оттягивая рычаг назад другой рукой, он в конце концов поставил его куда надо. Быстро надел он барашек и крепко привернул. Потом задул фонарь и заметил, что снова наступила тишина — бомбардировщики ушли. Он дал газ и медленно стал вклю-

чать передачу. Машина легко двинулась вперед.

— Ура! — тихонько воскликнул он. Он взял фонарь и пошел в штаб отыскивать Мелласа. Меллас что-то орал по телефону. Квейль подмигнул Мелласу.

— О-кэй! — сказал он. — Готово. Иду в госпиталь за Еленой.

— Что?

— Это моя невеста. Я беру ее с собой.

— Девушку с локонами? А другого англизи?

— Тоже. Ничего, если я выведу сейчас со двора на машине?

— Это как удастся. Горючим вы запаслись?

— Чорт возьми, нет! Хорошо, я приду за машиной позднее.

Квейль шагал по улицам разрушенного, горящего города. Весь мир горел, и Квейль вдыхал дым пожара, и был рад, когда ветер отнес дым в другую сторону. У подъезда госпиталя была суета и сумятица. Квейль увидел несколько больших автобусов, которые только что подъехали. Они привезли много новых раненых, и раненые кричали, когда их вносили. Тут были споры, и шум, и запахи, и ко всему этому примешивалась боль. В толпе он увидел маленького грека и большого, с бородой. Он совсем забыл о них.

— Инглизи! — воскликнул маленький грек. Вид у него был взбешенный.

— Мы все время вас ждем, — торжественно сказал второй грек.

— Ш-ш! Не говорите здесь по-немецки! — сказал Квейль. — Подождите. Я сейчас вернусь.

Он прошел в госпиталь. Там был еще больший хаос, чем раньше. Раненые и умирающие валялись в коридоре, и над всем здесь носилась смерть. Он видел ее, вдыхал ее запах, чувствовал ее. Он смотрел на врачей и сестер, бегавших взад и вперед в этом хаосе, и он морщился, когда слышал стоны тех, кто был не так тяжело ранен, чтобы умереть. Он прошел по коридору и открыл дверь в комнату, где работала Елена. Он вошел в ту минуту, когда она броси-

ла в корзину измятые бинты, пропитанные грязью и кровью.

— Джон, где ты был? — Она взглянула на его искаженное лицо. — Опять ранен?

— Нет. Ш-ш-ш! Я ремонтировал автомобиль. Мы уезжаем отсюда.

— Я тут с ума сходила от беспокойства!

— Слушай, — сказал он, — мне надо видеть Тэпа. Можно пройти к нему?

— Зачем?

— Мы уедем еще до рассвета. Ты тоже, — сказал он.

— Я не могу. Разве ты не видишь, что здесь делается? Меня не отпустят.

— Ради бога, не спорь. Если мы не выберемся отсюда до утра, мы никогда не выберемся. Проводи меня к Тэпу.

Она пошла, и Квейль еще раз прошел вслед за ней через хаос. Они поднялись по лестнице. В палате Тэпа было темно. Елена нашла его койку.

— Это я, — сказал Квейль. — Слушай, мы уезжаем этой ночью. Как ты себя чувствуешь?

— А на чем ты намерен ехать?

— Я раздобыл автомобиль, — ответил Квейль шопотом.

— Превосходно, — обрадовался Тэп. — Когда? Мне нужна какая-нибудь одежда.

— Тише ты! — одернул его Квейль. — Через два-три часа. Мне надо еще достать горячего. Придет-ся отправиться на аэродром.

— Ну, для этого не нужно двух часов.

— Да ведь я должен тащиться пешком, олух несчастный!

— О-кэй, о-кэй, Джон! Не сердись. А Елена едет?

— Конечно, осел! А ты как же думал?

— Хорошо, — сказал Тэп. — Хорошо! Замечательно Я буду гогэв. Мы будем готовы, правда, Елена?

Квейль сердито повернулся и вышел.

Перевод с английского

П. Ф. ОХРИМЕНКО и
Д. А. ГОРБОВА

(Продолжение следует)

Поэт в боевом строю

В страдальче дни Великой отечественной войны «солдатский поэт» Алексей Сурков по праву обратился к потомкам от имени своих современников: «Слушайте, дальние наши потомки, слово вступающих с гибелью в спор», — по праву потому, что Сурков узнал и полюбил навсегда героя нашего времени — «рядового при большой революции». Проходя через самые трудные испытания эпохи, плечом к плечу со своим героем, поэт неизменно оставался правдивым свидетелем его судьбы.

Еще в 1929 году, в стихотворении, так и названном «Герой», молодой поэт поведал миру о своей единой на всю жизнь любви к защитнику революции:

И совсем не беда, что густая романтика
 Не жила в этом жестком, натруженном теле,
 Он мне дорог от сердца до красного бантика,
 До помятой звезды на армейской шинели.

Отрекаясь от «густой романтики», поэт отнюдь не хотел снизить образ своего современника, он лишь говорил о суровой правдивости как о главной его черте.

Сурков кровно связан со своим героем: у автора и героя общая социально-историческая судьба:

Не наша ли жизнь обозначила след
 В социализм сквозь невзгоды и войны

А потому автор и герой душевно близки смолоду вплоть до Великой отечественной войны, когда мы видим их в рядах Красной Армии, обороняющей родину и побеждающей фашизм:

У юности нашей был строгий язык,
 И мне и тебе с полслова понятный.

Герой Алексея Суркова — боец справедливых войн, сознательно идущий на подвиг, лишения, смерть. В образе этом заложено большое обобщение, но это не абстрактная в своем величии фигура, поэт видит своего героя во крови и плоти, во всей конкретности живого, хорошо знакомого человека — товарища, друга, «годка».

С первых дней творчества стихи Суркова по большей части сюжетны. Это также вызвано стремлением нарисовать героя как можно конкретнее, сделать его живым и убедительным, показать на решающем этапе его жизни. И судьба героя живо трогает

читателя, как может трогать лишь судьба близкого, родного человека. Читателю понятно смертное томление минера Сяницы, напрасно погибающего во вражьем плену, человека огромной нравственной силы, ярого бойца и нежного друга; вместе с товарищем Сяницы восклицает читатель: «Не так бы нам умирать!»

Вместе с комбатом, идущим вдоль поредевшего строя своего батальона, идет читатель, скорбно отмечая потери:

Сколько полых рядов...
 Эх, ребята, ребята!

И ему кажется, что это его товарищи и друзья по заводу стоят перед ним, измученные боями, удрученные потерями. И его, читателя, поднимает в атаку безмолвный «агитатор», замученный врагами красноармеец, тело которого испуганные лошади притащили к самому строю измученных боями, голодных и полуодетых бойцов.

Боец справедливой войны поднимается против несправедливой, напрасной смерти товарищей, против несправедливой жизни угнетателей. Сквозь пытки и сражения пронесит герой Суркова свою беззаветную веру в торжество правды на земле. Его не страшит смерть, ибо дело его продолжают товарищи и зная его донесут до цели:

Глотку клинок перехватит,
 Пусть! Запелавы растут.
 Весь эскадрон подхватит
 Песню мою на лету!

И когда перед читателем проходят ряды героев сурковских баллад, мужественных и стойких бойцов гражданской войны — матросов, партизан, красноармейцев, — читатель убежденно повторяет вслед за поэтом: «Хорошие были ребята, кремневые, на подбор».

Автор многих, известных всей стране песен, Алексей Сурков хорошо чувствует напевность русской народной поэзии, но не злоупотребляет приемами фольклорной стилизации. Кто не знает его «Конармейской», «Чапаевской», «Казачьей». И эта близость поэта к народной русской песне не случайна. Она вызвана к жизни самими образами.

Есть два пути, по которым идут писатели и поэты, стремящиеся нарисовать простого человека, героя и рядового нашей эпохи. Одни, рисуя характер примитивный и бедный, как бы говорят нам: сморгите, соль

благодетельна наша действительность! Уж на что неказист товарищ, а все-таки преуспевает! Эти писатели, вольно или невольно, снижают образ своего героя, снижают изображение русского национального характера. Другие писатели, показывая богатства натуры простого человека, скрытые до поры, но проявляющиеся под влиянием нашей жизни, остаются верными социально-исторической правде. Они показывают самые основы нашего строя, вызывающего расцвет всего лучшего в человеке и правильно освещают силу и красоту русского национального характера. К писателям этого рода принадлежит Сурков. Его герой — человек широкой, умной и верной души. Это хозяин своей земли, кровью ее завоевавший, живущий ее богатством и славой. Герой Суркова полон самой горячей признательности к вождям Октября, вдохновлявшим его на борьбу и труд, приведшим к победе. Не случайно перу Алексея Суркова принадлежит одно из лучших наших стихотворений о Сталине — «Делегат». В нем вождь показан через «рядового при большой революции», «делегата», гордого своей родной и благодарного вождю за то, чем стала его родная страна и чем сделала она его самого, «делегата».

В годы мирного строительства Алексей Сурков пытается менять напевы своих песен. Бой гражданской войны далеко, эпоха говорит новыми голосами, она требует, кажется поэту, иного отклика. В стихотворении «Пулемет» поэт ставит памятник своему герою: пулемет стоит на могиле партизана кузнеца Ермила, «покинутый». «ничей», заржавленный, не годный к бою. Бывший некогда грозным оружием, теперь он лишь «среди могильных плит хранит покой дружинников свободы».

Однако разлука с любимым героем другом не проходит для поэта даром. Он пытается работать в несвойственной ему манере, он берет несвойственную ему, но неоднократно разработанную другими тему годового детства, предается малооригинальным рассуждениям о дореволюционном прошлом. Умелый стихотворец, он создает и в этот период своего творчества ряд вполне «приличных» стихов, ничем однако, не волнующих сердца читателя, так привыкшего жить одной жизнью, одним чувством с героями Суркова.

Этот период творческих поисков и колебаний отражен в сборнике стихов «Так мы росли». Стихи этого сборника полны живого обаяния лишь там, где поэт вновь и вновь обращается к любимому герою своей молодости («На вокзале», «Отряд идет в атаку», «Послесловие»). Эти стихи, свидетельствуют о том, что в душе поэта сохранилась живая память о любимом образе, как хранилось старое, простреленное в боях знамя где-то в кладовых казармы («Знамя»). Каптер-тыловик, обнаружив в старом хламе забытое знамя, равнодушно заносит его в инвентарную книгу и отдает командиру пелка. И, осиянная памятью о славе отцов, преобразуется мирная казарма:

Суровая гордость прославленных армий
Прошелестела по мирной казарме,
Прошелестела и встала к стене
Напоминаям о завтрашнем дне.

Нет, Сурков не забыл своего героя. Разыгравшаяся в 1939—1940 году война с белофиннами вызвала стремительный расцвет творчества Суркова. Традиции гражданской войны воскресают в суровой, возмужавшей и окрепшей лирике Суркова.

Сам поэт говорит, что теперь он продолжает дело своей поэтической юности также, как молодые бойцы продолжают военные подвиги своих отцов, деля с ними честь и труды походов:

В далеком восемнадцатом над нами
Железным шквалом пронеслись бои.
На крыльях бури, поднимая знамя,
Шли побеждать товарищи мои.

Звезда пятиконечная над нами,
Как в том году, опять гремят бои,
Октябрьское прославленное знамя
Несут вперед товарищи мои.
Нас бой ведет по огненному следу,
С отцами делят подвиги сыщи.
Отец и сын перед лицом победы
И возрастом и мужеством равны.
(«Товарищи»)

Сложившийся человек и поэт, Сурков, не только сердцем переживает войну, он осмысливает ее и свое отношение к ней, философски обобщает свои наблюдения и переживания:

Есть высшее из всех гражданских прав:
Во имя жизни встретить ветер боя,
И, если надо, смертью смерть поправ,
Найти в огне бессмертие героя.

Битва с врагами родины — это и есть самая яркая и достойная настоящего человека жизнь, и потому у лирического героя Суркова.

...охоты к теплу и покою,
хоть убей, и в помине нет.

И потому:

Чем тропинка труднее, уже,
Тем задрней идешь вперед
И тебя на ветру, на стуже
Никакая хворь не берет.

«Есть и радость, и боль, и усталость в бою», но ратный груд за правое дело побеждают все, даже самую смерть. Этот мотив зарождается в стихах о гражданской войне («Весь эскадрон подхватит песню мою на лету!»); теперь он зазвучал с новой силой:

Если порвет пулеметный огонь
Жизни моей непрочную нить,—
Вынь мое сердце! Ты в нем лийдешь
Песню, которая будет жить.

Подвиг, совершенный во имя торжества жизни, исполнен подлинного, торжествующего оптимизма. Герой Суркова идет не умирать, а побеждать.

В стихах Суркова встает величавый в своей простоте образ советского бойца, русского богатыря: в стихах поэта звучат новые, полновесные, глубокие ноты:

Ужо мы за все расквитаемся с вами!
Ужо мы вернемся... — бессилен и мал,
Он пал на колени в обугленной яме
И жаркую землю в слезах обнимал.

И природа-земля отвечает страстной пе-
чали героя, она говорит с ним внятным ему
языком, живет единым с ним чувством.
Оскверненная врагом, она зовет к беспо-
щадной мести:

Нае эти дороги знакомые ждали,
И ждали деревни, одетые в чад.
— Мы ждем вас! —
кричат оскверненные дали,

И камни:
Убей! —
из под снега кричат.

Ненависть и любовь, соединившись, ведут
солдата по страдным дорогам войны. Он
идет от боя к бою, унося в сердце образ
русской крестьянской матери, провожающей
своих незнакомых «сынков» за околицу.
Этот образ русской женщины, исполненной
строгой чистоты и величавого терпения, все
чаще проявляется на страницах военных книг
Суркова. Без него национальный характер
не мог бы раскрыться во всей полноте.
Женщины в стихах Суркова — это девушки
в серых шинелях, идущие в атаку рядом с
мужчинами; это партизанская мать, велича-
во принимающая смерть от «ледашего» нем-
ца; это солдатка Прасковья, что безмолвно
претерпела пытку души и тела, но

Не запачкала душу,
Соседей своих не обидела,
Партизанские думки
Врагам на распяты не выдала.

Это старуха, потерявшая детей и внуков,
«больная, сирота, одна», в бедной разоренной
лачуге потчующая наступающих бойцов по-
следним черствым куском; это сестры-пар-
тизанки, самой смертью своей призывающие
сиротевшую мать к мщению; это русская
мать, ведущая сына-солдата вдоль выжжен-
ного немцами села к телам убитых род-
ных, — не плакать, а мстить; это «подруга
войны» — вдова, хранящая «в своем малют-
ке-сыне солдатское бессмертие отца».

Женщина в стихах Суркова символизир-
ует бессмертие жизни народа. В ее образе
воплощены мать, родина, земля. Таким воз-
никает образ женщины и в русской песне,
сказке, былине.

Многие скажут: здесь возродилась некра-
совская традиция. Не только это: в твор-
честве Суркова показана русская женщина,

поднятая советским строем на высоту созна-
тельного подвига, — советская женщина.

Плечом к плечу с бойцами выходит на
смертный бой и «присягнувший на песню
окопный поэт», место его в боевом строю:

В громе яростных битв пролетают над
нами
Беспокойные, грозные, трудные дни.
Встань, поэт, перед строем, под красное
знамя
И в глаза современникам прямо взгляни.

Так обращается Сурков к поэту. Сопутст-
вует каждому шагу воинов, встречая вместе
с ними тревожные рассветы войны,

Все движенья солдатской души карауля,
Кровью сердца пиши нам про наши дела,
Чтобы песня заклатьем от смерти и пули
На солдатское серное сердце легла.
Чтобы после великого часа победы
Молодые наследники нашей земли
Песнь о том, как сражались и верили
деды,
Красным знаменем славы в века унесли.

Сурков рядом со своим другом-героем
шел от гражданской до Великой отечест-
венной войны.

Одним из первых он приветствовал побе-
ду, ее должданный в трудах и битвах,
приход:

Мы так неистово хотели
Приблизить долгожданный час,
Что ни снаряды, ни метели
В пути не задержали нас.

И здесь, в торжестве над поверженным
врагом, утверждая «перед всей вселенной»
нашей «справедливости закон», Сурков го-
ворит об исторической миссии советской
армии:

Мы совесть мира. И отмщенье
Несли мы сквозь огонь и ад.
Ты высшей правды воплощенье,
Бесстрашный сталинский солдат.

Певец русского воина наших дней, бес-
страшного сталинского солдата, Сурков по-
казал читателям характер большого богат-
ства. Читателю, дружному с боевой песней
Суркова, понятна скромная гордость поэ-
та, отдавшего свое творчество на службу
народу-воину.

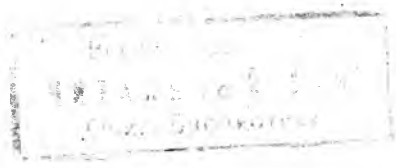
Для радости труда
Отвагою храним,
Он родине несет победы дар чудесный.
Душа моя горда,
Что был я рядом с ним,
Что помогал ему своей солдатской песней.

Содержание

	Стр.
Н. РЫЛЕНКОВ — Память, <i>стихи</i>	1
А. ОЙСЛЕНДЕР — Норд, <i>стихи</i>	3
ЕЛИЗАР МАЛЬЦЕВ — Горячие ключи, <i>роман</i> (продолжение)	5
СИМОН ЧИКОВАНИ — Песнь о Давиде Гурамишвили, <i>главы</i> <i>из поэмы</i>	54
А. М. КОЛОНТАИ — Из воспоминаний, часть I	59
ДЖЕМС ОЛДРИЖД — Дело чести, <i>роман</i>	90

КРИТИКА

З. КЕДРИНА — Поэт в боевом строю	155
--	-----



Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ,
М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь).

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский пер., 2/10, телефон К 3-41-22.

А 21154. 20-й год издания. Тираж 40 000. Подписано к печати 25/IX и 2/X 1945 г.
Печ. л. 10. Уч.-изд. л. 15. В печ. л. 60 000 зн. Цена 5 руб. Заказ № 1768.

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.